ГОНЧАРОВ





Юрий Лощиц



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Жизнь И. А. Гончарова — одного из создателей классического русского романа, автора знаменитого романного триптиха — «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» — охватывает почти восемь десятилетий прошлого века. Писателю суждено было стать очевидцем и исследователем процесса капитализации России, пристрастным свидетелем развития демократических и революционных настроений в стране. Издаваемая биография воссоздает сложный, противоречивый путь социально-нравственных исканий И. А. Гончарова. В ней широко используется эпистолярное наследие писателя, материалы архивов.

- Юрий Лошиц
  - ЛЮДИ «ЛЕТОПИСЦА»
  - В ПРОВИНЦИИ И В СТОЛИЦАХ
  - У МАЙКОВЫХ
  - СОМНЕНИЯ
  - ДВА ВОЗРАСТА
  - ОТ ВОСТОКА К ЗАПАДУ
  - ОТ ЗАПАДА К ВОСТОКУ
  - ЛЮБОВЬ ХОЛОСТЯКА
  - МАРИЕНБАДСКОЕ ЧУДО
  - НЕСОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
  - НЕ СОТВОРИ СЕБЕ ВРАГА
  - СТАРУШКА И СТАРИК
  - НА ПОДСТУПАХ К «ОБРЫВУ»
  - БРЕМЯ ХУДОЖЕСТВА
  - ПОРТРЕТ
  - КРУГ СУЖАЕТСЯ
  - МОХОВАЯ, 3
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И. А. ГОНЧАРОВА
  - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
  - Иллюстрации
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17

Юрий Лошиц
ГОНЧАРОВ

У меня есть (или была) своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний — и я писал только то, что переживая, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал — словом писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало.

И. А. Гончаров. Лучше поздно, чем никогда.

ЛЮДИ «ЛЕТОПИСЦА»

Что город, говорят, то норов. И еще было: всякому городу — по юроду.

Два почти века назад жил в граде Симбирске блаженный по имени Андрей Ильич, по прозвищу же Андреюшка. Дара обличающей речи он не имел. Был косноязычен, всего-то и слышали от него непрестанное «мама Анна», «мама Анна»… Ходил Андреюшка всегда босиком, и в осень и в зиму. Целыми часами любил стоять на одном месте, переминаясь с ноги на ногу, в длинной своей рубахе, с сумой на груди. В трескучие морозы круглосуточно маячил на церковной паперти, а то и на колокольню забирался. Все слезы, до последней, вымерзали у Андреюшки на щеках. А еще — голыми руками мог вытащить горячий горшок из печи. Ротозеи попросят — целовал кипящий самовар.

Если Андреюшка давал кому деньгу — человек разживался. Так что купцы симбирские юрода своего особо чтили.

А если кому щепку сунет в руки или горсть земли — того вскоре отпевать будут.

Александра Ивановича Гончарова Андреюшка, должно быть, пятаками не одаривал — выше третьей гильдии но поднялся купец. А вот супругу его, Елизавету Александровну, блаженный, видать, кольнул острой щепочкой. Скончалась опа совсем ведь еще молодой, сорока двух лет от роду.

Детей от этого брака не было. Александр Иванович недолго проходил во вдовцах. Он хотел передать нажитое наследнику, и возраст его подгонял. В следующем после смерти жены году состоялось его венчание с девицей Авдотьей Матвеевной Шахториной, «лет было Гончарову 50, Авдотье Матвеевне — 19 лет и 6 месяцов».

Шутка ли, тридцать лет разницы, два особых возраста — юное утро и день, уже перезрелый… И все же это не был неравный брак. Авдотья Шахторина сама из купеческой семьи, да и выходила не за мешок с золотом, у жениха не так-то много, не более пяти тысяч капиталу.

Александр Иванович в свои пятьдесят гляделся истинным молодцом. Крупен телом, осанист, румянощек. На старинном семейном портрете (до наших дней не сохранившемся) художник запечатлел мужчину приметной внешности, белокурого, с приятной полуулыбкой голубовато-серых глаз. Это был портрет времен второго брака.

Гончаров владел в Симбирске свечным заводом. У волжского

берега располагались его хлебные амбары. Видимо, купец умел ладить с самыми разными людьми, потому что, пренебрегая более маститыми кандидатами, его несколько раз избирали городским головой.

Всего год пожили молодые для себя, а на другой Авдотья Матвеевна понесла плод.

За 1806 год в домашнем гончаровском «Летописце» читаем: «Родилась дочь Елена житья ее было 15 недель».

«1808 года декабря 1-го родился сын Николай тезоименитство ево декабря 6 дня», то есть на Николу Зимнего.

«1812 года июня 6 дня родился сын Иван а именинник — июня 24 дня», то есть на Рождество Иоанна Предтечи.

«1815 года мая 14 дня родилась дочь Александра».

«1818 года генваря 11 дня родилась дочь Анна».

А еще через полтора года Александр Иванович Гончаров, исполнив, хотя и с запозданием, завет библейский «плодитесь, размножайтесь», на семидесятом году жизни отошел в мир иной. В «Летописце» дата его смерти не указана, но она известна по другому документу: 10 сентября 1819 года. Надо думать, очевидцы кончины не могли не обратить внимания на то, что она пришлась на промежуток между двумя большими праздниками — день спустя по Рождеству Богородицы и за три дня до Воздвиженья Креста Господня. Верили — хорошо, если человек умер на большой праздник или вблизи него. А тут — сразу два рядом. Хорошая же кончина, не иначе за хорошую жизнь.

И правда, ничего плохого о Гончарове-отце ни от кого, кажется, не слышно и не записано при жизни его. И позднее никем не присочинено.

…Кем построен Петербург, все знают, но мало кому известно, что Симбирск основан родителем Петра, Алексеем Михайловичем.

Вожделение сына — Запад, а отец и на Восток поглядывал.

Даже имя Симбирску дано азиатское. У чувашей «синбирен» — белая гора. По-мордовски «сююн бир» — зеленая гора. Есть и еще одна версия имени города: у тюрков «сын бир» — одинокая гробница.

Уже Иван Гончаров стал знаменитым петербургским романистом, уже «азиатчина» и «татарщина» сделались бранными словами — не только на страницах прогрессивных журналов, но и в личной переписке либеральных министров, — а в России еще писали по старинке: Синбирск.

В этих краях жили когда-то кочевые буртасы, их считали предками чувашей или мокши. Жили тут и болгары с мордвой.

Степь. Молодые черные овраги весной. Сухой змеиный

шелест бессмертника к концу лета. Табуны и отары. Громадные, как деревья, репьи, торчащие из-под снега. Изредка бурые, миллионокопытные сакмы с острым запахом навоза, мочи, конского пота. На Русь ушли или назад возвращались? Опытный взгляд сторожевика-засечника без труда определял направление, время набега и даже примерное число воинов во вражеском отряде. Так было тут веками.

Изначальный Симбирск — дозорная крепостца на горе, именуемой Венцом. Воеводский приказ и стрелецкие избы. Внизу река — выпуклая, светло-голубая, с кишащими птицей островами, с плеском и чмоком рыбных ловищ; дорога в лазоревую Персию, в изумрудную Индию, в синий Китай. Торговлишка, робкая сперва: привозной тканью, коврами, утварью, всяким женским бряцанием, медом и хлебом.

Когда появились в Симбирске Гончаровы? Жил ли здесь прадед писателя, про которого известно лишь, что он занимался торговлей? Или первым «синбирцем» стал Дед Ивана Гончарова, тоже Иван, который воинской службой добыл своему роду дворянские привилегии и обитал в Симбирске с 1759 года, по уходе в отставку? И даже про отца писателя неизвестно точно, родился ли он здесь, на Волге, или где-то в оренбургских степях, где дослуживал последние годы его родитель.

Нужно еще раз, помедленнее перелистать гончаровский фамильный «Летописец»… Темно-коричневый кожаный переплет и голубая бумага осьмнадцатого века, толстая, шероховатая, с выцветшей чернильной ржавью.

Это книга рода, домашний хронограф. Такие или примерно такие книги были некогда в десятках, сотнях русских семей. Хотя первая запись в гончаровской хронике относится к 1733 году, от книги веет временами гораздо более давними. Патриархальная окраска придана ей дедом писателя.

Капитан русской армии Иван сын Иванов Гончаров, судя по всему, был человек основательного склада, со взглядами на жизнь прочными, раз и навсегда выработанными.

Он немногословен в «Летописце». Он не утомляет своих потомков описанием того, какое было у него настроение третьего дня после ужина или сего дня с утра. Его записи касаются только существенного. Рождения, смерти, небесные знамения. Впрочем, последние случаются крайне редко под безмятежным небом степного края. Так же, как собственные настроения, мало занимают его и «настроения» погоды. Исключение он делает разве лишь для первого весеннего грома, и то потому, что прозвучал этот гром из ряда вон рано — в середине апреля, и как знать, не знаменует ли собою чего-то более важного.

Всяким случаям и слухам, происшествиям и сплетням, каждодневной бытовой рухляди, о которой обычно говорят: «Ну, что в мире-то делается?» — он также не дает допуска на страницы «Летописца». Едва ли не единственное внешнее событие, «замеченное» им за целую жизнь, — Пугачевское восстание. Но и этому событию посвящена бывшим офицером лишь краткая запись с укоризной: «Был вор и разбойник Емелька Пугачев и назывался третьим императором Петром Федоровичем и стоял под Оренбурхом».

Историей своей фамилии он тоже, видимо, не очень интересуется. Иное дело, если бы род был знатный. Но зато вносит в «Летописец» краткий перечень событий «от Адама до Потопа». И далее — до рождения и преставления русских великих князей, царей, святителей и чудотворцев. Эти сведения помещены под общим заглавием «Летописец Московский написан от сотворения мира». Рядом с ним — «Пророчество Иеремии», «Книга Страстей Христовых».

Тем самым он как бы дает понять всякому, кто станет перелистывать «Летописец», что род Гончаровых не так уж худ, ибо, как и все человеки, изводится ни много ни мало от самого праотца Адама, а тот, как известно, слеплен был из такой же самой глинки, какую месили потом и мяли во все времена незнатные, но нужные людишки, прозываемые гончарами…

Судя по тому, что в «Летописце» нет никаких особых записей относительно сложения и внешности новорожденного Ванечки Гончарова, надо полагать, что и для его телесного состава глинка была отпущена неплохая. Вышел ли он, как говорят в таких случаях, «весь в мать» или «весь в отца», мы не знаем, поскольку дагерротипов тогда в Симбирске еще не делали. От Авдотьи Матвеевны сохранился всего-навсего один портрет, выполненный неизвестно в каком году местным живописцем. С холста глядит на нас женщина средних лет. Она далеко не красавица, но и не дурнушка. Округло-скуластое, миловидное лицо, скорее крестьянки, чем купеческой дочери, полные плечи и большие руки. И необычайно выразительные глаза: умные, изливающие на зрителя какую-то умиротворенную нежную печаль. «Материнское» мы без труда опознаем потом на портретах и фотографиях взрослого Ивана Гончарова: тот же тронутый печалью взгляд из-под крупных верхних век, высокий взлет бровей, как бы выражающих удивление, та же скуластость…

Крестили новорожденного на шестой день. Нести было недалеко. Наискось от родительского дома, на противоположной стороне улицы стояла церковь Вознесения Господня. Молитвовал и крестил младенца приходской священник Михайло

Байдаряковский. Он же за четыре с половиной года до этого совершал таинство и над гончаровским первенцем. Восприемником и на сей раз был добрый знакомый Александра Ивановича и Авдотьи Матвеевны, местный дворянин Николай Трегубов.

По обычаю над мальчиком читали положенные по чину молитвы, потом батюшка опустил кирпичное от натуги тельце в воду. Потом натягивали на крикуна крестильную рубашку, а она никак не натягивалась на мокрого, прилипала к плечам, к нареванному пузу и тощей попке. Потом обносили его вокруг купели, на краю которой горели три свечи. Потом священник окунал кисточку в сосудец с мирром и начертывал крестики — на лбу, на ушках, на ручках и ножках. Мальчик был назван в память Иоанна Крестителя, и в этом присутствующие находили особое значение. Потом с макушки у него ножничками была отчикнута темная пушистая прядка, закатана в восковой шарик и брошена в воду. Все присутствующие, кроме младенца, конечно, много раз видели эти неспешные, справные в привычные действия священника, но следили за каждым действием без скуки, а, наоборот, растроганно, с особым пристрастным вниманием, будто видят впервые. Им не казалось это скучным, потому что они любили все, что повторяется в жизни, что придает ей величавое достоинство, аромат устойчивости и неизменности. Этими повторениями жизнь как бы благословлялась для новой череды крестин и венчаний, отпеваний и поминок и опять крестин.

Их радовало, что так же поступали их отцы, и деды, и деды их дедов, и они были уверены, что так будет повторяться и всегда, до скончания века. Жизнь цвела для них обрядами, и даже в самом грустном из обрядов была доля радости. Обряды были не только внутри церкви, но и за ее оградой, на улице, в любом доме, в том, как здороваются друг с другом и как прощаются, как входят в жилье, как садятся за стол и встают из-за стола, какие кушанья готовят к определенному дню, к большим и малым праздникам… Обряд понимался как образ поведения. В конце концов, вся их жизнь была бесконечным обрядом, от которого они никогда не уставали. В правоте такого существования их убеждал и пример природы, в которой они также видели бесконечное последование обрядов, перемену одежд и нарядов, новых риз на всякое время года. Они воспринимали жизнь как некое важное действо, как длящееся предание, как медленный круговорот подобий и потому редко задумывались о будущем, уверенные в том, что все, чему суждено быть, когда-то уже бывало, не с ними, так до них.

Эти, назовем их условно, люди «Летописца» не представляли собой какую-то замкнутую секту, их пребывание не

ограничивалось какой-то определенной территорией. Они простирались так широко, что, куда ни ткни, все попадешь в них. Скажешь ругательное «патриархальщина» — и это будет про них. Скажешь более сдержанное слово «консервативность» — и снова это про них. Уклад, свычай и обычай этих людей действительно были патриархально-консервативно-традиционны. Эти семь-раз-отмериватели никогда не спешили расстаться со старыми привычками и обрядами, побаиваясь брать на себя ответственность в выдумывании новых. Ведь старые-то создавались бессчетными поколениями, и хватит ли у них силенок и прыти все вдруг переиначить на своем лишь веку? А если даже и хватит, то долго ли продержатся их нововведения?

Вон, — рассуждали они с ухмылкой, — был ведь уже пример, и совсем недавно, когда в одном из соседних государств кучка умников разожгла толпу на всяческие перемены, и до того распыхались, что только и думали с утра до ночи, как бы еще что-нибудь старое поменять на новое. И уже преуспели в деле своем, так что даже и названия месяцев поменяли на дикие какие-то словеса. Но до того увлеклись своими переменами, что тут как раз и их всех одного за другим поменяли, а потом и все их выдумки отменили.

Но мало того. Как бы в отместку за своевольства, господь наслал на эту страну еще одну кару — в образе прегордого правителя, чтобы тот смутил их новым безумием. Подобно антихристу, прельстил он их богатствами других земель, и ринулись, пожирая за государством государство, как полчища саранчи пожирают посевы.

И вот теперь люди «Летописца» с тревогой и трепетом следили, как вражья сила докатилась и до русских пределов, как занялись пожарами города, как гарью потянуло и от холмов московских, как двинулись в волжские степи обозы беженцев. Видать, и на Русь пала тень гнева господня. Что ж, настала пора и на войну обряжаться. И к этому суровому обряду было им не привыкать. Ходили крестными ходами, заказывали молебны, вручали воинам в дорогу малые иконки, целованные, материнскими слезами омытые.

Хотя много симбирских ушло против Наполеона, город от притока беженцев сделался еще многолюднее В любом почти большом доме жили семьи из западных губерний. Подолгу обсуждали всякую весть. Осенью, после великого сражения, еще прибавилось беженцев. Куда теперь повернет супостат? В Москве останется либо двинется на восток, к Волге?.. Он наконец повернул на запад. Как напроказивший змий, пополз в свое логово. В ту зиму и симбирские квартиранты по санному следу

потянулись к родным гнездовьям.

А в доме Гончаровых покрикивал младенец, ровесник великого испытания, насланного на Россию. И покрикиванием своим напоминал, что шествие жизни выравнивается, что основные ее заботы опять должны вернуться в свое привычное русло в двигаться изо дня в день в неспешном ритме детской зыбки. И что вновь должно восстановиться доверчивое отношение к жизни — такое, как у несмышленыша, который сегодня впервые улыбнулся — в ответ на материнскую ласку или на скольжение солнечного луча по стене.

И люди «Летописца» снова погружались всем существом в благословенное *сегодня*, навеки связанное с *прошлым*. А будущее опять надолго исчезало из поля их зрения. Потому что не их это дело — рассуждать о том, что случится через год или даже через день. На то есть прозорливцы и блаженные люди наподобие Андреюшки. А самим нечего воображать.

Но что бы ни произошло в будущем, главное течение жизни всегда пребудет ровным, незаметным, медлительным и неколебимым, как ход большой реки. Вон она, блещет под солнцем или стынет под луной, и кажется, что погружена в вечный самозабвенный сон. Иногда пронесется по ней рябь, а то и поднимется волна. А так все тихо и покойно. Где-нибудь в море, куда наконец довлекутся ее воды, говорят, ходят страшные бури. Но это так же далеко отсюда, как и время Страшного суда. Конечно, по вере, тот суд в свое время грядет и все собою разрешит. Но что ж и поминать его, когда и предчувствий пока нету?

Так бытовали люди «Летописца» и не ведали, что житье их несокрушимое продержится еще двадцать, ну сорок, ну от силы шестьдесят лет.

Конечно, знали и они за собой всякие грехи и грешки. Но все это — по их разумению — было опять же как рябь или волна на реке — глядишь, уже и пропала. Зато ведь и на исповедях каялись, и милостыню щедро раздавали, и с врагами своими прилюдно мирились, с целованием и чистой слезой. Так за что же на них насылать кару грозного суда?

Какой-нибудь петербургский или московский сочинитель мог бы, правда, еще на один грех им указать: много-де среди них водится невежд, недоучек и простофиль. Не читают-де они газет, не выписывают из столицы журналов и книг. И точно, был грех. Они все вместе и за год не прочитывали столько мелкопечатных строчек, сколько за одно лишь утро пробежит острым глазком столичный чиновник, взволнованный землетрясением в Южной Америке или войной в Африке, рождением принцессы датской

или еще целой дюжиной будоражащих, а то и леденящих кровь событий и происшествий.

А этих ничто из событий остального мира не волновало, не будоражило, не выводило из равнодушного состояния. Там, может быть, вчера очередная Атлантида с грохотом провалилась на дно океана, а они и бровью не поведут — знай себе обсуждают, сколькими поросятами опоросилась соседова свинья или как лучше заквашивать брюкву, с хреновой ботвой или без оной.

Зато почти каждый из людей «Летописца», даже самый разнеграмотный, знал дословно тропари и кондаки всех праздничных служб, а то еще и целые каноны с акафистами, а то еще и целые кафизмы псалтырные.

Сверх того каждый из них помнил наизусть десятки песен и сказок, сотни прибауток, поговорок и побасенок. В лакейской гончаровского дома маленький Ванечка разглядывал едва ли не первые в своей жизни книжки — про Бову Королевича, про Еруслана Лазаревича… Тут же проживала и женщина, которая знала и пересказывала ему такое великое множество историй и сказок, что их никакая книга, кажется, не могла бы вместить. То была Аннушка — няня маленьких Гончаровых. Широколицая, добрая, похоже, она была старой, когда он только учился говорить. Такой же старой она оставалась и тогда, когда он увидел ее в последний раз — сам уже пятидесятилетний. Может быть, она и не была никогда молодой, а сразу родилась старухой, если только она когда-нибудь родилась, эта ветхая деньми, как мир, древняя женщина?

«Глаза старухи искрились огнем, — будет он ее вспоминать, — голова дрожала от волнения, голос возвышался до непривычных нот».

Нет, это уже не няня, не Аннушка сидит рядом и говорит сказки. Это вещает какая-то вдохновенная пифия, и последние отсветы заката бродят по морщинам ее пергаментного лица.

Няня — это память всего мира, всех веков. Это бездонная прапамять всего человечества. Это живой миф.

«Она с простодушностью и добродушием Гомера, с тою же животрепещущею верностью подробностей и рельефностью картин влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни…»

Такою опишет он свою Аннушку в «Обломове».

Пусть вам земля будет пухом, добрые старушки, домашние Лары русских классиков! Спасибо вам за певучее родное слово на сон грядущим, за сказки, нашептанные в чуткое ушко, — а вдруг потом аукнутся.

Впрочем, и среди людей «Летописца» изредка попадались фигуры особого склада. Таким был, например, уже упоминавшийся выше крестный Вани Гончарова, ближайший друг всей гончаровской семьи, помещик Николай Николаевич Трегубое. Он когда-то служил артиллеристом на военном корабле, чуть ли не под началом самого Ушакова, и даже получил Владимира за военные действия против французов в Средиземном море. Но, выйдя в отставку, поселился в местах сугубо сухопутных — в степном симбирском своем имении. Жизнь в деревне вскоре наскучила общительному холостяку, и он перебрался в город со всею многочисленной дворней, снял для постоянного жительства большой деревянный флигель при доме Гончаровых.

Трегубов выписывал газеты и журналы, в дому у него бывал весь цвет симбирского дворянства.

Детей холостяк обожал. Его бесконечную доброту и ласковость маленький Ванечка ощутил с первых же лет, а особенно после того, как умер отец. Тут Николай Николаевич Трегубов, бывший к тому времени крестным уже всех четырех гончаровских ребят, полностью принял на себя обязанности духовного отцовства. Посоветовались они с Авдотьей Матвеевной и порешили: раз уж такая вышла судьба, что прирос он всей душой к их семье, то и будут жить теперь одним общим домом. Для Трегубова отвели несколько комнат в каменном особняке.

Николай Николаевич брал на себя попечение о ребятах, Авдотья Матвеевна — все хозяйственные заботы, в том числе и по двум трегубовским деревням.

В комнатах отставного моряка Ванечка любил разглядывать диковинные инструменты и приборы, среди которых были телескоп, секстант и хронометр. Позднее, когда мальчик освоил грамоту и поступил в пансион, Трегубов стал открывать для него книжные шкафы, где у него имелась целая библиотека путешествий, в том числе описания всех кругосветных плаваний. Попутно объяснял, что такое география, вводил крестника в круг математических, астрономических познаний, знакомил с начатками навигационного дела.

Не забывая о насыщении ребячьей любознательности, основную свою задачу Трегубое видел в бережном покровительстве подрастающей безотцовщине, в смягчении материнской строгости. Это началось еще до его переезда из флигеля в большой дом. «Бывало, нашалишь что-нибудь, — вспоминал о тех годах Гончаров, — влезешь на крышу, на дерево, увяжешься за уличными мальчишками в соседний сад, или с братом заберешься на колокольню — она (мать. — *Ю. Л.*) узнает и

пошлет человека привести шалуна к себе. Вот тут-то и спасаешься в благодетельный флигель, к «крестному». Он уж знает, в чем дело. Является человек или горничная, с зовом: «Пожалуйте к маменьке!» «Пошел», или «пошла вон!» — лаконически командует моряк. Гнев матери между тем утихает — и дело ограничивается выговором, вместо дранья ушей и стояния на коленях, что было в наше время весьма распространенным средством смирять и обращать шалунов на путь правый».

Николай Николаевич не только покрывал ребячьи проказы, но и щедро потакал вожделениям детворы. У него был свой кондитер и потому всегда хранился запас всевозможных сластей и лакомств, которые скармливались братцам и сестрицам. Сверх того, Ваню — а его Трегубов выделял из всех детей — он ежедневно брал с собой кататься по городу. Во время прогулок то и дело велел кучеру останавливаться возле магазинов и лавок, где любимчик напихивал в карманы еще всяческих конфектов и где покупались по его выбору игрушки.

А то позовет к себе и тихонько сунет в ладонь мелких монеток, и ребята, ускользнув из дому, покупают у торговок простонародных лакомств — семечек, стручков, моченой груши.

Естественно, мать, когда замечала эти излишества Трегубова, отчитывала и его. А ему что? На словах согласится, а сам продолжает свое.

В первые годы, как помнил его Ванечка, отставной моряк любил устраивать пиры с музыкой, с шампанским. Даже и сердечная симпатия была в те годы у Трегубова — какая-то графиня, вышедшая замуж, однако, не за него, а за его приятеля. Поражение свое, по крайней мере с внешней стороны, принял он без надрыва, с мягкой какой-то грустью. Но, видимо, это наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь холостяка — он стал больше и и больше замыкаться. Впрочем, для такой перемены появилась потом и более значительная причина, но ее Ванечка узнал много позже.

Изредка наведывались к Трегубову два наиболее близких ему приятеля, оба помещики. Один — маленький худенький старичок, ценитель Вольтера и вообще исключительно французских авторов — постоянно жил в своей великолепной загородной усадьбе, украшенной на манер Версаля всевозможными фонтанами, мраморными нимфами и стрижеными деревьями.

Второй был совсем иного толка — тихий, застенчивый, совсем неученый, с вечной пенковой трубкой во рту, предоброй души человек.

В город они наведывались только по случаю выборов и останавливались всегда у Трегубова. «С утра, бывало, они все

трое лежат в постелях, куда им подавали чай или кофе. В полдень они завтракали. После завтрака опять забирались в постели. Так их заставали и гости. Редко только, в дни выборов, они натягивали на себя допотопные фраки, или екатерининских времен мундиры и панталоны, спрятанные в высокие сапоги с кисточками, надевали парики, чтоб ехать в дворянское собрание на выборы. Какие смешные были все трое! Они хохотали, оглядывая друг друга, а мы, дети, глядя на них». Так вспоминал впоследствии писатель.

Сперва Ваня учился в одном из городских пансионов. Содержательницей этого крошечного заведения была небогатая дама-чиновница. Дама оказалась презлая, за огрехи в чистописании стегала ребят ремнем по пальцам. Проучился у нее Гончаров недолго.

Как-то в их дом наведался представительный молодой батюшка по имени Федор из богатого заволжского села Репьевка. Отца Федора хорошо знали и в городе, и многие за честь считали водить с ним знакомство. Был он, говорят, искусный проповедник, а вместе с тем не гнушался светскими науками, читал на разных языках, а женат был — непривычно для своего сана — на немке. Вместе с супругой они устроили в Репьевке пансион, и, похоже, дела там велись куда лучше, чем в симбирских школках, потому что многие дворяне здешние посылали своих отпрысков к отцу Федору. Сговорились и насчет Вани Гончарова. Его провожала целая толпа народу — мама, брат с сестрами, крестный и няня, повара и лакеи, горничные, кучера, девки, стар и млад. Он любил этот толстостенный двухэтажный каменный дом, построенный еще дедом, громадный двор с флигелем, со всякими хозяйственными постройками — кладовыми, конюшней, ледником, сараями, сеновалами, амбарами, просторным, взбирающимся на гору садом. У него тут было столько укромных уголков, лазеек в зарослях крапивы и лебеды, любимых деревьев, щелей в заборах, потайных ямок, куда он закапывал свои заветные вещицы, чтобы назавтра откопать и снова играть с ними. Тут, в тени поленниц и амбарушек, росли какие-то сладкие безымянные травки, которые они, дети, любили жевать.

Это было для него первое большое путешествие. Переправа через Волгу, особый, ни на что не похожий запах реки — запах мокрого песка и двустворок, рыбной сырости и тугого полынного ветра… Потом дорога мимо шуршащих камышом стариц и дальше лесом и степью. До Репьевки было двадцать верст, и ехали не спеша, несколько часов. В селе — большой, свежевыкрашенный каменный храм, имение барыни с регулярным садом, а за

околицей — старые дубовые рощи. Мальчика эти рощи особо поразили. Сколько потом часов он провел с ребятами в их тени, как там бегалось и как лежалось на шелковистой невлажной траве, как дышалось во всю грудь душистым настоем сухого чистого воздуха! А прогулки осенью по бронзовому настилу листвы, а собирание желудей, твердых, отполированных, будто отлитых из металла… А шелест рыжих неопавших листьев под зимним ветром, а первые светло-зеленые кружева на ветвях по весне… Каждый лист разгибается, выравнивается, темнеет, и вот уже на многих появились бородавчатые шарики, почти белые на цвет, но зато чернила из этих шариков получаются самые черные.

Дубовые рощи и библиотека отца Федора остались двумя главными впечатлениями Вани от Репьевки. Здесь он приохотился помногу читать и полюбил суровую важность стихов Державина, где каждое слово звенело и благоухало, а все вместе они напоминали какую-то священную дубовую сень. Еще из старых русских авторов он узнал Ломоносова, Фонвизина и малопонятного Хераскова. Потом неожиданно напал на прозу Карамзина. Ему объяснили, что это писатель их, симбирский, а дом его стоит на самом Венце, он хорошо ему был виден, когда переправлялись через Волгу, и чем дальше отплывали, тем симбирские горы разрастались все выше и шире, а дом на Венце белел из-за зелени все заметнее.

В пансионе их обучали сразу двум иностранным языкам — французскому и немецкому. Первому, как тогда л полагалось, уделяли особое внимание, и вскоре мальчик стал почитывать и французов, все подряд, без разбору, — разрозненные тома Расина, Вольтера, Руссо. За внеклассным чтением своих подопечных наставники совсем не следили, и Ваня не знал удержу. То вытащит ив груды книг Ратклиф, то Торквато Тассо, то Стерна, а то вдруг и немецкого мистика Эккартсгаувена. Для более слабой натуры подобная пища оказалась бы, пожалуй, губительной, но этот как-то все умудрялся переваривать и притом оставаться все таким же розовощеким, бойким, подвижным мальчишкой, каким и прибыл в пансион. Разбуженная книгами фантазия работала без удержу, воображению грезились дальние страны, их диковинные жители, крушения кораблей, крики жестоких преследователей — но тут ребята ввали его играть, и он мигом все забывал, снова кровь приливала к лицу, и глава сияли радостью…

Здесь он провел два полных учебных года, отсюда ездил домой на вакации, сюда среди зимы сердобольная Авдотья Матвеевна передавала своему меньшенькому коробки и свертки со всякими пирогами и сдобами.

Иногда, жуя пышный пирог с маком, и он взгрустнет по

матери и крестному, по брату с сестрицами.

Летом 1822 года десятилетнего Ваню забрали иэ Репьевки. Немного он пожил дома — и снова в дорогу, ив. сей раз куда более дальнюю. Обоих братьев решено было определить в Московское коммерческое училище. Авдотья Матвеевна надеялась, что они пойдут по торговой части и унаследуют отцово предприятие. Вот и конец беззаботному детству, пора определяться в жизни. Мать хотя и ее пожилая еще женщина, но не вечно же ей заниматься хозяйством. Пусть ребята постепенно осваиваются с тем, что скоро они станут главными в этом доме.

…Прошел год, другой, третий. В летние месяцы мальчики приезжали в Симбирск. Сколько затевалось тогда хлопот вокруг них, слезных «ахов» и «охов»! Все бегали будто очумелые, стараясь накормить их повкусней да побольше, а то совсем, бедненькие, отощали на казенных харчах. А крестный по-прежнему завывал к себе, угощал сластями ив заветного шкапчика, а когда закладывали бричку для ежедневного моциона, брал с собой Ваню. Похоже, он совсем не замечал, что ребята уже весьма повзрослели, и, как в былые годы, приказывал кучеру останавливаться у тех же кондитерских лавок.

Да, он старел все заметнее. В фигуре появилась грузность, отяжелела нижняя часть лица. Гости почти перевелись. Пиров да вечеринок будто и не бывало никогда. Стал и характер меняться у бывшего моряка. Он и прежде со слугами вел себя строго, покрикивал, хотя рукоприкладством и не занимался. А теперь все чаще входил в какой-то капризный гнев. Обнаружит, что суп подан ему пересоленный, затрясет палкой. Слуга уже знает, что сейчас барин пошлет его с этой палкой, чтобы «дать ее понюхать мошеннику повару». Но, впрочем, гнев почти тут же и сойдет. А о том, нюхал ли повар палку, так и не спросит.

Замечая все большую нелюдимость крестного, проявляемую не только дома, но и во время прогулок, Ваня несколько раз пытался выяснить причину такой перемены. Онажды — дело было уже после двадцать пятого года — Трегубов разоткровенничался и изложил Ване свою «тайну», свой «грех». Когда в Петербурге начались процессы над декабристами, взяли и в Симбирской губернии кое-кого из молодых людей. Но это ладно, тут он был ни при чем. А вот когда велено было доставить в столицу предводителя местного дворянства Баратаева, которого там продержали долгонько и, по слухам, даже тайно наказали розгами, — вот тут старик не на шутку разволновался. Ведь они с Баратаевым состояли в одном сообществе, и Баратаев был у них главным. «В каком же сообществе?» — подивился подросток. «В

масонах, — озираясь, понизил голос крестный. — В ложе масонской».

Ну и ну! И что же они там делали, в своей ложе?

Старику и рассказывать-то, похоже, было немного неловко. Как что делали? В одном здешнем доме была устроена специальная комната, обитая черной материей. Наряжались в особые костюмы, на руки белые длинные перчатки надевали, говорили разные речи, все больше о благотворительности, о защите слабых и сирот, о религии разума и всеобщем братстве, зачитывали какие-то протоколы… Даже деньги собирали для нужд милосердия. Но на самих, признаться, денег еще больше уходило, потому что после бесед частенько устраивали вечеринки, тоже тайные, с шампанским.

Пили «чуть не ведрами, так что многих к утру развозили по домам».

Тогда для Вани это признание старика показалось не более как смешной провинциальной дичью. Но с годами, когда из разных уст и из документов, читаемых по роду службы, стали открываться для него истинные намерения масонства, он смог лучше понять переживания Трегубова. Судя по всему, Баратаева не зря продержали в Петербурге около полугода, и он был в масонском мире не такой мелкой пташкой, как отставной моряк. Скорее всего Баратаев имел прямые связи с зарубежными ложами, но нижних чинов своего воинства в международные цели не посвящал.

Обидно было все же за таких простаков, как Трегубов, как его приятель, разыгрывавший из себя симбирского Вольтера. Кто-то дурил им головы, а они принимали все за чистую монету. Но скорее всего масонство было для них лишь родом забавы, и, напяливая на себя диковинные хламиды, они так же ухмылялись, как и при сборах на выборы: вот ведь, братец масон, какие мы, однако, чучелы!..

В ПРОВИНЦИИ И В СТОЛИЦАХ

О годах учебы в Московском коммерческом училище Иван Гончаров вспоминать не любил. А если и вспоминал иногда, то с неизменным чувством неприязни и раздражения.

Нетрудно понять почему. Хотя и до этого было у него представление о длительной жизни вне родного дома, но в Москве после волжского раздолья небо показалось ему с овчинку. И в репьевском пансионе, и тем более в Симбирске рос он баловнем. Здесь же рассчитывать на преимущественное к себе внимание не приходилось — слишком много их оказалось вместе, таких, как он.

Огромный чужой город, в котором он как бы и пребывал и отсутствовал одновременно, потому что воспитанников за училищную ограду почти не выпускали; какой-то неведомый им опекунский совет, обязательное почтение к которому внушалось с первых же дней; целый двор преподавателей, надзирателей, дядек, которых надо было быстро запомнить не только в лицо, но и по именам…

Училище существовало уже почти двадцать лет. Оно было на виду у представителей августейшей фамилии. Сама императрица Мария Федоровна, мать покойного Александра I и ныне здравствующего императора Николая I, числилась высшей начальницей учебного заведения и имела в нем нескольких стипендиатов.

Несколько лет назад она уже посещала трехэтажный корпус на Остоженке, где размещались классы, спальни, кухня, лазарет и училищная церковь. Очередного приезда можно было ожидать во всякий месяц. А потому ученики должны находиться в состоянии вечной готовности, немцами, Ростом и Алерциусом. Немцы оказались истинными поэтами муштры и формалистики.

И в помещения в помещение ученики ходили строем. Даже в баню и на прогулку в училищный садик предписано было идти тем же строем: рослые ребята в первых рядах, кто помельче — сзади.

В спальне в линеечку выстроились железные кровати. Спали на тюфяках, покрытых холщовыми чехлами. Тумбочка у каждого своя. Раздеваясь, он должен уложить в нее всю одежду — шинель, мундир в прочее — так, чтобы вещи располагались в предписанной последовательности, и вся эта поклажа увенчивалась картузом. К содержимому тумбочек постоянно придирались классные надзиратели, да и директор любил в них заглядывать.

В столовой, когда усядутся за длинные скамьи и разберут оловянные тарелки, появляются на концах стола дядьки с огромными дымящимися мисками, начинается церемония раздачи еды. Наполненные тарелки нужно передавать с концов стола тем ребятам, которые сидят посередине. И так, пока не разложат всем. Чем красивей, отлаженней выглядит эта операция, тем довольней начальство во главе с директором, которого не зря прозвали «стооким». Разговаривать за едой строжайше запрещено.

Для провинившихся — штрафной стол. Тут скатертей не постилали, а еда подавалась в деревянной посуде.

Вообще, что касается наказаний, они отличались модным «гуманитетом». Официально надзирателю не велено было применять к провинившемуся физическую силу. Шалунов и лентяев выставляли в угол, не разрешалось им играть со всеми в свободное время. Но более всего ученики должны были бояться кондуитной тетради, в которую надзиратель — а он с утра и до ночи состоял при мальчиках — неукоснительно заносил любую их погрешность. При переводе из класса в класс эти записи зачитывались на учительских конференциях. Смотря по важности замечаний, ученика могли лишить подарка, а то и задержать в том же «возрасте».

Всего «возрастов», или классов, было четыре: подготовительный и три следующих — «нормальные», на каждый возраст выходило два года.

Потянулись месяцы однообразного учебного житья с ранними побудками под звонок колокольчика, с покрикиванием классных дядек. Так бы еще понежиться в нагретой постели, а тут открывают форточки, в комнату клубами вваливается холодный сырой воздух. Никто не поможет одеться, заправить постель. Все делай сам и быстро.

В своем классе Иван Гончаров младший по летам, но это вовсе не преимущество. Среди одноклассников у него нет настоящих друзей. Вообще в этом возрасте подростки труднее всего уживаются друг с другом: частые ссоры, измены ради такого же непрочного приятельства с кем-нибудь третьим. Подшучивание, поддразнивание, ябедничание, обидные тычки и щипки за спиной у преподавателя.

Брат Николай, который был отдан сюда раньше, теперь находился уже во втором «возрасте». Присутствие родного человека несколько скрашивало Ивану тоскливый быт. Но виделись они лишь во внеурочное время, да и то мельком. Надзиратели строго следят, чтобы пансионеры разных «возрастов» не общались друг с другом.

Николаю тоже приходилось нелегко. По главным предметам

учился он посредственно, не давались ему ни арифметика с алгеброй, ни физика.

Может, это его вина, что и на младшего Гончарова преподаватели стали смотреть как на неотесанного провинциала. Такая предвзятость была вдвойне обидна: Ивану не стоило особого труда заметить, что подготовлен он нисколько не хуже своих одноклассников, а часто и выделяется среди них сообразительностью.

По крайней мере, уж никак он не ожидал, что после двух лет учебы его еще на один срок оставят в том же начальном классе: он-де по малолетству не сумел сравняться в успехах со своими товарищами.

Никогда не забываются травмы, нанесенные в самую ранимую пору жизни. И несколько десятилетий спусти в письме к брату Гончаров жаловался на незаслуженную кару училищного начальства. Жаловался с такой обнаженной горечью, как будто событие произошло лишь вчера.

Охранительное действие ребячьего самолюбия не замедлило обнаружиться. Мальчик стал заниматься с прохладцей и вскоре по арифметике «догнал» старшего брата. Но это не значило, что воля его парализована. Общительный, жизнерадостный Иван, судя по кондуитным заметкам, попадает в число шалунов. Когда наконец после четырехлетнего сидения в первом «возрасте» его переводят в следующий, конференция училища в своем постановлении отмечает: «Иван Гончаров, хотя по числу баллов и заслуживал бы награждения, но как пробыл в классе вместо одного два двухлетия и как по сему, так и по летам своим долженствовал бы оказать лучшие успехи перед всеми учениками того класса, в коем находился, и при том шалостлив, то конференция, не признавая его достойным отличия, почитает справедливым и достаточным переместить токмо его во 2-й возраст».

Из этого весьма путаного, лишенного логики документа явствует, кстати, что собственный его возраст опять «подвел» ученика: если в предыдущем решении начальства назначение ему повторного срока объяснялось малолетием, то теперь оказывается, что «по летам своим» он обязан был превзойти сверстников в успеваемости.

Видимо, в эти годы определилась у него, уже навсегда, неприязнь к точным наукам, хотя постепенно он выровнялся по всем учебным дисциплинам. Во время приватных и годовых экзаменов, когда имена успевающих а отстающих учеников вывешиваются соответственно на «красной» и на «черной» досках, фамилия младшего Гончарова все чаще фигурирует на «красной». Но по-прежнему его привлекают лишь русская словесность,

языки, география с историей. Да, наконец, и танцы, уроки которых дает им итальянец Мунаретти.

С особым рвением, как некогда в Симбирске и Репьевке, посвящает он свой досуг чтению. Вот где настоящая отдушина! Вот где простор для свободной деятельности сердца и ума! Что ж, не он первый, не он последний из тех, кому книги своим «возвышающим обманом» помогают избыть годы казенного школярства.

Но вот что интересно: он уже исподволь начинает смекать, какими средствами будоражит его воображение тот или иной писатель. Он видит, что у каждого из них есть, оказывается, свой «слог», свои излюбленные слова, обороты, темы. Теперь он на слух, без особого труда отличает стихи Державина от стихов Дмитриева либо Хераскова. Вообще все, что касается «слога», его как-то приятно волнует.

Так незаметно для себя он и сам начинает потихоньку сочинительствовать. Первые опыты воодушевляют видимой легкостью, доступностью. Конечно, он не настолько самоуверен, чтобы считать эти пробы пера успешными и имеющими отношение к литературе. Они непроизвольны, почти неосознанны, близки к развлечению. Это как бы реплики на прочитанное, попытка выразить своим словом мнение о слове чужом.

А тем временем организм, возбужденный чтением, просит и другого — покричать во всю глотку, побегать, побороться с приятелями, подушками покидаться, отправиться в странствие по неизвестным улицам. Но вместо всего этого — чинные прогулки вдоль деревянного забора. Мерный шум города глухими волнами докатывается сюда. Где-то поблизости цокают подковы, дребезжат по булыжнику колеса. Сверкают над купами деревьев, над крышами и куполами голубиные стаи. О том, как велик этот город, можно догадаться хотя бы по перезвону его бесчисленных колоколов.

Иногда в праздничные дни кто-нибудь из опекунов пригласит к себе двух-трех самых примерных пансионеров. Тогда оставшиеся совершают некоторую перетасовку в своем строю — все-таки разнообразие. Иногда из окоп первого этажа, где живет их священник, отец Михаил Соловьев, выглянет доброе, сочувствующее лицо няни, держащей на руках тщедушного поповича. Иван Гончаров вспомнит свою няню — свою Аннушку. И вздохнет. На каникулы отпустят только в июле, после годовых экзаменов. Да и отпустят-то всего на месяц с небольшим.

В 1828 году старший брат закончил полный курс обучения. У

Ивана впереди оставалось еще два класса. Вместо восьми полные десять лет придется ему киснуть здесь и в итоге пойти в услужение к какому-нибудь богатому, но полуграмотному купчине или мануфактурщику. Ведь главная цель училища, как им неоднократно внушалось, — выпускать «истинно образованных конторщиков, кои бы оставались в своем сословии». Хоть и именуется выпускник громко «кандидат коммерции», но всю свою жизнь будет этот кандидат щелкать костяшками, толкаться по ярмаркам, корпеть над бухгалтерскими книгами.

Боже упаси, если начальство прослышит, что кто-нибудь из старшеклассников вознамерился посвятить себя иному поприщу! Как-то один пансионер объявил было, что по окончании училища хочет поступать в Московским университет на словесное отделение, потому-де он и не старается на уроках математики и физики. Что тут поднялось!.. Измена, неисполнение долга… Как будто у них у всех на роду написана коммерционная служба.

В своих воспоминаниях об университетских годах Гончаров не сообщает, когда именно и при каких обстоятельствах утвердился он в мысли бросить училище и сбежать в университет. Может, поддался он агитации старшего брата, которого также явно клонило к гуманитарным наукам? А может, инициатива исходила от него, а не от слабохарактерного Николая?

Как бы ни было, младший Гончаров, наученный опытом недавнего переполоха, вызванного «изменой» выпускника, никому в училище не сообщает о своем намерении. Скрепя сердце заканчивает он третий «возраст». С русским, французским, немецким и английским языками — а это сейчас для него главное — у Ивана все обстоит прекрасно. Коммерческую арифметику и коммерческие сведения (есть и такие дисциплины) он еле вытянул, да и ни к чему теперь напрягаться. В Симбирске на семейном совете решено, что желаниям юноши — ему уже восемнадцать лет исполнилось — прекословить неразумно. Тем более что купеческая деятельность дома Гончаровых с годами совершенно свелась к нулю. Видать, не судьба обоим братьям идти по отцовым стопам. Авдотья Матвеевна подает в Симбирский магистрат просьбу об увольнении младшего сына из купеческого звания: это даст ему возможность поступить в университет, «а потом в статскую или по ученой части службу».

В сентябре 1830 года опекунский совет коммерческого училища разбирает ее же, Авдотьи Гончаровой, прошение об увольнении сына Ивана. Просьба купеческой вдовы мотивирована двумя обстоятельствами. Кажется, что оба они придуманы на ходу, чтобы прикрыть истинную цель прошения. Иван Гончаров, как явствует из письма, был отдан в училище с тем, чтобы «по

трудной болезни брата своего Николая» мог «безотлучно находиться при нем». «А как окончания сей болезни предвидеть невозможно», то и дальнейшее пребывание младшего брата в училище не имеет смысла, Кроме того, в связи с расстройством коммерческих дел вдова не в состоянии «платить пансионных денег за сына своего Ивана».

Совет удовлетворил просьбу.

Вместе с Николаем (тот избрал юридический факультет) Иван принялся за подготовку к экзаменам.

Очерк «В университете», написанный Гончаровым в начале 70-х годов, отчасти содержал полемическую установку. Автору хотелось показать, что «республиканский» стиль студенческой жизни, за который так бурно выступает пореформенная молодежь, имел место и в пору его юности, в 30-е годы, с той лишь разницей, что тогда такой стиль не выставлялся в качестве самоценного идеала. Но нам сейчас этот очерк интересен прежде всего заложенным в нем автобиографическим материалом: характеристиками крупнейших «звезд» университетской профессуры, деталями студенческого быта.

После полуказарменной обстановки коммерческого училища студенческая семья действительно выглядела республикой. От остоженского корпуса до здания на Моховой всего-то рукой подать, а здесь, в университете, кажется, и воздух совсем иной. Начать с того, что студенты, кроме казеннокоштных, живут не в общежитии, а снимают комнаты и углы по всему городу. Или с того начать, что им не задают уроков и не спрашивают каждый день выученного. Что нет здесь и в помине никаких надзирателей с отвратительными кондуитными тетрадями. Что никто не заставит студента стоять в углу, не прикажет ему состричь длинные волосы. Что не принудят его маршировать в строю по университетскому двору на потеху проходящей публике. Что после лекций может пойти сам или с таким же, как он, вольным и счастливым товарищем куда глаза глядят. Что не возбраняется ему посещать лекции на других факультетах, если у него есть охота послушать какую-нибудь новую знаменитость. Что, наконец, он может хоть всю ночь не смыкать глаз, посвятив ее приятельской пирушке, чтению нового романа Вальтера Скотта или прогулке по спящему городу.

Хочет — прогуляет лекционные часы, проведет их на лавочке кремлевского сада, откуда удобно рассматривать проходящих мимо девушек и дам; или забредет в кондитерскую, накупит себе пирожных, конфет, сладкой воды, а то и вина закажет и с важным видом вытащит из кармана сигару. Словом, он может распоряжаться своим временем как угодно, никому нет дела до

того, как он успевает все выучить к очередным экзаменам, лишь бы отвечал на них толково.

Иногда у Ивана Гончарова складывалось впечатление, что эта их вольница вообще забыта начальством.

«Начальства как будто никакого не было, — вспомнит с улыбкой писатель, — но оно, конечно, было, только мы имели о нем какое-то отвлеченное, умозрительное понятие: знали о нем, можно сказать, по слухам».

С такою же благодушной улыбкой описывает он редчайший и потому так живо запечатлевшийся случай, когда их все же навестил ректор — профессор физики Двигубский. Ректор в этом описании выглядит существом дремуче-захолустным, под стать людям «Летописца». «Он однажды зашел в нашу аудиторию во время лекции, и, кажется, сам удивился своему приходу. Грузный мужчина, небольшого роста, с широкими плечами, на которых плотно сидела большая, точно медвежья голова, он как-то боком, точно нехотя, взглянул на толпу студентов, как будто говоря глазами: «ну, чего тут смотреть? невидаль какая!» — кивнул профессору, кивнул нам в ответ на общий наш поклон и скрылся. Он, кажется, зашел, что называется, для очистки совести: чтоб нельзя было сказать, что он ни разу не был в аудитории».

Здоровым, сытным воздухом неторопливого захолустья веяло и от всего города, в самом центре которого располагался университет. Иван Гончаров, который, почитай, уже девять лет как числился москвичом, только теперь получил возможность разглядеть старую Москву во всех ее достопамятных и трогательных подробностях. Трудно было поверить, что всего двадцать лет назад этот город на всем своем громадном пространстве чадил и потрескивал, как груда выброшенных из печи угольев и головешек. Почти все храмы, общественные здания и частные особняки щеголяют свежей покраской самых разных колеров: бело-розовых и бело-синих, желтых с белым и зеленых с белым. Дома утопают в летней зелени или в осеннем золоте, в снежной голубизне или в душистом дыму белокипенных майских садов.

Студенты часто совершали прогулку по какой-нибудь из знаменитых окрестностей. Особенно любили многоверстный путь в Кузьминки.

Москва боготворила свои древности. Профессор Снегирев, который весьма скучно читал им курс латинской письменности, буквально трепетал, когда разговор вдруг касался какой-нибудь невзрачной московской церквушки.

Тут он знал все: от первого летописного упоминания о ней до того, сколько раз и в какие нашествия она горела, и кто погребен

под ее плитами, и от кого получены ценные вклады, и какие именно — напрестольные евангелия, плащаницы, потиры, образа и ризы.

Гончаров, будто величественную сагу, читал в эти годы «Историю государства Российского», писанную его знаменитым земляком, и Москва делалась для него живой иллюстрацией к карамзинским томам. Заходя в Кремль, застывая надолго возле великокняжеских гробниц, оп словно воочию, в отблесках свечей и лампад, узревал события смут и войн, всенародных торжеств и дворцовых злоумышлении.

«Долго, бывало, смотрит он, пока не стукнет что-нибудь около: он очнется — перед ним старая стена монастырская, старый образ: он в келье или в тереме. Он выйдет задумчиво из копоти древнего мрака, пока не обвеет его свежий, теплый воздух». Так в последнем своем романе Гончаров опишет впечатления молодого студента от древней Москвы.

А нахлынет — и на несколько месяцев он увлечется иными предметами и событиями: мифологией древних германцев, или библейскими преданиями, или подробностями деяний греков и римлян. И вот аудитория представляется ему собранием горожан, пришедших слушать речь архонта, судьи либо консула. Если оратор выступает по существу, они безмолвно внимают. Если мямлит что-то невразумительное, по рядам прошелестит шумок, ропот неодобрения.

Но подступала и череда экзаменов. У студентов словесного факультета, свидетельствует Гончаров, не было учебников ни по одной из ведущих дисциплин. Поэтому рассчитывать приходилось единственно на память да нв записи, которые они делали во время лекций. Тут-то Иван Гончаров и открыл для себя, какое великое преимущество заключается в постоянном конспектировании лекционных курсов. Записывание с голоса, по следам живой речи исподволь приучало к тому, чтобы сразу же находить в ней главные, опорные мысли, решительно опуская частности, второстепенные детали. Сознание студента в зти минуты и часы работает с удвоенной, утроенной энергией. Он, как пловец, преодолевает беспрерывно катящийся на него поток мыслей, образов, сведений, и нужно не попасться в водовороты риторики, улавливать намеки, скрываемые в недомолвках, паузах.

Но после таких вот заплывов насколько крепче, уверенней, самостоятельней чувствует себя студент. Он не просто покорный слушатель, он сам отчасти становится соавтором лектора. И наконец, особо выделяет Гончаров, какую свободу почувствует он в своей письменной речи!

Из среды профессоров любимцами юных филологов в те годы

были Надеждин, Шевырев и отчасти Каченовский. Последний считался глубоким знатоком своего предмета — славянских древностей, — хотя его неуправляемый, ребячливый какой-то скептицизм, а заодно и скучная, бормочущая манера чтения сильно вредили стареющему профессору во мнении юной публики.

Зато молодого, вдохновенного, блистающего обширнейшими познаниями Николая Надеждина студенты обожала безоговорочно. Его ученая карьера казалась фантастической. Сын сельского священника, он в свои двадцать восемь лет был уже признанным мэтром в области истории философии, археологии, теории литературы. Он успел объездить многие европейские культурные центры, а в Москве стяжать славу одного из самых талантливых журналистов. С недавних пор Надеждин стал редакторок в издателем научно-художественного журнала «Телескоп» и газеты «Молва». Его лекции были импровизациями, сотни цитат из классических произведений он декламировал наизусть.

И вдобавок ко всему был ласков и дружелюбен со студентами, никого не подавлял своей эрудицией. На факультете только и говорили о недавно защищенной им диссертации, в которой он критиковал классицизм, а еще более — модный романтизм.

А Шевырев! Он тоже был молод, обаятелен, вдохновенен. Он тоже недавно прибыл из-за границы с громадным багажом познаний ив области иноязычных литератур — от древних до новейших. Его лекции также проходили при забитых до отказа аудиториях. Раз от разу открывались перед студентами новые пространства к имена: мистическая поэзия Индии, подобный целому материку мир Шекспира, старые греки, великие номы Италии… Одиссей и Фауст, Дон-Кихот и Манфред, Гамлет и Тартюф…

Преподававший историю русской литературы Давыдов хотя и числился в знаменитостях и даже в либералах (недаром его приезжали слушать важные московские господа и дамы), но в среде студентов популярен не был. За впечатляющей наружностью, за плавностью отработанных жестов и интонаций не чувствовалось ни искренности, ни внутренней силы. Но все же и его прилежно конспектировали: как-никак ведущий предметна словесном отделении.

Запомнился Гончарову и Михаил Погодин — одна из колоритных фигур эпохи. Наслышанные о нем как о крупном знатоке русской истории, патриоте я человеке демократического поведения, студенты ожидали от Погодина большего. Но

однокурсникам Гончарова он читал не отечественную, а всеобщую историю, ничего оригинального в этом курсе не было, молодые люди скучали, отвлекались, переговаривались, профессор злился, громко отчитывал замеченных говорунов. Лишь при этих инцидентах и оживлялась аудитория.

Университетские впечатления юноши, закрепленные на бумаге стареющим уже писателем, нисколько не поблекли от времени, не исказились за давностью лет. В этом можно убедиться при параллельном прочтении гончаровского очерка и мемуарных заметок еще одного университетского студента 30-х годов — Сергея Соловьева (сына того самого училищного священника Михаила Соловьева, который в коммерческом преподавал Ивану Гончарову вероучение).

Будущий историк поступил в университет восемью годами позже будущего писателя. Но состав профессуры сохранялся при нем почти тот же (за исключением Надеждина, который был сослан после скандала с чаадаевским памфлетом, опубликованным в «Телескопе»).

Так, о Качановском Соловьев, в частности, пишет: «Любопытно было видеть этого маленького старичка на кафедре: обыкновенно читал он медленно, однообразно, утомительно: но как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какой-нибудь памятник письменности славян или какое-нибудь известие — старичок вдруг оживится, и засверкают карие глаза под седыми бровями…»

Совпадает с гончаровским и мнение Соловьева о профессоре Давыдове — честолюбив, завистлив, лицедей: «Целый год переливал из пустого в порожнее; все лекции состояли из набора слов для выражения известного и переизвестного уже; студенты… курсу Давыдова дали название: *«Ничто о ничем, или теория красноречия»*.

Во многом сходное впечатление произвел на обоих студентов и Погодин. Но вот о Степане Шевыреве мнения оказались почти диаметрально противоположными. «Шевырев богатое содержание умел превратить в ничто, — пишет о нем автор «Истории России», — изложение богатых материалов умел сделать нестерпимым для слушателей фразерством».

Тут одно из двух: или Шевырев как лектор и как личность в промежутке между началом и концом 30-х годов сильно деградировал, или художественное впечатление о нем будущего писателя оказалось все же более объективным, чем профессиональное мнение будущего историка и лектора. В основном же заметки С. Соловьева об университетских преподавателях — богатый биографический фон для

студенческих лет Гончарова.

Кстати, сходной в мемуарах обоих оказалась и характеристика попечителя Голохвастова, с появлением которого однокурсники Ивана Гончарова вдруг почувствовали, что начальство начальству все-таки рознь и что безмятежный быт «республики», оказывается, достаточно зыбок.

Приход Голохвастова действительно знаменовал перемену верховного отношения к университетским порядкам. Очерк «В университете» этой перемены касается лишь в общих чертах. Уже с первого курса студенты быстро разделялись на небольшие компании, кружки и группы. В таком обособлении многое подсказывалось личными симпатиями, авторитетом вожаков, вокруг которых сплачивались единомышленники. Ничего не сообщая о кружке, в который входил он сам, Гончаров выделяет среди других компаний однокурсников группу, состоявшую из Станкевича, Константина Аксакова, Строева и Бодянского. Но ни с одним из них знаком он не был. Не успел познакомиться и с Лермонтовым, который после первого курса оставил университет и уехал в Петербург. Эти подробности помогают представить степень отъединенности студенческих компаний. Сравнительно с группами Станкевича или Герцена, студента физико-математического отделения, кружок, в который входил Гончаров, видимо, представлял собой полюс аполитичности, полной сосредоточенности на одних лишь литературных интересах.

Появление нового попечителя Голохвастова было поэтому для Ивана Гончарова событием гораздо менее ясным, чем для иных его сверстников, которых уже в те годы волновали социальные вопросы.

Иногда в комментариях к очерку «В университете» можно прочитать, что Гончаров вообще чрезмерно идеализирует университетскую обстановку начала 30-х годов. Действительно, если читать его очерк параллельно с главами «Былого и дум», где, к примеру, подробно описана «Маловская история» или другие претендующие на «политику» студенческие выходки тех лет, разница в тоне двух мемуаристов окажется весьма заметной. Но «политика» тогда, конечно же, еще не становилась общестуденческим достоянием. И об этом в первую очередь свидетельствует то, что Гончаров ничего не ведал о тайнах соседних кружков. Видимо, свободу выбирать себе кружок, увлечения, «программу», независимую от интересов иных групп, и имел он в виду, говоря о «республиканских» порядках в университете. Что подобный эпитет не был следствием идеализации, подтверждает и автор «Былого и дум» (кстати, именовавший кружок своих друзей «Запорожской сечью»): «До

1849 года устройство наших университетов было чисто демократическое».

О юность!.. Малиновые воротники, первые свидания, жаркие мечты о славе и чести — это пьянит и без вина. Кто не клянется в юности? Пусть не на Воробьевых горах, пусть в какой-нибудь комнатенке с обшарпанными обоями, но кто не клянется — *ему* или *ей*, самому себе или всему свету?.. Как не терпится поскорее вступить в единоборство с ложью и невежеством, с многоглавым Злом мира, поразить его словом гнева и затем развернуть пред очами человечества свиток с ясным Проектом окончательного благого всеустроения. О сердечные перебои, святые порывы, цветные туманы!..

Мы не знаем: то ли Надеждин оценил круглощекого юношу, то ли сам Иван Гончаров, робея, принес обожаемому профессору тоненькую рукопись. Но в пятнадцатом номере «Телескопа» (сентябрь 1832 года) появляется, правда без подписи, первый опус студента-словесника — перевод двух глав из романа французского беллетриста Эжена Сю «Атар-Гюль». Пальмы, свирепое тропическое солнце, гордый романтический герой-европеец, жуткие обычаи дикарей, приготовления яда, прыжки через пропасти… Похоже, что две эти экзотические главки переводил он залпом, без натуги. И вот его работа в «Телескопе». Он вдруг попадает в соседство великих. Здесь печатают свои статьи Погодин и Каченовский, панславист Юрий Венелин и сам редактор. Здесь переводят прозу Гейне и Мерные, публикуют статьи о Гёте и Вальтере Скотте…

О не кладите меня
В землю сырую:
Скройте, заройте меня
В траву густую!..

Эти нежно-грустные строки какого-то Ф. Тютчева Гончаров прочитал в *своем* номере. Что ж, в юности иногда так сладко думать о собственной смерти, но обязательно славной, сулящей бессмертие.

Но еще слаще думать о жизни, той, которая ждет их завтра, за стенами экзаменационного зала. Как далеко разлетятся они из своего священного гнезда? Какие поприща изберут?

После выпускных экзаменов, сданных летом 1834 года, Иван Гончаров отбывает в Симбирск (Николай по болезни остался в университете еще на год).

Планы у младшего были следующие: остаток лета провести в родительском доме, а потом, как только из Москвы пришлют аттестат об окончании университета, выехать в Петербург. О том, где и кем он в Петербурге станет служить, у юноши еще не было четкого представления. Об одном лишь знал твердо: ни с детства милое губернское приволье, ни даже мечтательная заштатная Москва с ее надеждами на идейное первенство в жизни страны уже не могут быть для него достойным полем деятельности. Рано или поздно почти все университетские молодые люди, ищущие применение своим умственным силам и задаткам, устремляли взгляд в сторону сурового, завораживающе ненастного северо-запада — в сторону призрачной и все-таки *настоящей* столицы.

А пока, в ожидании аттестата, он в который уже раз безвольно погрузился в атмосферу неизменного и неистощимого баловства. Опять, как и в прежние его приезды, родные и слуги жили исключительно заботами о приготовлении для Вани всевозможных закусок и питий, о выборе лучших кусков мяса для жаркого и самой свежей рыбы для заливного, о качестве солений и маринадов, пирогов и пирожных, настоек и прохладительных квасов. После ознакомления с умеренной московской кулинарией эти старания умиляли его простодушием и забавляли чрезмерностью.

Опять, как и прежде, Трегубов возил его по улицам, где было все так же раздольно, пустынно и безгласно, удто город досматривает какое-то сладостное сновидение, доставшееся ему от предыдущего века. Правда, крестник обратил внимание на внушительные размеры нового собора, построенного в ампирном стиле, да на свежую массивную вывеску «Питейная контора».

«Откупщик выстроил», — пояснил Трегубов.

Слово и фигура, им обозначенная, были юноше внове.

Он посетил памятные с детства городские окраины. Спускался с удочками к маленькой, шуршащей камышами Свияге — она, кажется, пообмелела, еще теснее заросла осокой и кувшинками. Ходил на охоту и на рыбалку мимо Венца, к берегу Волги. Как-то домашние устроили в честь его приезда пикник на одном из волжских островков, с самоваром и белоснежной скатертью между стогами уже зазеленевшего отавой луга.

После недавних экзаменационных волнений на душе у него была какая-то блаженная пустота, время почти застыло, и после бесед с матерью и крестным, с сестрицами и няней, после ужения рыбы и сидения за книгами у себя на «вышке», как он именовал комнату на верхнем этаже, у него оставалась еще уйма ничем не занятых часов. К тому же книги вскоре он все просмотрел, а публичной библиотеки в городе — это все же не Москва! — не

было.

Трегубов советовал ему нанести необходимые визиты — не только в знакомые дома, но и наиболее известным лицам губернского центра, в том числе, конечно, и представителям власти. Ведь как-никак он и сам теперь лицо достаточно авторитетное.

Хотя и без особого рвения, «действительный студент» несколько визитов нанес, в том числе и губернатору Загряжскому. Встреча с последним вдруг на несколько месяцев изменила его планы.

События этих месяцев подробно изложены Гончаровым в очерке «На родине», который, так же как и воспоминания об университете, был написан им уже в пожилом возрасте. Здесь нет необходимости обильно цитировать очерк или подробно его пересказывать. Тем более что, по признанию автора, точное воспроизведение фактов не являлось в данном случае его основной целью и описанное в набросках «не столько *было,* сколько бывало».

Двадцатидвухлетний выпускник Московского университета с первой же встречи произвел на губернатора благоприятное впечатление. Загряжский (в очерке «На родине» он носит фамилию Углицкий) был по-своему незауряден: участник похода на Париж, сумевший затем выгодно показать себя перед Николаем I на Сенатской площади, изобретательный рассказчик, красавец и авантюрист, ловелас и вместе с тем блюститель хорошего тона, он, казалось, относится к тем людям, которые любую службу ощущают как изящную игру, приятную не только для себя, но и для всех подчиненных и подопечных.

Сейчас перед ним был юноша привлекательной внешности, безупречно одетый, свободно изъясняющийся на французском. Даже из краткого разговора Загряжскому было ясно, что он имеет дело с душой чистой, неиспорченной, словом, с представителем *передовой* молодежи. Загряжский моментально разыграл в уме всю партию: своего нынешнего секретаря, чиновника умного и преданного, но у которого рыльце в пушку, он официально отстраняет от должности (и вместе с тем делает его чиновником особых поручений). А этому студенту предлагает место секретаря, точнее, исполнителя приходящих бумаг; более серьезных поручений доверять ему, конечно, нельзя. Выгоды подобного нововведения налицо. Во-первых, здешнее общество получит пищу для размышлений о возможных поворотах губернской политики. Во-вторых, в доме появится представительный молодой человек, которого нужно сдружить с супругой и дочерью, чтобы он почаще развлекал их приобретениями своего ума, а первую

еще и отвлекал от унылых переживаний по поводу его, Загряжского, бесчисленных измен.

Вслух же было высказано следующее: в губернии, к сожалению, развелось порядочное число взяточников и казнокрадов, надо открыть против них решительную кампанию. Ему, губернатору, необходимы честные, высоконравственные соратники. Нужно внести в косную среду провинциального чиновничества свет истинного просвещения. Не согласится ли благородный юноша помочь ему в этом начинании? Зачем ему ехать куда-то в неизвестный Петербург, когда и здесь, на его родине… Словом, и раздумывать нечего!

Молодой человек колебался недолго. Дома, когда он сообщил о предложении губернатора, все пришли в радостное возбуждение: Трегубову польстило, что перед его крестником сразу, без труда, открывается отличная служебная перспектива; мать втайне надеялась, что теперь-то она сможет подыскать для сына подходящую невесту из местных девиц; сестры тоже воспрянули духом — как скучно было бы им одним по отъезде веселого забавника-братца; няня Аннушка — та тешилась одной лишь бескорыстной любовью: не где-то за тридевять земель, а тут, рядом, будет жить-поживать ее Иванушка — ненаглядное румянощекое нагляденье.

И вот он явился в губернскую канцелярию. Правда, кампания против мздоимцев в этот первый день начата еще не была. Отставной секретарь сдал дела секретарю вновь назначенному, познакомил его с чиновниками и архивом. В очерке «На родине» Гончаров мельком вспоминает: первой его просительницей в тот день была пожилая женщина, жаловавшаяся, что ее сыну не дают освобождения из «некрутчины», хотя он признан негодным к службе. По случайности жалоба этой женщины среди немногих других документов канцелярии за 30-е годы не погибла в пожаре, который бушевал в Симбирске летом 1864 года. Это дает возможность подробнее рассмотреть здесь, с какого рода сложностями должен был сразу же столкнуться молодой чиновник. Документ назывался: «Дело о симбирской мещанке Сергеевой, об отыскиваемой свободе из владения помещика Рушко сыном ее Давыдовым, неправильно отданным в рекруты».

Из бумаг и устных пояснений женщины выяснялась типичная картина помещичьего произвола. Этот самый Рушко несколько лет назад отправил ее сына в рабочий дом, где и держал два года, а затем отдал в рекруты, хотя, по словам матери, юноша «во всем корпусе своем всегда чувствует расслабление». Видимо, кто-то из грамотных горожан надоумил женщину, потому что в доказательство своей правоты она ссылалась на царский указ от

1828 года «О даче свободы тем дворовым людям и крестьянам, которые находились в противозаконном владении или распоряжении разночинцев».

Но войти во все обстоятельства этого дела Гончаров в тот день не успел. Вскоре его позвали наверх — к губернатору, который за завтраком имел обыкновение обмениваться новостями всякого рода, по большей части внеслужебными.

Такой распорядок и завелся у них отныне: в канцелярии секретарь проводил лишь малую долю своего времени. Основную же — у Загряжского, у его супруги, которую ему отныне поручалось сопровождать на выездах и балах, наконец, у их дочери, которой он доставал свежие журналы и книги по своему вкусу.

Выступление против чиновников-стяжателей все никак не начиналось. А между тем новичок узнавал от своих коллег и подчиненных поразительные подробности о размерах местных злоупотреблений: оказывается, буквально всякий здешний чиновник жил взятками, или, как говорилось, получал «доход». Но общественное мнение не находило в этом ничего зазорного: чиновнику-де на жалованье существовать невозможно, никак не обойтись без «дохода».

Еще поразительнее было то, что сам Загряжский — инициатор предполагаемой инквизиции, — как вылепилось из последующих разговоров с ним, поглядывает на эти «доходы» не только без гнева, но даже с улыбкой снисхождения. Правда, сам он, как все вокруг единодушно свидетельствовали, брезговал пользоваться «доходами». Да и зачем, если у него была своя, давно отработанная система: постоянное брание больших сумм в долг. Со временем секретарь услышал еще об одном невинном способе, которым пользовался Загряжский для затыкания брешей в своем бюджете. Рассказывали ему, что откупщик — первый денежный туз Симбирска — с недавних пор стал завсегдатаем на вечерах в губернаторском доме. Странная дружба объяснялась просто: Загряжский пакануне не обратил внимания на крупную финансовую проделку откупщика, и вот теперь тот, как сядет играть с губернатором в карты, так все проигрывает и проигрывает…

К зиме в город понаехало много народу: это из деревенских гнезд возвращалась в свои симбирские особняки родовитая здешняя знать. Участились взаимные визиты, балы, прочие увеселительные предприятия. А значит, и Ивану Гончарову приходилось теперь все чаще и чаще сопровождать губернаторшу и ее дочку во время выездов. Он и сам наперебой был

приглашаем то в одном, то в другом доме. Молодость брала свое. Столько милых девичьих лиц замелькало на улицах и в гостиных Симбирска! Стоило ему немного дольше обычного потанцевать или поговорить с какой-нибудь из девушек, как на несколько дней только и разговору было у него дома и на женской половине губернаторского особняка: он теперь влюблен в такую-то. Дни и недели отлетали стремительно: не успеешь вкусить рождественской сладкой кутьи, а уже несут на столы новогоднего гуся и поросенка с хреном; отдымили, затянулись льдом крещенские проруби на Волге, и тут в вывороченном тулупе, на скриплых санях вваливается в город пышущая блинным румянцем масленая.

Но вот наступила в губернаторском доме тишина. Правда, не обычная великопостная тишина, а другая совсем, кажется, в любую минуту могла она прерваться истерическим плачем.

В городе стало известно, что пришла грозная депеша из Петербурга: Загряжского смещают.

Губернатор в тот день выглядел жалким, потрясенным. Долго совещался с какими-то лицами. Гончарову, не вдаваясь в подробности, пояснил, что это «съел» его здешний жандармский полковник — завистник и интриган. Подробности, впрочем, были неплохо известны канцеляристам, да, кажется, и всему городу. В последние времена Загряжский очень уж стал злоупотреблять «по женской части». В одном из здешних домов, говорят, его сильно побил некий разгневанный супруг. Петербург был не намерен мириться с подобным принижением авторитета власти, потому так срочно и отзывают Загряжского.

«Подставной секретарь» — так сам себя в шутку именовал Гончаров — уже давно видел всю зыбкость и двусмысленность своего пребывания в канцелярии. Уже давно он понял, что никакой борьбы со взяточничеством не начнется. Более того, при нем здесь не сдвигались в лучшую сторону даже такие, казалось бы, несложные дела, как то первое, с которым он столкнулся в утро своего оформления на службу, — о вдове и ее сыне-рекруте. Да и кого в первую очередь нужно было вразумлять и просвещать: самодура-помещика? мелких чиновников, которые берут мелкие же взятки? или губернатора с откупщиком, играющих «по крупной»?

Прекрасные порывы к бескорыстному гражданскому служению, которые вдохновляли его в университете, отплывали куда-то мимо этой грешной чиновничьей юдоли, как. светлые, но бесплодные облака, не способные оросить ее очистительным ливнем.

Но, может быть, там, в Петербурге, где он окажется совсем

близок к мощным рычагам администрации, к смелому слову журналистики, может быть, там удастся разом, вдруг сделать то, на что тут, в провинции, потребуются десятилетия?

В конце апреля 1835 года он надолго простился с родиной и родней.

Начальные месяцы жизни в Петербурге — одно из наиболее расплывчатых мест в биографии Гончарова. Не сохранилась его переписка этого времени. Писатель никогда не собрался (или не захотел?) изложить свои первоначальные впечатления от Петербурга в очерке, наподобие университетских или симбирских воспоминаний. От этих месяцев уцелело всего несколько официальных документов, связанных с его именем. Один из них — прошение об определении на службу в Департамент внешней торговли Министерства финансов.

Не ирония ли судьбы?! Почему вдруг студент-словесник ступает на порог *такого* учреждения? Ведь невозможно предположить, чтобы в нем вдруг пробудились заглохшие дарования «кандидата коммерции»? Или он пришел сюда поневоле, временно, пока не подыскалось «гуманитарной» должности?

Впрочем, имеется и как будто более подходящее объяснение: в Министерство финансов молодой Гончаров поступает если и не по собственному сознательному выбору, то, по крайней мере, с пониманием необходимости такого шага. Его новая должность — переводчик, и она даст возможность применить к делу знание языков: из-за рубежа поступает большое количество статей по экономическим вопросам, и министерство заинтересовано в том, чтобы вовремя знакомить своих сотрудников с содержанием наиболее значительных из них.

Итак, в известной степени он оказался все же при *своем* деле? Но теперь на очереди другая серия вопро сов. Кто помог ему устроиться? Влиятельный, хотя и опальный, Загряжский, вместе с семьей которого Гончаров приехал в Петербург? Или крестный снабдил его письмами к каким-нибудь своим старинным столичным приятелям? Или замолвили за него словцо неизвестные нам московские покровители?

Есть еще документ этой поры. Он вводит нас в обетановку первых служебных промахов и недочетов чиновника-новичка. Правящий должность казначея экзекутор с символической фамилией Грознов (фамилия, как увидим, вполне соответствует его действиям) подал в Департамент внешней торговли бумагу, подтверждающую, что с «действительного студента Гончарова за употребленную в Департаменте по сему делу вместо гербовой

простую бумагу» взыскано шесть рублей.

Здесь не провинция, здесь нельзя зевать, оправдываться незнанием, надеяться на снисходительность начальствующих особ.

Зевать нельзя не только здесь, в учреждении, где каждый чиновник должен действовать как бодрая деталька одной громадной машины. Нельзя зевать и на улице, где ему в любую минуту могут раскрошить ногу колеса дико мчащегося экипажа. Ни в рыночном ряду, где карманник того и гляди «взыщет» с него рубли, оставшиеся после служебного штрафа.

Первые разочарования. И первые ошеломления. Этот город ни на что не похож. Симбирск и даже Москва рядом с ним — две расползшиеся, как тесто, деревни. Даже вода здесь течет не так. Москва-река стоит наподобие пруда, Волга словно убаюкивает саму себя. Стесненная темными стенами набережных Нева почти несется. Можно подумать, что где-то за пределами города находится гигантский механизм, беспрерывно толкающий воду к заливу.

А улицы? Народ валом валит по ним, как. мутные потоки в сырых и темных горных ущельях. Шелестящая пена звуков похлестывает до окон верхних этажей, над которыми наискось — рваные клочья туч.

…И еще документ этих же месяцев — клятва, обязательная для всех поступавших на государственную службу: «Я, нижеподписавшийся, объявляю, что я не принадлежу ни к каким ложам масонским, или иным тайным обществам, внутри Империи или вне ея существовать могущим, и что я и впредь принадлежать отныне не буду. Губернский секретарь Гончаров».

Предположительно эта бумага подписана им около 6 июня 1835 года, то есть через месяц по прибытии в столицу. Чин «губернский секретарь» не должен нас смущать: именно в этом чине утвержден Иван Гончаров в качестве переводчика Министерства финансов. Не должна смущать и несколько мрачная торжественность клятвы, даваемой молодым чиновником. Всего девять лет миновало с тех пор, как в полуверсте от здания Генерального штаба, в котором находится его департамент, стояли колонны мятежных полков. И всего четыре года назад бушевала революция во Франции и полыхал мятеж в Польше.

…Он не высыпается толком в эти первые месяцы жизни в Петербурге. Нужно привыкнуть к светлым ночам. Нужно особенно много работать сейчас, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны, — работать и после службы, на квартире. Нужно научиться засыпать и просыпаться под крики дворников и

извозчиков, мастеровых и торговок.

Никогда он еще не жил так быстро.

Он быстро и помногу ходит. Быстро заполняет страницы фразами переводов. Быстро озирается, переходя улицу. И все в этом городе совершается быстрее, чем за его пределами. Здесь и часы, и целые дни летят быстрее. Даже литургия в здешних храмах кажется короче.

Единственное, что он может здесь делать медленно, — это нить горьковатый напиток одиночества. Одиночества и свободы от еще не заведенных знакомств.

Впрочем, и эта пора быстро прервется.

У МАЙКОВЫХ

Существует предположение, что с Майковыми Гончарова познакомила Юнинька Гусятникова. Та самая Юния, Юнечка, Юнинька, в которую он как будто еще в Москве был слегка влюблен в студенческие свои времена. Юнинька приходилась племянницей Евгении Петровне Майковой, в девичестве тоже Гусятниковой.

Николай Аполлонович Майков, жених, а затем и счастливый супруг семнадцатилетней Евгении Петровны, как ни был родовит[1], а все же щедрое невестино приданое (от отца-золотопромышленника) очень и очень его поддержало. Сам он был сыном директора императорских театров, поэта и комедиографа, и вырос в среде художественно-артистической. Юношей Николай Майков сражался на Бородинском поле, потом с победоносной армией союзников дошел до Парижа.

Будучи уже в майорском звании, Майков подал в отставку — ему захотелось посвятить себя живописи. С годами в облике Николая Аполлоновича стали преобладать черты, которые непременно налагает на всякого человека принадлежность к цеху художников. Густая грива до плеч, вольного покроя рубашка, небрежно повязанный галстук, особая цепкая острота во взгляде. Если и осталось в нем еще что-то воинское, офицерское, то лишь в твердом подбородке, в глубокой морщине над переносьем. Впрочем, внешность обманчива. Николай Аполлонович в душе был мягок, доверчив, с неизмеримо большим даром голубиной кротости, нежели змеиной мудрости. Да и картины писал — не какие-нибудь батальные сцены, а все портреты — ближних своих и знакомых, а то и вообще вымышленных лиц. Работал акварелью и маслом, карандашом и пастелью. В качестве образца почитал вещи старых венецианцев. Но неожиданно успех и известность ему принесли не портреты, а выполненные на заказ иконы — сначала запрестольный образ для Троицкого Измайловского собора (за этот образ вдруг удостоили его звания академика живописи), а потом один из иконостасов Исаакиевского собора. Знатоки говорили, что в иконах майковских многовато чувствительности, едва ли не сентиментальности, но, впрочем, это и модно было тогда — так представлять себе святость. А в остальном — по-своему искреннее, не лишенное внутренней теплоты искусство.

У Майковых подрастало трое сыновей. Первенцу, Аполлону, было теперь уже четырнадцать. Всего на два года младше его Валериан, материн любимец, так похожий на Евгению Петровну

утонченными чертами лица. Подрастал и самый юный из братцев — Володя. А через четыре года прибавится и еще один — Лёнюшка.

Таким вот увидел и узнал это семейство Иван Гончаров в первое свое петербургское лето 1835 года. Всего год как Майковы оставили Москву и переселились в столицу. Всего год как и юноша Гончаров разлучился с университетскими комнатами на Моховой, напротив Кремля. И они и он еще жили памятью о старой, приветливой первопрестольной. Тем легче, непринужденней было им здесь, на Севере, познакомиться, а затем и сдружиться.

Детки с гораздо большим вниманием слушают уроки, когда обучает их уму-разуму человек сторонний, непримелькавшийся, свежий.

Учителем и попал в дом на Садовой молодой Гончаров. Кроме Юниньки, наверняка замолвил за него слово перед Майковыми и Владимир Андреевич Солоницын, под руководительством коего Гончаров начал в Петербурге свое служебное поприще в Департаменте внешней торговли. Завсегдатай майковского дома, Солоницын стал первым наставником мальчишек. Он вел занятия по точным дисциплинам и набрасывал перед учениками картину их будущей образцовой деятельности в том же самом Департаменте внешней торговли. Государству нужны люди практической хватки, чтоб не провел их никакой заезжий финансист либо негоциант.

Гончарову досталось преподавать отечественную словесность, эстетику и латинский язык. Ребята новому педагогу понравились. Живые, говорливые, с пастельным румянцем на милых личиках, будто вывозили щеки в отцовой мастерской, с такими держи ухо востро! Дай только волю — засыплют ворохом вопросов, лишь бы только сбить строгую последовательность очередного занятия. И вот вместо утомительного урока — летучая беседа с прихотливыми отвлечениями то в дебри истории, то в сокровищницы искусств…

В Аполлоне больше чувствуется жар непосредственности, отцовское тяготение к пластическим образам: грезит стихами, образами далеких стран и эпох, в ученическом столике его — клочки каких-то прозаических зачинаний, вороха акварельных набросков.

Валериан более собран, сосредоточен, предпочтение отдает естественным наукам, хотя и литература его по-своему волнует, трогает глубоко. Так ли уж подойдут эти ребята для солоницынского департамента?

Прошло всего несколько недель занятий, и Гончаров стал в

этом доме как свой. Его начали приглашать и во внеурочное время. Когда может.

Несмотря на постоянные, ежеденные труды Николая Аполлоновича в мастерской, несмотря на немалую занятость Евгении Петровны хозяйственными и родительскими хлопотами, Майковы почти сразу зажили в Петербурге широко, с гостеприимством московского пошиба. Более того, они всерьез решили завести у себя художественный салон.

Но это лишь сказать легко: заведем-ка у себя салон. Для такого предприятия нужны не только деньги немалые, не только просторная квартира. Перво-наперво нужна какая-то идея, то, что называется щепотка соли. Петербург был известен и чисто аристократическими, великосветскими собраниями, которые посещали лишь люди с громкими именами и отменных репутаций. С другой стороны, немало насчитывалось в городе компаний и разудалых, где главный упор ставился не столько на литературный или художественный интерес, сколько на разгул весьма скандального пошиба.

Майковы постарались избежать крайностей: не засушить свое собрание высокомерием и сословной брезгливостью, но и тут же уследить, чтобы дом их не превратился в вертеп для всяких бонвиванов и болтунишек. Наконец, поскольку новый салон даже в таком громадном городе сразу же оказывался на виду у лиц, покровительствующих внутреннему спокойствию, надо было и тут не сделать оплошности — не подвести ни себя, ни своих гостей.

Что же, Майковы со всеми этими условиями справились непринужденно, без всякой внешней натуги. Естественно, «солью» салона, его, так сказать, алтарем суждено было стать мастерской Николая Аполлоновича. Уже сама эта зала, просторная, залитая мягким светом, была своего рода произведением искусства, и ею можно было любоваться как картиной. Холстинные шторы, собранные в мощные складки. Античные торсы, слепки ладоней и ступней, гипсовые головы древних мыслителей: вот Сократ, вот Архимед, а это, кажется, Сенека. Старинные пустые рамы. Прислоненные к стенам и шкафам рулоны александрийской бумаги. Копии со знаменитых полотен. Работы самого хозяина, небрежно приваленные одна к другой. Свежий подмалевок на мольберте. Картина еще слезится не успевшими загустеть мазками. От холста и палитры источается сильный и острый, волнующий запах. А в центре этой прихотливо, почти хаотически разметанной груды вещей, предметов, незавершенных шедевров (которые, возможно, так никогда и не поддадутся завершению), в самом центре этого рукотворного, продуманного до деталей

живописного мира стоит он, художник, творец изящного, собеседник муз, пожизненный пленник красоты.

Впрочем, за пределами мастерской начиналось иное царство — Евгении Петровны. Нет, не одни хозяйственные заботы занимали ее в дни собраний. Не одни кухонные художества требовали ее вдохновения. Мало того, что хозяйка дома постоянно была в курсе главных литературных и художественных событий столицы. Она и сама писала, отдавая временное предпочтение то стихам, то прозе.

Первый призыв салона составили родственники и друзья семьи. Среди них — младший брат Николая Аполлоновича Константин, их свояк, журналист и основатель «Отечественных записок» П. П. Свиньин, поэт Иван Бороздна, молодой литератор Андрей Заболоцкий-Десятовский, супруги Михаил и Екатерина Языковы. Они, в свою очередь, ввели в салон своих приятелей и знакомых. Так появился у Майковых племянник Солоницына, тоже Владимир, и его, чтобы не путать с дядюшкой, быстро прозвали Соликом. Вскоре завсегдатаем салона сделался модный, особенно среди столичных ценительниц поэзии, стихотворец Владимир Бенедиктов. За ним — юный провинциал, потешавший всех сначала своими угловатыми манерами, Семен Дудышкин… Пройдут годы, и майковский салон станет одним из самых заметных и представительных в литературном мире северной столицы. Сюда будут наведываться молодые Федор Достоевский и Николай Некрасов, Иван Тургенев и Яков Полонский, Иван Панаев и Дмитрий Григорович…

Но сейчас было только самое начало. Одним из главных законодателей литературного вкуса суждено было стать в салопе Ивану Гончарову. Его начитанность, талант рассказчика делали домашнего педагога лицом здесь незаменимым.

Он приходил на Садовую едва ли не чаще других, во всякое время года, при любой погоде: из своей унылой холостяцкой берлоги выбредал на Невский, затем, перейдя мост через Фонтанку, сворачивал на набережную и шел по ней до самого Юсупова сада и потом еще садом, пока из-за деревьев не выступал перед ним массивный утюгообразный угловой дом, и над третьим от угла подъездом уже светил ему приветливо ряд окон на втором этаже. Светил и скрашивал светом своим насупленные петербургские сумерки.

К Майковым! К Майковым!..

Но чтобы салон зажил полнокровной жизнью, мало, оказывается, мастерской хозяина дома, мало традиционных полуночных застолий, чтения литературных новинок. Что может

быть недолговечнее чтения вслух? Нет, салопу необходима еще и собственная письменность.

Проще всего, конечно, было бы завести альбом. Но альбомы для стихотворных экспромтов и карикатур объявились теперь едва ли не в любом доме. Альбом стал прямо-таки символом пошлости, почти каждая девица носит его под мышкой. Словом, ну его, альбом! Тут нужно что-то основательное, солидное. Да-да, необходим журнал! Пусть не ежемесячный. Пусть он выходит шесть раз, четыре раза в год. Но это должен быть настоящий толстый журнал: с повестями и рассказами, со стихами и очерками, с переводами и отделом смеси, наконец, с иллюстрациями.

И название уже готово — «Подснежник». Не какая-нибудь надменная «Утренняя звезда», не какая-то расфуфыренная «Мнемозина», не высокомерный «Телескоп». «Подснежник» — это что-то чистое, наивно-доверчивое, только что пробивающееся к солнцу, первая проба сил.

Львиная доля трудов в новом предприятии досталась Николаю Аполлоновичу. Взяв на себя обязанности художника-оформителя, он теперь вынужден был на целые дни отрываться от живописи. Легко литературной братии — завалили его ворохами всевозможных сочинений и уже для второго тома пишут. А ему корпеть над сброшюрованными листами, заполняя их chef d'oeuvre-ами плодовитых доморощенных журналистов и версификаторов.

Зато и дивно же выглядел первый нумер. Заглавия выполнены книжными шрифтами, да и тексты будто набраны в настоящей типографии. И даже сноски — крохотный, микроскопический курсив просто чудо каллиграфии! Прозаические вещи проиллюстрированы чернильными рисунками. Кроме того, в журнал вшиты большие, в размер страницы, рисунки с головами античных или библейских старцев, а также с девичьими головками. Впрочем, титульный лист с названием журнала доверено было исполнить Аполлону.

Пока счастливчики, сгрудившись на диване, то ахают, то взвизгивают, листая свое изделие, то шепчут, то погружаются в глубокомысленное молчание, то вдруг все разражаются хохотом, остальные в нетерпении прохаживаются по зале, завистливо поглядывают на читающих: ну, скоро вы? дайте же и другим посмотреть, этак, право, нечестно!..

Подобного журнала в Петербурге еще не было. Да что в Петербурге! В целой России, а то, пожалуй, так и в Европе.

Поистине тут объято необъятное: беллетристика и политика, история и моды, философия и этимология, прогнозы на будущее

и стародавние анекдоты, сочинения отечественные и переводные.

И пошли «Подснежники» проклевываться один за другим. Чего лишь не было в них! «Несколько мыслей об изящном искусстве» соседствовали тут с фантастическим рассказом «Дамы крысиного рода», «Письма и дневник мнимого преступника» — с «Мнениями буддистов о том, как кончится мир», сказка «Каменный суп» — с «Рассказом Евы», драматические «Сцены бальной атмосферы» — со статьей о климате Европы, и т. д. и т. п. Под рубрикой «Смесь» объяснялось значение слова «абракадабра», подсчитывалась сила всех до единой, паровых машин Англии, вычерчивалось родословное древо Наполеона, множество занятной абракадабры и веселой чепухи было и на иных страницах.

Этот легкомысленно-свободомысленный тон придавала «Подснежнику» резвая молодежь. Особенно бурно сочинительствовали Аполлон с Валерианой. Впрочем, почти не отставала от них в продуктивности и радикализме Евгения Петровна. Солик пописывал в основном басни.

Из номера в номер редакция задавала своим читателям острые вопросы, иногда с привкусом ребячливого афеизма, как, например, такой: «О чем Адам и Ева разговаривали при первом свидании?» А однажды опубликовали вопрос, в котором даже проглядывала тенденция к эмансипации женщин. «Кто, когда, по какому случаю и зачем установил такой обычай, что мужчины волочатся за женщинами, а не женщины за мужчинами?»

Но, впрочем, этот вопрос был пределом допустимой в журнале прогрессивности. В основном здесь преобладали темы возвышенные, сюжеты нравоисцеляющие. Евгения Петровна, к примеру, в своих «Деревенских дневниках» с восторгом живописала красоты девственной природы, которую не омрачает угарное дыхание городских улиц. В ее панегириках сельскому раздолью угадывалась вдумчивая ученица Руссо. Она же выступала в журнале как поэтесса и композитор. «Забудь, пришлец земли, святую душу девы…» — так начинался «Романс» Евгении Петровны. Кто таков этот таинственный «пришлец земли» и чью именно «святую душу» рекомендуется ему забыть, об этом вряд ли кто из читателей мог составить ясное понятие. Наиболее трезвые из них догадывались, что автор вовсе никого и не подразумевает и что вся изложенная тут сердечная драма — не более как поэтический туман. Но произнесть догадку вслух значило бы грубо поранить деликатную натуру сочинительницы.

Чаще, чем романсы, звучали со страниц журнала бравурные музыкальные пиесы: то «Мазурка», то «Мазурка Варварская», а то даже «Мазурка Дьявольская». Впрочем, под угрожающими

названиями могли скрываться безобидные шутки, розыгрыши. Так, стихотворение, мрачно озаглавленное «За день до скончания мира», заключало в себе, если прочесть начальные буквы строк, чье-то невинное признание: «Я люблю Машу».

Энергия молодежи направлялась опытным водительством обоих домашних педагогов — Солоницына и Гончарова. Они выступали иногда в журнале и как авторы. И хотя участие это окутывалось тайной, она была весьма прозрачной. Неужели трудно было догадаться, кто, к примеру, скрывается под инициалом «Г», которым помечены в пятом номере «Подснежника» за 1836 год несколько лирических стихотворений? В одном из них, названном «Отрывок из письма к другу», автор горько сетовал на любовное невезение:

Не утешай меня, мой друг!
Не унимай моей печали!
Ты сам изведал свой недуг
В тот час, когда ее венчали.

Вздохом сожаления об утрате начинался и «Романс», подписанный тем же инициалом «Г».

Весны пора прекрасная минула,
Исчез навек волшебный миг любви —

Конечно, рядом с рифмованной болтовней мальчишек, рядом с туманными воздыханиями Евгении Петровны этп строки Гончарова выглядели вполне благополучно. Но он-то сам прекрасно ведь понимал, что все это слабо, пусто, подражательно. И куда только делось томление духа, которое еще не так давно побуждало его выдумывать подобную чушь! А подумать только, как воспламеняли его тогда собственные стихи! Не он ли грезил в темном жару вдохновения, что его строки и сам Пушкин похвалил бы, попадись они ему чудом на глаза? А теперь? Разве посмел бы отнести их в пушкинский «Современник»? Нет, только для «Подснежника» и годятся они, да и то под литерой «Г».

Это было еще в Москве. Однажды он зашел к обедне в собор Никитского монастыря. Еще с детских лет он был научен, что во время службы нельзя давать воли своим мыслям. Пусть они будут целиком заняты молитвой и тем, что произносится с амвона, из алтаря или звучит с клиросов. Нужно, чтобы умишко не шалил, чтобы внимание не рассеивалось, не соскальзывало на постороннее, внешнее. А иначе и стоять тут незачем. Лучше тогда

пойди побегай, побей баклуши, и то греха будет меньше.

Но сегодня грешил он вовсю. Глазами то и дело косит в сторону, и шею-то вытягивает, и на цыпочки-то привстает, ай-ай-ай… Все пространство храма как в тумане, и лишь один силуэт виден ему до того отчетливо, будто тушью прорисован. Иван Гончаров буквально впивается глазами в этот небольшой мужской затылок с загривком кудрявых волос, уже чуть редеющих на темени, в этот изредка открывающийся острый профиль с не по-русски хрящеватым вскрылием маленькой ноздри.

Вот как распрыгался у студентика по-над самым сердцем бесенок любопытства. Почти два часа не отрывал глаз от этого некрупного затылка с невнятным просветом на темени, и лишь под конец, после отпуста, замешкался и увидел на миг совсем близко от себя все его лицо — усталое, почти хмурое: оливково-бледная кожа, сжатые губы, чуть выпуклые глаза под набрякшими веками. Пушкин.

С того времени он начал читать Пушкина всего подряд. Что смог, купил, а что достал у дружков. Ни о ком, кроме Пушкина, он не думал. Пушкин заслонил все, всех. Пока существует Пушкин, заповедь «не сотвори себе кумира» — пустой звук. Пушкин открывал ему, что такое грусть, восторг, сострадание, гнев, полнота счастья, корчи ревности, вдохновенный пыл. Пушкин учил понимать искусство как священнодействие. Пушкин восславил женскую красоту, но ему же доступно и молитвенное озарение. Пушкинские строки проливают в душу невыразимую сладость, но они же жгут сердце раскаленным глаголом…

Однажды во время лекции по истории русской литературы — ее в своей утомительно-красноречивой манере читал им профессор Давыдов — дверь аудитории распахнулась, и легкое «ах!» прошелестело по рядам: у входа стоял министр просвещения Уваров, а рядом с ним… «Точно солнце озарило всю аудиторию…», — будет он потом рассказывать майковским мальчишкам, будет вспоминать до преклонных лет.

Рядом с министром молоденький филолог увидел *своего* — и теперь уже *навсегда своего* — Пушкина! «Точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий…»

Между тем Уваров представил студентам гостя.

— Вот вам теория искусства, — эффектно указал он на примолкшего Давыдова. И — после паузы — обернувшись к Пушкину: — А вот и самое искусство!

Давыдов торопливо скомкал конец лекции — он читал разбор

«Слова о полку Игореве» — и стал сгребать с кафедры свои пособия. Впрочем, уйти ему не удалось. По направлению к кафедре стремительно двигался еще один представитель «теории искусства». Это был профессор Каченовский, который, дожидаясь своей лекции, сидел в аудитории. Студенты замерли: яростный спорщик Каченовский настолько возбужден, что не замечает ни министра, ни поэта.

Не успел Давыдов прибрать с кафедры бумаги, как его враг ринулся в атаку. Не рано ли восхищаться красотами «Слова», когда еще не доказана подлинность этого памятника?..

Пушкин как будто нарочно пришел именно сейчас. Не ослышался ли он? Неужели господин Каченовский всерьез считает поэму всего-навсего хитроумной подделкой?..

— Подойдите ближе, господа, — обратился Уваров к студентам, — это для вас интересно.

Молодые люди сгрудились вокруг гостей и профессоров. Гончаров оказался буквально в пяти метрах от Пушкина. Ближе протиснуться было невозможно. Слушали затаив дыхание. Каченовский выступал раздраженно, как будто в факте древности «Слова» была для него личная обида. Круглые очки на его воспаленном лице холодно поблескивали. Пушкин держался аристократически-учтиво, говорил сдержанным, чуть глуховатым голосом, но чувствовалось, что эта сдержанность дается ему усилием воли.

О как любил его в эти минуты юный Гончаров! Как желал, чтобы поэт победил, переспорил спесивого Каченовского! И еще желал: пусть Пушкин глянет на него, хоть мельком. Ну и что ж, что он, Ванечка Гончаров, но вышел ростом, что нет на лице его ничего мужественного, что пи одна крепкая морщина не бороздит лба. Пушкин даже и по такому расплывчатому, кругловато-неопределенному лицу все прочитает и поймет…

Это было как в сновидении: и рядом, и ускользающе-недостижимо, несвязуемо.

И еще раз он увидел Пушкина. Совсем недавно. Уже здесь, в Петербурге.

По дороге из департамента домой он в первый год своей столичной жизни чуть не каждый день заглядывал в книжные лавки. Это был зуд негасимый — прицениться, полистать, подержать в руках подольше, но в итоге так ничего и не купить из того, что особенно хочется. Л починка сапог? А плата за комнату?.. Обычное запойное увлечение литературного юноши, на которого один лишь вид коричневых корешков с тиснением и позолотой действует как вино. Магазин он покидает с тоскливым вздохом чужака, обделенного на пиру. Но назавтра все равно

придет сюда снова.

И вот на Невском, в лавке Смирдина, когда молодой чиновник разглядывал знакомые обложки, рядом с ним раздался волнующе знакомый голос, негромкий, глуховато-сдавленный. Гончаров оглянулся и вспыхнул. Он стоял в двух шагах и разговаривал с хозяином лавки.

У поэта было усталое, матово-бледное лицо. Петербургское небо кладет свой болезненный отсвет даже на чело гения. Разговор шел о чем-то серьезном, деловом, и Пушкин говорил сдержанно, почти бесстрастно, но не надменно.

Если бы знать все наперед. Тогда бы он, конечно, дождался конца их разговора, потом сделал два-три шага и произнес всего несколько слов. Нет, он не стал бы надоедать Пушкину со своими стихами. Он сказал бы самое главное — всего в нескольких словах. Если бы ему побольше смелости. И если бы он знал все наперед.

Всему свое время. Вон уже и Володечка Майков допущен в «Подснежник» в качестве поэта. Нет, нет, хватит с нас ямбов и хореев. Ямбом этим, как верно замечает Александр Сергеевич, «пишет всякой, мальчикам в угоду пора б его оставить…». И, как замечает он же, «лета к суровой прозе клонят…». А то как бы не вышло такого конфуза, как недавно с Бенедиктовым. Уж до чего, казалось бы, мастеровит, едва ли не классик, и вдруг на всю читающую Россию распушил и осмеял его в московском «Телескопе» какой-то Белинский. Маленький, робкий Бенедиктов теперь еще больше будет тушеваться и робеть в обществе. Но если говорить, напрямую, то — ей-ей! — поделом ему досталось…

«Лета к суровой прозе клонят…» Для двенадцатого номера «Подснежника» написал Гончаров маленькую повесть «домашнего», как сам он потом говорил, свойства. Ничего сурового, однако, в этой прозе не было. Совсем наоборот, когда собрались в гостиной на ее прослушивание, когда зачитал он несколько первых предложений, поднялось оживление, смех, галдеж, и не обрывался этот ободряющий шум уже до самого конца чтения. Речь в повести шла о некоем семействе Зуровых, в котором Майковы тут же угадали самих себя.

Перво-наперво был опознан, конечно, «большой круглый стол, перед которым на турецком диване сиживала Мария Александровна (то есть Евгения Петровна), добрая хозяйка дома, и разливала чай». Моментально был узнан и Алексей Петрович (читай — Николай Аполлонович), который «ходил обыкновенно с сигарой и чашкой холодного чая вдоль по комнате, по временам останавливался, вмешивался в разговор и опять ходил».

Фигурировали тут и проказливые детки. Присутствовал и старинный друг семейства Вареницын (разумеется, Солоницын).

«Помню, наконец, — сообщал автор, — свое место подле племянницы Зуровых, чувствительной задумчивой Феклы (да это же Юничка!), с которой я любил беседовать тишком о разных предметах, например, о том, долго ли могут проноситься чулки после штопанья, или сколько аршин холста потребовалось мне на рубашки и пр., на что она всегда давала ясные и удовлетворительные ответы».

Уже из этих добродушных характеристик явствовало, что повесть должна быть насыщена самыми неожиданными и веселыми событиями. Чего стоил хотя бы портрет еще одного действующего лица — обжоры, добряка и лежебоки Никодима Тяжеленко: «У него величественно холмилось и процветало нарочито большое брюхо: вообще все тело падало складками, как у носорога, и образовывало род какой-то натуральной одежды». Похоже, от такого сравнения не отказался бы и сам Николай Васильевич Гоголь.

Замечателен был и натюрморт обеда, вкушаемого Тяжеленной: «Часть ростбифа едва умещалась на тарелке, края подноса были унизаны яйцами, далее чашка, или, по-моему, чаша шоколада дымилась как пароход».

В шутливо-патетических тонах описывал автор приход весны. «В природе поднялся обычный шум: те, который умирали или спали, воскресали и просыпались, все засуетилось, запело, запрыгало, заворчало, заквакало — на небеси горе и на земли низу — и в водах, и под землею».

Весна производит дикий переворот в семействе Зуровых. Все они— и взрослые и дети — начинают судорожно позевывать, прихихикивать, в глазах появляется странный блеск, сумасшедшинка. Тяжеленко называет это их состояние «лихой болестью», которая состоит в чудовищно развитой страсти ко всевозможным загородным прогулкам и путешествиям. Едва дотерпев до апреля, Зуровы «пускаются вброд по ручьям, вязнут в болотах, пробираются между колючими кустарниками, карабкаются на высочайшие деревья, сколько раз тонули, свергались в пропасти, вязли в тине, коченели от холода». Исступленные любители рыбалки, отец и сыновья готовы ради трех ершиков целый день мокнуть под дождем и ни одной лужи не обойдут, чтобы не забросить в нее удочку. А хрупкая и болезненная мать доводит себя прогулками и экзальтированным обожанием природных красот до такого изможденья, что потом подолгу лежит в постели в полуобморочном состоянии. Путешественники сплошь да рядом попадают впросак, принимая

обычные овраги за величественные пропасти, а свалки городского мусора — за горные кряжи. Воспитанные в романтическом духе, они без устали фантазируют и то и дело больно ушибаются о невзрачную действительность.

Но, несмотря ни на что, Зуровы изобретают все новые и новые маршруты прогулок. «Лихая болесть» наконец разыгрывается у них до такой степени, что однажды семейство навсегда исчезает из Петербурга. Его следы обнаруживаются в… Америке, но и там, всего несколько лет проживя оседло, Зуровы однажды «пустились в горы, откуда более не возвращались».

Незлобивую эту сатиру на самих себя Майковы приняли с восторгом. Автор «Лихой болести» не просто потешил слушателей. Первый прозаический опыт его — лучшее из беллетристических сочинений «Подснежника». Ему нужно писать еще и еще. Это его стезя, его планида. Он не просто самая яркая литературная звезда салона. Он, без преувеличения можно сказать, надежда отечественной письменности. Да, да, нечего отмахиваться! Пусть только попробует он теперь не писать прозу, Тяжеленно этакий!..

Сколько таких вот блаженных вечеров пронеслось незаметно в доме на Садовой улице! Сколько туч провлачилось тем временем над крышами города, дождевых и снежных, однообразно угрюмых. Да и иных всяческих туч… Спасибо славным Майковым! В их уютном жилище, где гостю никогда не было зябко и голодно, где никто его ни к чему не принуждал: хочешь — сиди с дамами за чайным столом, хочешь — пойди в мастерскую или в любую иную из просторных, с высокими потолками комнат, где молодежь поет куплеты либо степенные гости обсуждают внутри- и внешнеполитические события, хочешь — влюбляйся, а хочешь — уединись и дремли, полулежа на диване в каком-нибудь из темных закутков, — словом, как хочешь, так и поступай, только не хмурься, не грусти, не хандри, — в этом их доме он переждет непогоду первых своих самостоятельных лет вдали от материнского крова. В этом доме будут бескорыстно радоваться его будущим писательским успехам, его продвижению по службе. Здесь будут искренне переживать по поводу его сердечных невезений. С волнением ожидать его писем, помеченных штемпелями почтовых агентств южного полушарии.

Суматошные, шумные, разнообразно и взахлеб даровитые, нежные и трогательные, открытые и неизменно постоянные в своем чувстве к нему Майковы, до свидания, до встречи, до завтра, до послезавтра, до новой радости!…

Если бы знать все наперед…

«И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет… Это было в департаменте. Я вышел в коридор и горько-горько, не владея собой, отвернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал… Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины… Нет, это неверно — о смерти матери. Да! Матери!»

Так и не подошел он к живому Пушкину. Хватало ему и того, что знал всем своим существом: он где-то рядом, вблизи. И делалось легче. Незримым присутствием Пушкина был напитан воздух в доме Майковых. Весь этот город был как бы навеян его стихами: и мощные набережные, и гранитный столп посредине Дворцовой площади, и шумы лип в Летнем саду, и — в разрыве туч — холодный закатный свет над серой пустыней залива.

И вот теперь, когда *его* не стало, все это, навеянное его стихами, тоже должно бы исчезнуть. А оно не исчезает, стоит в какой-то нерешительности: существовать дальше или нет?.. Столп. Здания. Колонны. Мосты. Шпили… Странно.

От заснеженной Дворцовой площади виден каменный изгиб Мойки. Там, в тесном пространстве между решеткою набережной и стенами домов, безмолвная, шевелится темная толпа. Медленно движутся к *его* дому. Тщедушный свет январских сумерек на глазах отлетает, как будто закрывают дверь, и осталась только узкая щель, и в нее дует.

СОМНЕНИЯ

Чем дольше находился Иван Гончаров в Петербурге, тем отчетливей видел: жизнь складывается совсем не так, как ему в свое время мечталось. Служба была ему скучна, как и всякая служба, которая не занимает всех помыслов, чувств и вожделений. Есть артисты службы, для них она подобие творческой игры. Им и карты в руки. Есть гении-чиновники, и слава богу, что они есть, потому что без них, пожалуй, моментально бы замерла деятельность всех отсеков государственного корабля. Есть поэты бюрократии, их имена обычно неизвестны широкой публике, она даже привыкла их поругивать, хотя и живет изо дня в день по сюжетам, разработанным ими.

Словом, он не был из тех, кто всякое государственное учреждение считал фабрикой ненужных циркуляров. Если страна, тем более такая большая страна, не хочет назавтра превратиться в неуправляемое и беспомощное пространство, ей нужны чиновники, маленькие и большие, но обязательно толковые, любящие свое дело.

Но сам себя он толковым чиновником считать не мог — именно потому, что дела этого не любил. Переводить на русский язык прозу немцев или французов было ему куда приятней, чем статьи немецких, французских и английских экономистов, пусть даже и чрезвычайно умные статьи.

Как прикажете совмещать службу и страсть к писательству? Мрачный мэтр немецкого романтизма Эрнст Теодор Амадей Гофман, почти всю жизнь тянувший ненавистную лямку чиновника, нашел выход в крайнем литературном отщепенстве, в богемно-мистическом разгуле. Пример заразительный! Сколько потом юнцов полетело по следам Гофмана: если ты гений, будь вызывающе одинок, противопоставь себя безликой толпе, целому обществу, всему своему веку, смело преступай общепринятые нормы, пей до белой горячки, подружись с темными ангелами безумства, сделайся сам себе богом!…

Гончарова такой путь не прельстил. Ни в молодые годы, ни позже он не впал в грех художнического высокомерия. Похоже, у него были врожденный талант гармонической уравновешенности, чувство меры и такта по отношению к прозаически-заурядным людским занятиям, какими бы «низкими» ни казались они сравнительно со «священнодействием» художника.

И все же службу свою он не любил. Она не могла насытить его полностью и мешала полностью насытиться писательством.

Не насыщала она и в материальном смысле. Жизнь в столице оказалась куда дороже, чем он мог предполагать. При поступлении в Департамент внешней торговли ему назначили годовое жалованье всего-навсего в 514 рублей 60 копеек, итого в месяц выходило менее пятидесяти рублей. На регулярную помощь из дому рассчитывать не приходилось — большой симбирский дом существовал теперь в основном на доходы от двух трегубовских деревень. Кое-какой приработок давали Гончарову уроки. На частые гонорары надежд не было. Мы не знаем даже, предлагал ли он в эти годы что-нибудь из написанного петербургским журналам. Скорее всего на такой вопрос следует ответить отрицательно. Судя по тому, что первый большой очерк Гончарова «Иван Савич Поджабрин», написанный в 1842 году, отдан автором в печать лишь спустя шесть лет, начинающий прозаик еще очень нерешителен и работает преимущественно «в стол». А многое, видно, и «в стол» не попадает: «Кипами исписанной бумаги я топил потом печки».

Бумагой, однако, много ли натопишь? Заботы о дровах на долгие месяцы питерских непогод также обременяли его бюджет. Но более всего денег у молодого человека уходило на одежду. Быть вхожим в приличные дома, служить в министерстве — это требовало первоочередного внимания к собственному туалету. Лучше недоедать каждый день, чем появиться хоть раз в департаменте или в чьей-либо гостиной с лоснящимися локтями и в насквозь сырых, расквашенных сапогах. Но даже экономия в еде не помогала, когда заходила речь о приобретении новой теплой шинели. Тут уж надо искать портного посговорчивей, чтобы принял заказ в долг.

В сентябре 1840 года, то есть пять лет спустя после поступления в Министерство финансов, Гончаров был «за отличную усердную службу» пожалован в титулярные советники. С такой скоростью продвижения по лестнице чинов ни на какую «карьеру» рассчитывать не приходилось. Ведь одно из главных значений слова «карьера», как он знал, именно и есть скорость.

Разговоры о карьере были излюбленной темой в кругу его сослуживцев. Французское это словцо, взятое из лексикона скаковых состязаний, произносилось тут с самыми различным интонациями — от шутливо-небрежных до откровенно завистливых или восторженных. В иных устах оно звучало на совсем уж циничный лад: вырваться вперед, обскакать соперников на всем ходу, посмеяться над тем, кто отстал и исчез в тучах взбитой пыли… Более умные произносили это слово иронически и всегда о ком-то третьем: *«он* делает карьеру». Но нетрудно было догадаться, что и их гложет та же забота. А где же понятия о

бескорыстном служении добру? Или все эти высокие слова — пища для одиноких, нелепых в своей обманутости донкихотов?.. Как горько, однако, осознавать беззащитность юношеских надежд… Еще и поэтому не любил он свою службу.

Но куда, спрашивается, деться от нее? Майковы считают, что он безусловный талант. Каждое новое его выступление в рукописных альманахах встречается неизменными похвалами. Но долго ли может утешить молодого человека эта комнатная слава? Да, кстати, и в «молодых людях» он уже изрядно пересидел. В тот самый год, как ему исполнилось тридцать лет, Майковы справили торжество: у Аполлона вышел из печати первый сборник стихотворений. Книжка получила вскоре благосклонный отзыв самого Белинского. Почти тут же похвалили молодого поэта Сенковский в своей «Библиотеке для чтения» и Плетнев (друг покойного Пушкина) в «Современнике». Отозвался и «Сын Отечества»: «Не все его пиесы равного достоинства, но многие из них… напомнили нам Батюшкова».

Нет, Гончаров не завидовал своему способному ученику и от души порадовался его успеху. Но все же книжка Аполлона была ему как бы укором: что ж ты-то медлишь?..

Ленив, от природы ленив, — иногда оправдывался он сам перед собой или перед друзьями. Именно в эти годы и закрепилось за ним в салоне шуточное прозвище «принц де Лень» или просто «де Лень». Приняв его без возражения, он и сам с этих пор подписывал иные свои письма: «Гончаров, иначе принц де Лень».

Но, конечно, и лень не могла быть достаточной причиной для самооправданий. Тем более что уж кто-кто, а он-то умеет быть работоспособным, усидчивым, деятельным.

Нет, ни занятость по службе, ни ограниченность средств, ни какое иное из житейских обстоятельств не томили его в такой степени, как неуверенность в своих литературных возможностях. Что-то слишком затянулся его художнический дебют. Шутка ли, десять лет минуло, как его писательская проба появилась в «Телескопе», а он по-прежнему состоит в начинающих! И по-прежнему упражняется в переводах из западных знаменитостей.

Честно говоря, на переводы отчасти смахивали и его собственные опыты в прозе. Перечитывая их, он то и дело ловил себя на подражании уже известным, законодательным образцам. Тяжеленно из «Лихой болести» был словно списан с какого-нибудь гоголевского персонажа. Да и Иван Савич Поджабрин из одноименного очерка, как приглядишься к нему поближе, был — вместе со своим слугой Авдеем — слабым оттиском с гоголевских Хлестакова и Осипа: та же легкомысленность, хвастливость,

слабость к женскому полу у одного и дремучая лакейская лень у другого.

Вообще Гоголь с его манерой письма, с характером его юмора, с его рельефнейшими типажами, был для молодого Гончарова каким-то наваждением, под чары которого он то и дело невольно подпадал. Ладно, если бы речь шла только о подражательстве. От последнего, в конце концов, не так уж сложно избавиться. Дело было в куда более существенном обстоятельстве: Гончаров и сам, по собственной природе, был склонен к тому, чтобы на многое в человеке смотреть так, как смотрит иногда Гоголь, — с мягкой необидной улыбкой. Он никогда не смог бы подражать Гоголю — автору фантастических повестей. Этот ошеломляющий, по-колдовски щедрый на выдумки Гоголь восхищал его, но вовсе не был близок. Зато благодушного, необидного в своем смехе Гоголя «Старосветских помещиков» он обожал. Проявленная писателем в этой вещи мера отношения к человеку казалась ему почти идеальной: любовь, отмеченная улыбкой снисхождения к людским слабостям.

В 1843 году Гончаров решил испробовать свои силы в жанре романа. Попытка окончилась неудачей. Но неудачей такого рода, которая уже свидетельствовала о недюжинных возможностях претерпевшего.

Видимо, немалая часть этого несохранившегося романа уже была написана. Было и название — «Старики». Отдельные главы автор читал у Майковых в присутствии старшего Солоницына, который вскоре отбыл ее границу. Солоницын проявлял самое активное участие в судьбе романа. В письме из Парижа (ноябрь 1843 года) он тормошит Гончарова: «Вам, почтеннейший Иван Александрович, грех перед Богом и родом человеческим, что Вы только по лености и неуместному сомнению в своих силах не оканчиваете романа, который начали так блистательно. То, что Вы написали, обнаруживает прекрасный талант… Мы найдем доброе место всему, что Вы ни сделаете».

В начале 1844 года Гончаров получает из Парижа еще одно письмо от Владимира Андреевича Солоницына; тот вновь интересуется «Стариками»: «Прибавьте известие о своем новом романе: кончен ли он?»

Два ответных письма не сохранились. Впрочем, нх содержание частично восстанавливается из полемических реплик гончаровского корреспондента. «Неужели надо быть стариком, чтоб быть литератором?» — вопрошает он в очередном своем письме.

Итак, делаем мы вывод, Гончаров медлит с написанием «Стариков», оправдываясь, видимо, отсутствием необходимого

житейского опыта. «Неужели надо одеревенеть, сделаться нечувствительным, чтоб изображать чувства? Потерять способность любить, чтобы приобрести способность изображать любовь?» — продолжает возмущаться Владимир Андреевич.

Но, оказывается, у Гончарова есть и другой, более веский довод, который Солоницыным темпераментно опровергается в том же письме: «Если в русской литературе уже существует прекрасная картина простого русского быта («Старосветские помещики». — *Ю. Л.*), то это ничуть не мешает существованию другой такой же прекрасной картины. Притом в Вашей повести выведены на сцену совсем не такие лица, какие у Гоголя, и это придает совершенно различный характер двум повестям, и их невозможно сравнивать. Предположение Ваше показать, как два человека, уединясь в деревне, совершенно переменились и под влиянием дружбы сделались лучше, есть уже роскошь».

Значат, снова магическая власть Гоголя повлекла нерешительного прозаика на путь подражания?

Или прав Солоницын и гончаровская «картина простого русского быта» вполне самостоятельна? По крайней мере, конспективно намеченная в солоницынском письме сюжетная линия «Стариков» — «два человека, уединясь в деревне, совершенно переменились и под влиянием дружбы сделались лучше» — весьма разнится от сюжета «Старосветских помещиков».

В самом деле: «уединясь в деревне…» — значит, до этого обитали в городе, значит, резко порвали с прошлой жизнью, цивилизованному способу существования предпочли спокойствие «простого русского быта». «Совершенно переменились… сделались лучше…» — значит, в основание романа положен нравственный конфликт, события подчинены динамике духовного перерождения. Эта тема действительно вполне самостоятельна, во всяком случае, ее нет в «Старосветских помещиках», где отсутствует даже возможность какого-либо конфликта. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна искони погружены в атмосферу деревенского идиллического уклада. Они родились, выросли и умрут, не зная перемен, треволнений, пагубных страстей.

Выходит, Гончарову и вправду незачем было горевать из-за мнимой неоригинальности своих «Стариков»? Но что-то его все же сильно беспокоило. Конечно, тема побега из города и обретения счастья на лоне природы совсем не нова. Это, можно сказать, вечная тема, она существует в европейской литературе с тех пор, как существует городская цивилизация. Эта тема была уже у римлян — у Катона, у Горация, у Вергилия. Обильную дань отдали ей Руссо и Шиллер, а в России — молодой Пушкин. Но

вечные темы потому и хороши, что за них может браться каждый и на свой страх и риск решать их по-своему.

И еще одно письмо из Парижа, в середине апреля: «Известие, что Вы отложили писать «Стариков», огорчило меня до крайности…» Снова смысл гончаровских самооправданий мы вынуждены отыскивать в письме его корреспондента. «Бесспорно, — горячится Владимир Андреевич, — что «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», Шиллеровы «Разбойники» и другие ранние произведения разных авторов слабее тех, которые эти же самые авторы написали впоследствии. Но из этого не следует ничего, что бы хоть мало-мальски оправдывало Ваш бесчеловечный поступок с бедными «Стариками»…»

Попробуем и тут, хотя бы пунктирно, восстановить ход рассуждений Гончарова: не стоит печататься рано, ранние опыты всегда слабы, и потом будет стыдно за них.

Но рядом с этим доводом вполне мог соседствовать еще один, гораздо более важный для тридцатидвухлетнего литератора. Приглядимся: все перечисленные им и повторенные его корреспондентом названия произведений (далее в письме Солоницына будет упомянута еще «Новая Элоиза» Руссо) посвящены теме разрыва с цивилизацией. Что-то в этой вечной и, скажем так, вечно юной теме Гончарова не удовлетворяет. Может быть, романтизм протеста, бегства и опрощения на лоне природы представляется ему уже чем-то не вполне серьезным в усложнившихся условиях современной жизни? Идиллия возможна для одиночек и сейчас, но что они могут противопоставить действительности «железного» XIX века? Да, герои «Стариков», схоронившись в своем блаженном закуте, становятся лучше, чем были до сих пор. Но изменится ли от этого жизнь большинства?

Пусть лучше «Старики» его умрут, так и не увидев света. Но зато ни одной лишней скороспелой мыслью он не замусорит литературное поле. И еще «зато»: треволнения по поводу своего убогого детища пошли ему на пользу, — он стал еще требовательней к себе как к литератору. Солоницын даже упрекает его за чрезмерную требовательность. «Мнение Ваше вообще об искусстве писать романы мне кажется слишком строгим… По-моему, если роман порой извлекает слезу, порою смешит, порой поучает, этого и довольно».

Так ли уж и довольно? Не слишком ли тут упрощена задача романиста? Нет, настоящий роман — тяжелая ноша не только для автора, но и для читателя. Не зря ведь к великим произведениям обращаются неоднократно — с одного раза невозможно поднять всю ношу целиком… Но за многие суждения Гончаров глубоко

благодарен своему корреспонденту. В его письмах есть выводы, под которыми посчитал бы за честь подписаться и матерый журнальный критик. Например, это: «Все правила для написания хороших романов, мне кажется, заключаются в том, что так как роман есть картина человеческой жизни, то в нем должна быть представлена жизнь, как она есть, характеры должны быть не эксцентрические, приключения не чудесные, а главное, автор должен со всею возможною верностью представить развитие и фазы простых и всем знакомых страстей так, чтобы роман его был понятен всякому и казался читателю как бы воспоминанием, поверкою или истолкованием его собственной жизни, его собственных чувств и мыслей».

Роман как воспоминание о нашей собственной жизни, ее поверка и истолкование… Чудо как хорошо сказано!

Бот такой роман написать бы: чтобы в нем была не исключительная, а обыкновенная, всем хорошо известная, пусть даже и заурядная, но бесконечно ценная в своей неповторимости человеческая судьба. Написать о ней с той безыскусной и емкой простотой, недосягаемые образцы которой даны в прозе Пушкина. И еще с гоголевской улыбкой. Нет, не с тем ранящим, язвящим хохотом, который оглушает со страниц недавно вышедших «Мертвых душ», а именно с улыбкой дружеского сочувствия к человеку. Написать *без гнева*, sine ira.

За новый роман он принялся в том же 1844 году, когда окончательно забросил (и, возможно, уничтожил) рукопись «Стариков». Значит, неудача не заморозила волю, но, наоборот, подтолкнула к очередному, теперь уж, как ему казалось, настоящему дерзанию.

Что мудрить? Разве не вправе быть героями его романа люди, которых он видит всякий день — на улице, в трактире, в департаменте, на набережной в порту, где громоздятся тюки, только что сгруженные с торгового судна?

Казалось бы, что же это за герои? Что интересного и поучительного можно обнаружить в их суетливом будничном существовании? Какие страсти, столкновения? Эти люди не стреляются, не срываются за тридевять земель, не совершают ни подвигов, пи святотатств. Они служат, сколачивают маленькие состояния, мелко интригуют, скудно развлекаются, незаметно для самих себя линяют и хиреют. Какой же это предмет для романа!

Но теперь-то он знал: именно такой человек из толпы и достоин первоочередного внимания. Если даже он скучен и малосодержателен — всегда ли он был таким? Какие силы пообтерли его в толпе, выпили юношеский румянец с его щек,

приучили сердце биться без срывов?.. Как и где он служит? Кто его начальство? Кого он любит или любил? Ведь любил же и он когда-то?

Да разве сам он, Иван Гончаров, не из таких же характернейших людей большого города?

Чем он лучше, значительней любого из них? Ему ли равняться со львами Невского проспекта! О, эти люди не надевают белья из полотна, сотканного провинциальными бабами. У них белье — батистовое или из голландского либо ирландского привозного полотна, гладкого и тонкого, как китайская бумага. Обувь они носят из мягкой, как бархат, кожи. Как они практичны, как умны и всезнающи, эти мягкие львы столицы! Сойдись с таким, и он, если расщедрится, в полдня научит тебя жить. Он докажет, что голландское полотно покупать выгодней, потому что оно хотя и дороже домашнего, но отличается особой прочностью и, следовательно, носится в два, в три раза дольше. Так же и сапоги: мягкая эластичная кожа дорога, но зато не лопается на сгибах, не коробится как картон, двух пар сапог из такой кожи вполне хватит на год. А лионский бархат, которому нет износу! А тщательно вытканное английское сукно!..

Он раскроет тебе секреты национальной кулинарии и правильного пищеварения, объяснит, какой повар хорош, а какой никуда не годен, хотя и кормит досыта.

Конечно, такого льва не часто встретишь на улице, он не тратит времени на тротуарную толкотню и предпочитает ездить в карете — и в какой карете! По ней сразу определишь — там сидит лев. Она не громоздится у подъезда подобием трехэтажного сундука или похоронных дрог. Сда лишена неуклюжих рессор. Низкая посадка, мягкие подушки, тесьма, все спокойно, изящно, совершенно, как картина старого мастера.

Он и в картинах разбирается не хуже, чем в каретах. У антиквара он вам выберет из груды барахла недурной пейзаж в итальянском или нидерландском стиле.

Словом, он разбирается буквально во всем: в картинах и в винах, в политике и сукнах, в женщинах и безделушках, в литературе и в торговле, в отечественной генеалогии и в производстве стекла… Это его талант — разбираться во всем и во всем знать толк. Злые языки говорят, что он донжуан, прожигатель жизни, но не спешите доверять им. И как-нибудь вы обнаружите, что его подлинная страсть — вовсе не женщины, а какое-нибудь, пока небольшое, но успешно пыхтящее дымом предприятьице на Выборгской стороне или за Малой Невкой.

Вы хотите разбогатеть? Он и этому вас научит. Нет, конечно, не с помощью карт и не в надеждах на скорую смерть

состоятельного родственника сколачивается настоящее богатство. Слаба надежда и на литературные гонорары. И уж никуда не годятся идиотические чичиковские махинации по скупанию мертвых душ. Акции! Вот что надо скупать, а при необходимости вовремя от них избавляться, чтобы тут же приобрести новые. Если деньги не пахнут, то акции и подавно. Никакая игра в карты не идет в сравнение с этой благороднейшей игрой истинных джентльменов.

Столичный лев и в политэкономии смыслит, и во множестве других тонких штук, которые хоть и не видны на поверхности жизни, но с каждым днем все заметнее меняют ее облик. Словом, он вполне законченный современный тип, который лишь по недоразумению еще не попал в поле зрения литераторов.

Что, если попытаться изобразить его в романе, столкнув для контраста с личностью совершенно противоположного плана? Допустим, с молодым человеком, не умеющим жить. Если к фигуре столичного льва надо еще присмотреться, чтобы, изображая его, не допустить ни в чем фальши, то образ молодого человека Гончарову предельно ясен. Он ведь и сам был, а отчасти еще и остается таким неумельцем. Тут непременно нужно показать самые существенные свойства молодости: открытость и доверчивость, наивность суждений и поступков, совершаемых наобум, по первому порыву сердца. А вместе с тем упорство в отстаивании *своих* принципов.

Это, конечно, будет не городской юноша — таких среда портит, начиная с самого раннего возраста. Это будет юноша-провинциал. Он попадает в город, где надеется в полную силу поработать на поприще… На каком? Он пока не знает точно.

Но как столкнуть его со столичным львом? Можно десять лет прожить в столице и не столкнуться. А вот как! Они родственники, племянник и дядя. Но какой же тут конфликт, если дядя сразу примется во всем ему помогать, учить, наставлять, водить за ручку по улицам?

Нет, в том-то и закавыка, что дядя не таков. С первой же встречи он в прах развеивает упования племянника на родственную поддержку. Он прежде всего выбьет у юноши романтическую пудру из головы. А дальше пусть сам действует.

Они будут спорить, даже ожесточаться друг против друга. Дядины жизненные правила коробят племянника своим холодным практицизмом. Иллюзии племянника раздражают дядю неопределенностью и прекраснодушием. Кто — кого? Пока трудно сказать, чем все разрешится. Но тем и интересен сам процесс писания романа, что с каждой страницей, с каждой новой главой будут проступать и ясно обозначаться новые, подчас и для

автора неожиданные коллизии. Тяжело начать, но дальше уже сама работа гонит, толкает вперед, но дает остыть, а, наоборот, все более разогревает воображение. Роман растет смутной глыбой, во мраке которой все чаще сверкают связующие нити, и, словно в грозовую ночь, все пространство иногда вырвется из мрака и ослепит дикой красотой еще неготового творимого рельефа.

Порой работалось так легко, удачливо, как будто он уже давным-давно пишет романы, знает все секреты, с помощью которых опытные мастера завлекают читателя, не позволяя ему ни минуты скучать, рассеиваться. Но ведь за его спиной действительно была сила — школа многолетнего пристального вглядывания в то, как пишут другие. Он давпо уже читал как писатель, а теперь и пишет сразу как готовый писатель.

И какое счастье, что он не поторопился, что выждал, нашел *своих* героев. Писатель не имеет права выходить на люди, если оп не в состоянии сказать чего-то нового, неожиданного для всех. Но не такого неожиданного, которое поразит на минуту блеском выразительных средств пли огорошит мнимой репетиловской смелостью. Самая большая неожиданность в литературе — это то, что от крыто существует и действует в мире, но еще не названо, не определено, не закреплено пикем в творческом слове.

Теперь все пошло в ход: и симбирские впечатления, и — тоже давнишние уже — воспоминания о первом знакомстве со столицей, и даже походы на рыбалку по окрест ностям Петербурга в компании Майковых. Ничего не нужно выдумывать, а брать лишь то, что пережито, что было близ него, что *приросло* к его жизни.

Он не мог долго скрывать того, что его обуревало. Естественно, готовые главы впервые читались в гостиноіі Николая Аполлоновича и Евгении Петровны. Сохранился мемуарный рассказ петербургского журналиста Альберта Старчевского об одном из сеансов чтения. Судя по всему, событие состоялось где-то в начале 1845 года, когда роман еще не был дописан. Старчевского пригласили не как простого слушателя, но как человека, располагающего возможностями издателя (именно в это время он собирался приобрести журнал «Русский вестник»).

Публика сошлась самых разных возрастов. Чтение неоднократно прерывалось — так заведено у Майковых — замечаниями с мест. Особенно часто прерывали чтеца молодые люди и некоторые дамы. Впрочем, он нисколько не обижался на этот демократический способ высказывать впечатления.

«Иван Александрович обратил внимание на некоторые замечания самого младшего из нас, Валериана Майкова, и

решился сделать изменения… сообразно с указаниями молодого критика».

Что до реплик других участников вечера, то они для автора, похоже, не представляли особой ценности сравнительно с высказываниями Валериана. Гончаров, читая, «сам лучше других замечал, что надобно изменить и исправить, и потому постоянно делал свои отметки на рукописи, а иногда и просто перечеркивал карандашом несколько строк». Это свидетельство Старчевского позволяет нам увидеть, как работал молодой романист над ранним вариантом рукописи. А работал он, как видим, прилюдно, не стесняясь присутствия разных лиц. Похоже, что, наоборот, это многолюдство будоражило его, подхлестывало к новым смелым «расправам» над текстом. Спустя несколько дней, сообщает мемуарист, состоялось вторичное прослушивание романа, уже «в исправленном виде».

Как, должно быть, надеялся Иван Александрович, что одним из первых его слушателей станет и старший Солоницын. Но Владимира Андреевича Солоницына, к прискорбию всего майковского кружка, уже не было в живых. Он умер в 1844 году — в год своей интенсивной переписки с Гончаровым. Умер совсем еще молодым, на сороковом году жизни. Майковы потеряли верного друга своей семьи. Гончаров — не только начальника по министерству, по-приятельски к нему расположенного, но и умного собеседника, под влиянием вкусов которого во многом формировались его писательские принципы.

В своих записках Старчевский вскользь упоминает, что Солоницын-старший явился одним из прототипов образа дяди в романе Гончарова. А с племянника покойного — Володи Солоницына, Солика — якобы списан романистом молодой провинциал — антагонист столичного льва. Так ли это, сказать трудно. Нам еще предстоит убедиться в том, что проблема прототипов в романном творчестве Гончарова не так проста, как может иногда показаться с первого взгляда. Во всяком случае, отождествления персонажей его романов с теми или иными близкими писателю людьми чаще всего оказываются спорными. Возможно, Старчевский придал огласке одну из легендарных версий, бытовавших в литературных кружках Петербурга.

Как бы ни было на самом деле, фигура старшего Солоницына в жизни и творческой судьбе начинающего романиста достаточно заметна и по праву заслуживает благодарного внимания.

Перейдем к еще одному легендарному эпизоду, связанному с временами появления «Обыкновенной истории». Иван Панаев, рассказывая в своих воспоминаниях о знакомстве Гончарова с

Белинским, сообщает о забавном обстоятельстве, которое предшествовало их встрече. В событии участвовало еще одно лицо — Михаил Александрович Языков, петербургский чиновник, регулярно посещавший вечера у Майковых и Белинского. Как повествует Панаев, «Гончаров, зная близкие отношения Языкова с Белинским, передал рукопись «Обыкновенной истории» Языкову для передачи Белинскому с тем, однако, чтобы Языков прочел ее предварительно и решил, стоит ли передавать ее». Но тот якобы «с год» продержал роман у себя, лишь как-то мельком заглянул в него, пробежал несколько страниц и, не обнаружив в них ничего достойного внимания, отложил рукопись подальше. «Потом он сказал о ней Некрасову, прибавив: «Кажется, плоховато, не стоит печатать».

Однако Некрасов не поверил, забрал рукопись у Языкова, познакомился с ее содержанием и… «тотчас заметив, что это произведение, выходящее из ряда обыкновенных, передал ее Белинскому…».

Этот же эпизод, правда, в более сжатом виде, повторен и другим именитым мемуаристом эпохи — писателем Дмитрием Григоровичем в его «Литературных воспоминаниях». Григорович даже считает, что рукопись провалялась у Языкова «более года», причем «ие вызвав никакого протеста со стороны автора».

Как считает современный биограф Гончарова А. Д. Алексеев, указанный Панаевым срок «явно преувеличен». Но, по крайней мере, роман Гончарова пролежал без движения какую-то часть 1845 года, всю зиму и почти весь март 1846 года (встреча романиста с Белинским состоялась где-то около 25 марта).

Почему же так спокойно вел себя во все это время Гончаров? С поистине обломовской невозмутимостью ожидал, что вода потечет под лежачий камень? Или был внутренне рад отсрочке, боясь того часа, когда рукопись наконец получит *сам* Белинский?

Пытаясь определить ведущее настроение Гончарова в эти месяцы, мы, пожалуй, не найдем никакого другого слова, кроме того, под знаком которого прошли и все его последние годы. Этим настроением было *сомнение*.

Тридцатичетырехлетний Иван Александрович Гончаров так же не уверен в себе — писателе, как был он не уверен, застенчив и робок десять, пятнадцать лет назад.

Дело тут, конечно, и в личных особенностях гончаровского характера. Но не в них одних. Писатель — великий, посредственный, всякий, — как правило, не видит, *как у него получается*. Точнее, его собственное мнение о том, как получается, никогда почти не бывает тождественно самому себе, оно все время колеблется, ощущение удачи сменяется

разочарованием, редкие приливы удовольствия от написанного соседствуют с затяжными приступами охлаждения. Не случайно многие писатели не любят перечитывать своих книг, а если перечитывают, то, по собственному признанию, то и дело испытывают чувство неловкости, стыда. Автор настолько врастает в свою тему, настолько привыкает к написанному, что ему почти невозможно сделать резкий шаг в сторону, необходимый для твердой, объективной самооценки. В этом обстоятельстве — тайна самоупоенной графомании и одновременно тайна истинного дарования, когда по многу раз перемарывается одна и та же страница, которая и в первом варианте была не хуже, чем стала в последнем.

Это и плохо и хорошо, но это так: писатель не знает себе цены.

До середины весны 1846 года не знал себе настоящей цены и писатель Иван Гончаров. В апреле Виссарион Белинский вместе со своими соратниками приглашает романиста в «штаб-квартиру» — в дом Лопатина на Невском, что у Аничкова моста. Здесь, в маленькой, но уютной гостиной Белинского, Гончаров за несколько вечеров прочитывает первую часть «Обыкновенной истории».

«Белинский все с более и более возраставшим участием в любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле, с сверкающими глазами, в тех местах, которые ему особенно нравились. В минуты роздыхов он всякий раз обращался, смеясь, к Языкову и говорил:

— Ну что, Языков, ведь плохое произведение — не стоит его печатать?»

«Белинский, — резюмирует Панаев, — был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно…»

Видимо, остаток весны и все лето Гончаров дописывал роман. Вскоре после знакомства Белинский предложил ему отдать «Обыкновенную историю» в сборник «Левиафан». Но так как издание сборника не состоялось, Гончаров повел переговоры с издателем «Отечественных записок» Андреем Краевским. Узнав об этом, соредактор «Современника» Некрасов убедил автора печатать роман все же в том журнале, в котором его «открыли». Заодно Некрасов покупает у Ивана Александровича его давнишний очерк «Иван Савич Поджабрин».

Ноябрьский номер «Современника» шел с объявлением, что в числе сотрудников журнала отныне будет и господин Гончаров.

Наступает 1847 год — год всероссийского триумфа тридцатипятилетнего прозаика, имя которого доныне было известно лишь дюжине-другой столичных литераторов.

1 марта Белинский пишет Ивану Тургеневу:

«Завтра выйдет 3 №, и по всем признакам повесть Гончарова должна произвести сильное впечатление. Будь она напечатана в первых 2-х №№… можно клясться всеми клятвами, что уже месяц назад все 2100 экземпляров были бы разобраны, и, может быть, надо было бы печатать еще 600 экземпляров, которые тоже разошлись бы…»

ДВА ВОЗРАСТА («Обыкновенная история»)

Итак, племянник и дядя. Юноша Александр Адуев и зрелый муж Петр Адуев. Провинциальная расплывчатая мечтательность и столичный практицизм.

Расплывчатость дает о себе знать уже на уровне слов, интонаций.

«— Куда ты едешь, мой друг, зачем? — спросила она наконец тихим голосом.

— Как куда, маменька? в Петербург, затем… затем… чтоб…»

Ну, что «чтоб»? Так и неясно. Ни матери его, ни ему самому.

Зачем действительно уезжать юному Адуеву из своего деревенского эдема? То, о чем пела ему когда-то над колыбелью няня, — «будет ходить в золоте и не знать горя», — все это, можно сказать, осуществилось.

Вот и мать Александра Адуева восклицает: «какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до 500 четвертей сберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха… А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость божия! Дровец со своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь все это твое, милый сынок… И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости Господи…»

Достаточно беглого топографического обзора вотчины Адуевых — деревни Грачи, — чтобы убедиться, что перед нами и правда, говоря словами старухи Адуевой, «благодать».

«От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое с одной стороны золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой — темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу».

Казалось бы, эти амфитеатром развернувшиеся поля, этот темный лес по горизонту составляют извечную ограду девственного закута, в котором пребывает мечтатель.

Но нет, его зоркие молодые глаза уже разглядели брешь в ограде.

«Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна

взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург».

С первых же страниц «Обыкновенной истории» писатель заставляет нас быть предельно внимательными к деталям. К отдельным словам. Почему «благодать», почему «обетованная земля»? Почему дорога вилась «змеей»? Что значат эти заимствования из мифологического, как бы теперь скажем, лексикона? И почему они соседствуют с самыми прозаическими, обыденными, обыкновенными словами и описаниями?

Одно из объяснений: с миром реальных вещей и событий соседствует мир грез юного провинциала. Это ему грезятся «обетованная земля», «громкие подвиги», «колоссальная страсть», «то голос славы, то любви». «Его что-то манило вдаль, но что именно — он не знал».

А как быть с представлениями няни и матери Александра Адуева о райской жизни в Грачах и том страшном, что ей противостоит? Эти представления будут уточняться на протяжении всего романа, они объективизируются, станут независимы от мнения тех, кто их впервые выражает. С мифологической подоплекой романного действия мы еще столкнемся и должны будем соответственно объяснить ее место и роль в произведении Гончарова (впрочем, и не только в этом).

А пока еще несколько слов о мечтательности главного героя «Обыкновенной истории». Эта мечтательность вполне безобидна, в ней нет ничего чрезмерного, патологического. Перед нами — здоровый, естественный юношеский идеализм, который в определенном возрасте навещает всякого или почти всякого. Этот идеализм достаточно поверхностен, он, так сказать, беспартиен и внеконфессионален. Это не философский, а житейский идеализм. Впрочем, в нем есть одно свойство, присущее именно русской действительности первой половины XIX века. По типу своему этот идеализм «александрийский» (имеется в виду вполне определенное общественное настроение, оформившееся в России в годы царствования Александра I). Как писал историк, «то была эпоха мечтаний вообще, эпоха грез и вздохов, видений, провидений и привидений… Для всей эпохи так характерно именно это расторжение ума и сердца, мысли и воображения, — не столько даже безвольность, сколько именно эта *безответственность* сердца».

Хотя хронологически границы событий в «Обыкновенной истории» (вторая четверть столетия) находятся уже вне александрийской эпохи, запоздалый «александрийский» идеализм Александра Адуева — вещь вполне возможная. Расплывчатые

идеи живут дольше, чем эпохи, их порождающие.

Гончаров скуп на детали, изображая юношу-мечтателя, но каждая классически точна: он привлекателен внешне (хотя в облике нет ни одной резкой черты), он, конечно же, пишет стихи (от которых его приятели по университету были просто в восторге). Молодой барин-неженка, избалованный своей маменькой, этот идеалист — уже по первой главе видно — далеко не идеальный герой. И в то же время никаких серьезных претензий предъявить ему пока нельзя. Его мечтания невинны и чисты, дай бог, чтобы каждый юноша в этом возрасте умел хотя бы так мечтать. К Александру Адуеву вполне подошли бы пушкинские слова «блажен, кто смолоду был молод», и мы не ошибемся, если скажем, что Александр Адуев есть отчасти ироническое, а отчасти добродушное воспоминание Ивана Гончарова о своих «младых летах».

Итак, автор избрал самое традиционное и безыскусное начало романного действия: молодой герой попадает в незнакомое для него место — в огромный город. Первые ошеломления: «Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он с час простоял перед *Медным всадником,* но не с горьким упреком в душе, как бедный *Евгений,* а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие ее здания — и глаза его засверкали».

И первые разочарования: «Он подошел к окну и увидел одни трубы, да крыши, да черные, грязные кирпичные бока домов… и сравнил с тем, что видел назад тому две недели, из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно».

«Он посмотрел на домы — и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другую… Заглянешь направо, налево — всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, все одно да одно… нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, — кажется, и мысли и чувства людские также заперты».

Вот какой она оказалась — обетованная земля. Самая первая из грез мечтателя разбивается о мертвенную каменную громаду города.

Под стать этой громаде оказывается и родственник юного Александра — Петр Адуев. Даже имя у него каменное. «Он был не стар, а что называется «мужчина в самой поре» — между тридцатью пятью и сорока годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих летах, не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчета, как будто он

намеревался застраховать свою жизнь подороже».

При первом же появлении Петра Адуева на страницах романа этот образ, впрочем, как и образ Адуева-младшего, начинает как-то странно двоиться в читательском восприятии. То проступает в дяде что-то серо-каменное, бездушное, — «намеревался застраховать свою жизнь подороже». То тут же, рядом, заявит о себе какая-то симпатичная черта во внешности, в поведении, а потом и в характере ума, остроумия: «…с ровной, красивой походкой, с сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют bel homme»[2].

Читатель ищет возможности настроиться на какой-то один, ведущий тон в отношении к этому персонажу, но романист, кажется, нарочно задался целью не помочь, а помешать ему в этом.

Как будто образ постепенно высветляется: «В лице замечалась также сдержанность, т. е. уменье владеть собою…» Но тут же — «не давать лицу быть зеркалом души». Всегда ли, думается, это хорошо: так жестко следить за выражением своего лица?

Но вот новая корректировка портрета: «Нельзя, однако ж, было назвать лица его деревянным: нет, оно было только покойно». А через несколько строк — очередной резко диссонирующий штрих. Выслушивая слугу, Петр Иванович «немного навострил уши». Что-то есть физиологически неприятное в этой детали. Так и видится мелкое хищное движение ушей.

И с нагрянувшим нежданно родственником видеться не желает, причем опускается до грубой лжи:

«— Скажи этому господину, как придет, что я, вставши, тотчас уехал на завод и ворочусь через три месяца».

Впрочем, приступ эгоизма, кажется, проходит, Петру Адуеву становится несколько совестно за свою холодность, и он велят принять племянника.

Образ, как видим, далеко не прост, не однозначен. Доминирует некоторая рассудочная скованность, подобранность, сухость, но и голос сердца иногда все же отчетлив.

Именно Петру Адуеву предстоит в романе нанести, по словам Белинского, «страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму» Адуева-младшего. Любопытно, что критику романтизма столичный дядя поневоле начинает с… самокритики. Читая среди писем, привезенных племянником, послание некоей Марьи Горбатовой, он хмурится и досадует по поводу своих давнишних, юношеских поступков, о которых напомнила ему эта «старая дева»: зачем-то лазил в озеро, срывал s дарил ей «желтый цветок», и она тот цветок,

оказывается, до сих пор хранит в засушенном виде в книжке; зачем-то вытащил у нее из комода какую-то дурацкую ленточку на память!…

Причину досады старшего Адуева понять несложно: именно так бывают иногда человеку неприятны напоминания о том, что он делал, думал или писал в другом, чуждом ему сейчас возрасте. Столько лет, усилий ума потрачено на то, чтобы сбросить с себя пошлые общие места «того» возраста, — и вот кто-то лезет с напоминаниями. Приятно ли?

Но мало того. Вслед за письменным является напоминание куда более наглядное — оно олицетворено в фигуре племянника. Тут уж досада и раздражение Петра Адуева сгущаются и концентрируются до предела, разворачиваясь в самое настоящее диалектическое противостояние романтическому возрасту юноши Александра.

В первую очередь развенчивается одно из корневых основоположений мечтательного идеализма: о том, что все человечество в один прекрасный миг способно слиться в дружную гармоническую семью. Куда уж до целого человечества, если родной дядя при встрече не позволил родному племяннику расцеловать себя! Юноша несколько раз порывается припасть к дядиной груди, но всякий раз тот пресекает попытку — то отстраняющим жестом, то выразительным взглядом, то словом. И жить они будут, оказывается, не в одной квартире, и спать не в одной комнате, и обедать не за одним столом. Гостеприимство и хлебосольство дядя считает «препротивными добродетелями». «Родство», по его понятиям, такая же сомнительная вещь, как «вечная неизменная дружба и любовь».

«— Как, дядюшка, разве дружба и любовь — эти священные и высокие чувства…» — пробует возражать юноша.

Но тот неумолим:

«— Есть и здесь любовь и дружба, — где нет этого добра? только не такая, как там, у вас; со временем увидишь сам… Ты прежде всего забудь эти *священные* да *небесные* чувства, а приглядывайся к делу так, проще, как оно есть…»

Племянник со временем действительно все увидит сам. Ему суждено будет полюбить и разувериться в идеальной любви к женщине. Он обнаружит, что «любить» можно и вполсилы, слегка, и вовсе не обязательно, чтобы это было «вечно». Можно «любить» играючи, шутя, причем и опасно шутя. А в конце концов можно и совсем не любить, потому что пристойный, обоюдовыгодный брак достижим и без предварительных затрат чувства.

Подобно любви, будет — не без помощи дяди — развенчано в его глазах и другое из «священных» понятий — дружба. Впереди

— целый ряд житейских невзгод, которые основательно потреплют юношу. Однажды — правда, на самый краткий миг — он даже будет близок к самоубийству. Затем его надолго увлечет страсть к опрощению — он забросит службу и в качестве люмпен-барина будет вести полубродяжнический образ жизни на окраинах столицы, в компании мещан, так что трудно будет узнать недавнего восторженного юношу в этом рыболове-отшельнике, безвольно и сладостно погруженном в созерцание собственной экзистенции… Он на время оставит Петербург, вернется в деревню, в свой «покинутый рай». Он будет причастен душевным страданиям, которые, по его словам, одни «очищают душу», «делают человека сносным и себе и другим».

Словом, племянник будет долго и непросто «дорастать» до понятий и принципов дяди.

Один из первых, малых, но ошеломляющих, шажков на этом пути — разуверение Адуева-младшего в своих способностях стихотворца. Опытный дядя, безусловно, понимает, что самый эффектный — и, кстати, самый ранящий — способ сразу же сбить романтическую спесь со своего родственника — доказать беспомощность его поэтических упражнений. Прочитав вслух несколько строф племянника, Петр Адуев просит подарить ему всю кипу стихов и тут же велит слуге отнести бумаги к себе на квартиру для обклеивания комнаты. Следующий шажок в замысле дяди — переключить обескураженного юношу со стихотворных занятий на прозаические. Происходит это следующим образом. Однажды дядя присылает ему пакет с немецкой рукописью, которую надо перевести для журнала. Александр, переводивший в свое время даже Шиллера, читает название агрономической статьи *«О наземе…»* (то есть о навозе). Кажется, в своем антиромантическом натиске Адуев-старший уже несколько пересаливает. Впрочем, племянник покорно переводит статью.

И, как бы в награду за послушание, получает для перевода новую, с более «благозвучной» темой — *«о картофельной патоке».*

В главе II первой части романа есть эпизод, который в известной мере можно считать ключом к авторскому замыслу всего произведения. Александр пишет письмо своему университетскому другу Поспелову, излагает первые впечатления от столичной жизни. Речь заходит и о дяде: «Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона… Не верит он *любви,* и проч…» И немного ниже: «я думаю, он не читал даже Пушкина».

Петр Адуев, застав племянника врасплох за сочинением письма, просматривает его текст. По его реакции трудно догадаться, читал ли он Пушкина и догадывается ли, с каким

именно демоном сравнивает его родственник. Между тем речь в письме идет о знаменитом пушкинском стихотворении «Демон», которое поэт, заметим кстати, написал в юном — двадцатичетырехлетнем — возрасте. В контексте «Обыкновенной истории» это стихотворение — величина настолько значимая, что нужно привести здесь его полный текст.

ДЕМОН

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья,—
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь,
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимый клеветою,
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Действительно, чем не портрет Петра Адуева? Может быть, лишь две-три детали из романтического лексикона молодого Пушкина не совсем подходят («злобный гений», «чудный взгляд»), все же остальное — прямо по адресу. Осмеяние «возвышенных чувств», развенчание «любви», насмешливое отношение к «вдохновению», вообще ко всему «прекрасному», «хладный яд» скептицизма и рационализма, постоянная насмешливость, враждебность к любому проявлению «надежды» и «мечты» — вот

арсенал демонических средств, которые, как мы уже имели возможность убедиться, оказываются вполне по плечу добропорядочному и респектабельному столичному льву Петру Адуеву.

Ссылка Адуева-младшего на пушкинский текст решительно включает содержание «Демона» в атмосферу житейских и идейных конфликтов романа. Гончаров сознательно проецирует ситуацию искушения на главные события «Обыкновенной истории», сознательно добавляет к уже имеющимся в романе мифологическим образам и мотивам еще один, чрезвычайно емкий. Теперь намного яснее становится смысл уподобления благодатных Грачей раю и сравнение Петербурга с «омутом». Мифологическая подоплека романа разворачивается на наших глазах в целую картину типичного, так сказать, «классического» искушения. Вполне возможно, что Гончарову была известна пушкинская реплика, уточняющая содержание «Демона» и опубликованная в «Сыне Отечества» за 1825 год: «автор хотел представить развратителя, искушающего неопытную юность…» Хотя другой набросок поэта о «Демоне», написанный также в 1825 году, но опубликованный лишь полвека спустя, Гончарову во время работы над романом вряд ли был известен, конфликт своего повествования он осмысляет именно в духе пушкинских характеристик. В этом отрывке Пушкин определяет юность как «лучшее время жизни», а искусителя, ссылаясь на высказывания Гёте, — как «вечного врага человечества». «Сей дух *отрицания* или *сомнения»* избирает себе в жертву сердце, «еще не охлажденное опытом».

Конечно, гончаровский Петр Адуев, будучи персонажем реалистического произведения, не поддается полному отождествлению с пушкинским Демоном или гётевским Мефистофелем, изображенными в плане сверхреальном. В самохарактеристике дядюшки — «ни демон, ни ангел, а такой же человек, как и все» — есть, как говорится, сермяжная правда. И все же он далеко не «такой же человек, как и все». Уже потому хотя бы, что, по собственному признанию, «верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и прескверное». Но ведь «верить в зло» — значит исповедовать зло, быть его агентом. Функция искусителя, то есть лица, прекрасно знающего ресурсы зла и умеющего при случае ими пользоваться, в Петре Адуеве просматривается невооруженным глазом.

Эта функция в романе останется, если даже представить, что мифологическое обоснование напрочь исключено из его текста. Уберется лишь демонический ореол, окружающий фигуру дяди, утратится некоторая «идейность» его акций. Но соблазнитель

останется соблазнителем и в сугубо бытовой, внемифологической обстановке.

Тургеневский Базаров мог бы позавидовать той «научной» образности, с помощью которой Петр Адуев объясняет племяннику суть любви как действие электричества: «Влюбленные — все равно что две лейденские банки: оба сильно заряжены; поцелуями электричество разрешается, и когда разрешится совсем — прости любовь, следует охлаждение…»

Но Петр Адуев осознает свой приоритет искусителя и, так сказать, в метафизическом смысле. Недаром и говорит со знанием дела: «с Адама и Евы одна и та же история у всех, с маленькими вариантами».

И недаром на реплику племянника «адски холодно рассуждаете о любви» отвечает:

«— Адски холодно — это ново! в аду, говорят, жарко».

И вспомнятся невольно старинные слова: «невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят: лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих».

Привлеченный Гончаровым мифологический материал в горячке первых впечатлений от романа не обратил на себя ничьего внимания. Это было и естественно. Попав в самое перекрестье критической полемики 40-х годов, «Обыкновенная история» прежде всего побуждала к обсуждению актуальных, сиюминутных общественных и литературных проблем. Побуждала к спорам, будучи сама построена как роман острых идейных противостояний.

Особое желание спорить вызвала у критиков фигура дяди, ее место в романе, отношение самого автора к этой фигуре. «Автор не привлек нас к этому характеру ни одним великодушным поступком его, — писала булгаринская «Северная пчела», — повсюду виден в нем если не отвратительный, то сухой и холодный эгоист, человек почти бесчувственный, измеряющий счастие человеческое одними лишь денежными приобретениями или потерями». Рецензент делал вывод, что у автора чувствуется сильнейшее желание «доказать, что все порядочные люди должны походить на Петра Ивановича, тогда как Петр Иванович машина, мастерски слепленный автомат, а не живой человек». По убеждению рецензента, Гончаров поставил перед собою задачу с помощью дяди-резонера «опошлить всякое сердечное движение Александра, всякий порыв чувств его, столь свойственные и извинительные молодости».

Позиция писателя намеренно отождествлялась с жизненными принципами Адуева-старшего.

К сожалению, с подобным же крайним суждением выступил позднее и критик куда более проницательный — Аполлон Григорьев. «И любовь, и мечтательность, — писал он о романе в журнале «Москвитянин», — и вообще все то, что мешает нашей жизни делаться сухою и пошлою и не допускает человека сделаться машиною, осмеяно очень искусно».

Поставив знак равенства между писателем и его одиозным персонажем, критик уже не стесняет себя в выборе фельетонных аттестаций: «бюрократическая практичность», «резонерский реализм» Гончарова и т. д.

Чем вызваны эти полемические преувеличения? Как известно, верный рыцарь романтизма, Аполлон Григорьев неутомимо воинствовал против всякого проявления обездушенности, заземленности, против практицизма и рационализма в общественной жизни и в литературе. В «Обыкновенной истории» он усмотрел только расправу над беззащитным романтизмом. Если автор развенчал племянника, следовательно, он на стороне дяди. Такое мнение подкреплялось и тем фактом, что сразу же по выходе романа в свет этой «расправе» изо всех сил рукоплескал идеологический противник Григорьева — Виссарион Белинский.

На оценке гончаровского романа последним следует остановиться подробнее. Белинскому роман, действительно, представлялся «страшным ударом» по ненавистному романтизму. Тому самому романтизму, в волнах и туманах которого критик сам в свое время — и совсем еще недавнее — достаточно поплавал. Как понятна эта всегдашняя бурная реакция Белинского на то, что разлюблено, отринуто! Вчерашний кумир обязательно должен быть повергнут, чтоб не послужил никому к соблазну. Кумиры отступали в тень один за одним. Боготворимый и затем преданный анафеме Гегель. Любовь, а затем резкое охлаждение к Николаю Васильевичу. Кажется, почти уже на очереди и сам Пушкин… О романтиках и говорить нечего! Вычурный Бенедиктов, превыспренний Марлинский… Здесь истоки энтузиазма, с которым Белинский встретил «Обыкновенную историю». Она как будто блестяще подтверждала, что его теоретический скачок через пропасть романтизма не каприз литературного гурмана, а предвидение: нужна новая ступень взрослеющей письменности, мужающего общественного сознания. Необходим в литературе и в жизни новый, «дельный» человек. «Такой, который бы приносил практическую пользу, был способен к тяжелому и продолжительному труду». И в «Обыкновенной истории», по мнению Белинского, такой человек

есть!

Но в отличие от других рецензентов Белинский не настолько увлечен своей концепцией, чтобы считать Адуева-старшего рупором идей автора. Гончаров вообще никому из героев не передоверяет своих идей, ибо — по тонкому замечанию критика — не относится к писателям мысли, публицистического темперамента, таким, например, как Герцен. Он олицетворяет собою «поэта-художника и больше ничего». Его герои говорят сами за себя, а не от имени автора. Он следит за их спорами и столкновениями со стороны, не вмешиваясь.

Здесь Белинский гораздо ближе к истине, чем А. Григорьев с его тезисом о «резонерском реализме» Гончарова. Метод автора «Обыкновенной истории» — по Белинскому — есть реализм объективного отношения к героям. Писатель дает им возможность высказать в полный голос свое содержание. Он не корректирует эти голоса, не приукрашает и не утрирует их, не впадает в наставнический тон.

Благодаря этому читатель и критик вправе выбрать, предпочесть один голос другому или другим, то есть «судить и извлекать нравственные следствия». Белинский предпочитает «голос» Адуева-старшего. Хотя, по его мнению, этот герой романа «эгоист, холоден по натуре, не способен к великодушным движениям», но у него остается тьма преимуществ перед своим антагонистом. «Он не только не зол, но положительно добр: он честен, благороден, не лицемер, не притворщик, на него можно положиться, он не обещает, чего не может или не хочет сделать, а что обещает, то непременно сделает».

Трактовка Белинским одного из двух главных персонажей романа, как видим, предельно заострена. «Антиромантическая» установка позволяет критику решительно сдвинуть Адуева-старшего в сторону «положительности». За этим маневром как бы скрыт упрек романисту: ему, а не критику следовало бы очистить «голос» этого героя от компрометирующих ноток. В нынешнем же виде образ не вполне достаточен для целей апологетики.

При анализе заключительных страниц романа Белинский выводит свои упреки на поверхность, оформляет их а виде жесткого вывода: финал повествования, по его мнению, фальшив.

Чтобы лучше уяснить характер претензий критика, восстановим в памяти события эпилога «Обыкновенной истории». Пройдя многолетний курс «послушничества» у своего дядюшки, научившись самостоятельно устраивать свою «карьеру» и «фортуну» (любимые понятия Адуева старшего), племянник наконец-то полностью врастает тот идеал «делового человека», который когда-то, при первых встречах, набросал перед ним

родственник. «Как он (Александр. — *Ю. Л.*) переменился! Как пополнел, оплешивел, как стал румян! С каким достоинством он носит свое выпуклое брюшко и орден на шее!» Он женится на богатой невесте. Триста тысяч приданого! И к ним еще пятьсот душ! «Я иду наравне с веком».

«— Ты моя кровь, ты — Адуев!» — гордо, торжественно восклицает дядя.

Но эта его гордость, заметим, — лишь мгновенный порыв. В остальном же ему как-то очень и очень не по себе при виде племянника. Вообще с дядей творится ь последние времена что-то несообразное. Его со дня на день должны были представить в тайные советники, а он взял да и подал в отставку! В долгой многолетней борьбе отстранил двух компаньонов, стал единоличным хозяином стеклянного и фарфорового завода, и вот — хочет продать предприятие! Странную трещину дает и его «разумный» брак с Лизаветой Александровной. Нет, тут не измена, не взаимное охлаждение — тепла никогда и не было, — а что-то совсем противоположное, Петру Ивановичу неведомое. Узнав от доктора, что его жена серьезно больна, он вдруг начинает чувствовать необычное для себя раскаяние: ведь это он своим бездушно-ровным отношением к ней, тиранией рационализма довел супругу до угнетенного состояния. И теперь — неслыханное дело! — он ловит себя на том, что начинает *любить* жену. Словом, будто с цепи сорвался Адуев-старший, и все полетело — служба, завод, головные принципы… «Я не хочу жить одной головой». Это не каприз, не минутная расслабленность, а самый настоящий нравственный кризис, за которым может последовать и нравственное перерождение.

Не мудрено, что, глядя теперь *новым* взглядом на племянника, ставшего его образцовым двойником, Петр Иванович не может не ужаснуться. Ведь это все равно что смотреть в зеркало на самого себя — обрюзгшего, выцветшего.

Племянник «дорос» до дяди, но дядя уже почти «перерос» себя. Недавние антагонисты на миг совпали в одной плоскости, чтобы вновь драматически оттолкнуться друг от друга. Возраст юности, окончательно увянув в племяннике, неожиданно вспыхивает отраженным светом в стареющем дяде.

Казалось бы, ситуация не только вполне правдоподобная, но и заурядная, обыкновенная: типичная диалектика «возрастных» превращений, на каждом шагу такое происходит. Считая, однако, метаморфозу племянника и дяди неправдоподобной, Белинский предлагает для Александра Адуева иную итоговую ипостась: ему «лучше заглохнуть в деревенской дичи в апатии или сделаться мистиком, фанатиком, сектантом, или лучше и естественнее

сделать его славянофилом».

Как видим, отношение великого критика к роману двойственно. Белинский страстно приветствует «Обыкновенную историю», но тут же и порицает автора за «безразличие» к решающим, итоговым поступкам его героев. «Страшный удар» по романтизму вышел бы куда сильней, оставь автор своего мечтателя коснеть в каком-нибудь захолустье.

Но не будем забывать о второй стороне медали, которую критик из полемических соображений оставил без рассмотрения: роман есть еще удар — причем не менее страшный — и по рационализму, по практичности буржуазного пошиба. Можно утверждать, что в русской литературе XIX столетия «Обыкновенная история» — одна из первых художественных реакций на явление нового социального феномена — буржуазного сознания. Романист уловил тенденцию общественного сдвига куда точней и своевременней, чем многие его современники, которые еще питали иллюзию насчет «деловых» качеств нарождающегося в России сословия. Атрибуты буржуазности под пером Гончарова выявились как некий новый «возраст» общественного самосознания. Актуальные проявления этого «возраста» в «Обыкновенной истории» многообразны и ярки. Но проблема возраста в романе поставлена и в более широком плане — в плане «вечных», неизменно актуальных, неснимаемых вопросов человеческого существования.

Детство, молодость, зрелость, старость. Таково четырехчленное деление человеческой жизни, известное еще со времен античности. Давно известна и философия возрастов, по которой смежные возрасты тяготеют к противостоянию, а отделенные друг от друга (детство — молодость — старость), наоборот, ищут союза и сближения. Как и всякое обобщение, эта модель возрастных отношений далеко не всегда соответствует конкретным жизненным ситуациям. Но все же опыт житейский подсказывает: в идейных, психологических, бытовых противоборствах очень часто за пестротой внешних проблем скрыта еще и «проблема возраста».

Обыкновенная, право же, обыкновенная история: зрелый муж раздражен молодым человеком (то есть «возрастом», в котором сам еще недавно находился). А юноша, в свою очередь, обескуражен «содержанием» возраста, в котором пребывает дядя. Но остаться навсегда юным невозможно. «Увы! — вздыхает Александр, — кончается молодость и начинается пора размышлений, поверка *а* разборка всякого волнения, пора сознания».

Таков закон жизни. Стоит опять вспомнить пушкинское: «блажен, кто смолоду был молод». Но и — «блажен, кто вовремя созрел».

Но для того, чтобы так думать и чувствовать, какое же нужно понимание сути того и другого возрастов! Какое сердечное внимание к их «правдам».

Попробуем еще раз вместе с Александром Адуевым пристальней всмотреться в облик его оппонента. Что такое для молодости зрелый возраст? Самоуверенность, постоянное лицедейство, набор принципов при отсутствии живых идеалов, голый расчет и фальшь во всяком деле, полная бездуховность и мертвящий цинизм, предельная сосредоточенность на материальной выгоде, облеченная в блеск и лоск наружной отутюженности. И вот стоит зрелый муж неколебимо, как памятник самому себе: поглядите, мол, на нас, мы своего добились, мы знаем секрет жизни и вам, если хотите, раскроем его, а не хотите, так все равно придете к нам на поклон, просить помощи, той самой, материальной, от которой вас так благородно корчит я воротит, и мы вам ее окажем, мы вовсе не такие бессердечные и жестокие люди, как вы думаете…

Естественно, в таком собирательном представлении» молодости» о «зрелости» многое чересчур сгущено, но все же нет дыма без огня.

В еще более сгущенном, концентрированном виде предстает со страниц «Обыкновенной истории» «правда» взрослого возраста. Молодость неуравновешенна, несправедлива, неблагодарна… Сколько диких идей, сколько спеси и самомнения, каждый день новые изобретения и прожекты, открытия давно открытого, упрямые посягательства на переустройство всей вселенной в один присест. Заклинательные крики о любви, дружбе, свободе, при полном почти неумении любить, дружить, пользоваться благами свободы. Ох уж эти молодые люди, пьяные сердцем и нетрезвые умом, но ко всем лезущие в учителя! И уж конечно, мир принадлежит им, только им, никому больше, другие и заикнуться не смей…

И все-таки, и все-таки, до чего же каждому человеку и всему человечеству *не хочется взрослеть*, до слез не хочется! И всякий вздыхает втихомолку: о, как бы остаться навсегда молодым. И сорокалетний муж, и старец в бессонные часы грезят о *вечной* юности… И философы воздыхают о детстве человечества. И грешники плачут об утраченном рае. И ветхие старухи берут на руки детей и играют с ними в святые игры детства. И неизбывный инстинкт всего живого: рожать и рожать, чтоб земля молодела и молодела. И этот вечный призыв: *будьте как дети*.

Чудесная необыкновенность жизни заключена в рождении дитяти, в рождестве. А взрослеть и угасать сердцем — какая, повторим, грустная и обыкновенная история!

В марте 1847 года Белинский пишет Василию Боткину:

«Повесть Гончарова произвела в Питере фурор — успех неслыханный! Все мнения слились в ее пользу… Действительно, талант замечательный. Мне кажется, что его особенность, так сказать, личность, заключается в совершенном отсутствии семинаризма, литературщины и литераторства, от которых не умели и не умеют освобождаться даже гениальные русские писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Гончарова нет и признаков труда, работы; читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерский изустный рассказ. Я уверен, что тебе повесть понравится. А какую пользу принесет она обществу!..»

В этом отзыве, с тех пор включаемом почти в каждую монографию о Гончарове, есть один любопытный анахронизм. Белинский называет «Обыкновенную историю» повестью, хотя, конечно, ему известно, как сам автор определил жанр своей вещи — «роман в двух частях». Но «повесть» в устах Белинского — вовсе не знак преуменьшения, пренебрежительности. Просто в литературном лексиконе эпохи — уточним: в русском литературном лексиконе — слово «роман» еще не совсем привычное сравнительно со словом «повесть». И не случайно. Идет 1847 год, а «чистого» романа в России еще не существует. Есть романы исторические, авантюрные, есть пушкинский «роман в стихах», есть лермонтовский многожанровый «Герой». И Гоголь совершенно справедливо ые называет свои «Мертвые души» романом.

А вот «беспримесного», жанрово выдержанного, «обыкновенного» романа — о современном человеке, его любви, его общественных поступках, его успехах и разочарованиях — в России еще не было. И вот в 1847 году он, кажется, появился. И это для всех так неожиданно, что даже крупнейший критик эпохи по инерции еще именует его в письме повестью.

В «Обыкновенной истории» уже есть то, что определит облик русского классического романа XIX века, — мощный заряд идейности, напряженное искание истины, устремленность к разрешению главных вопросов человеческого существования. Все, что составит характерность и силу романов Достоевского, Толстого, Лескова, Тургенева, наконец, самого Гончарова — автора «Обломова» и «Обрыва», — противоборство идей, идеалов, жизненных принципов, символов веры, доктрин и страстей, — все это намечено и отчасти осуществлено уже в «Обыкновенной

истории».

ОТ ВОСТОКА К ЗАПАДУ

Осенью 1852 года литературный секретарь русского адмирала Путятина Иван Гончаров вместе с группой соотечественников осматривал док в английском портовом городе Портсмуте. Общее внимание привлек один странного вида корабль. Сам по себе этот корабль вряд ли бы заинтересовал наблюдателей при иных обстоятельствах. То был типовой военный парусник, пробороздивший уже, надо полагать, не одну тысячу миль.

Странность же состояла в том, что с этим кораблем делали в доке. А делали с ним такое, что наши путешественники, оказавшись поблизости, мгновенно, сами того не подозревая, превратились из простых наблюдателей в свидетелей исторического — без преувеличения скажем — события.

Ибо за всю историю человечества *такое* можно было увидеть разве лишь теперь, в узком, как щелка, промежутке из нескольких лет.

Громадный сильный корабль был разъят поперек туловища. Мускулатура его корпуса, обнаженная по бортам, казалось, вопила от боли каждым сухожилием, каждым волокном деревянного мяса.

И вот в эти развороченные внутренности невыносимо медленно втискивали нечто громоздкое, тяжкое, как утюг, оплетенное беспорядочной сетью веревок и ремней.

Картина почти фантастическая!

Но, впрочем, все объяснялось совершенно прозаически. Военно-морское министерство Англии в спешном порядке модернизировало плавучий состав флота. Каждый вновь строящийся военный корабль оснащается паровым двигателем. Доходит очередь и до тех кораблей, которые начинали плавать в качестве обычных парусников.

Глазейте, соседи, изумляйся, мир! Как ненужную паутину, трезвый островитянин сметает с глаз долой паруса, реи, ванты… Вам жалко Красоты? Но есть другая богиня, имя ей — Польза! Вам жаль лебяжьей поэзии парусиновых полотнищ? Но есть поэзия скорости, рвущейся вперед воли, поэзия дымного шарфа, окутавшего полнеба. Поэзия дела и движения.

Иссякло, кончилось время прозябающего человека, дрожащей твари. Кончился человек, который переползал из века в век, боязливо оглядываясь, с трепетом в жилах. Он трепетал всего — огня и воды, земли и неба, бога и дьявола. Он валялся в прахе перед ликами стихий, не смел преступить заповедей и уставов

косной природы. Он не шел против течения, не плыл против ветра, не рыл землю до самого дна, не лез на рожон, не спешил в огонь без родительского на то примера (а робкий родитель, ясное дело, и не думал ему такой пример подавать). Нет более того человека!

Вот он — вглядитесь! — стоит перед вами новый Адам, не тварь, но сам творец. Как свой семейный сундук, распахнул он глуби земные, мощной рукой извлек оттуда черный сверкающий угль — спрессованное тысячелетиями древо познания. Другой рукой подхватил гремучую глыбу руды. Ослепительные молнии догадок то и дело озаряют своды его сознания. И вот — уже склепан металлический цилиндр, заполнен покорной водой, опален снизу бешеным жаром подземного камня. Все подручные стихии схватились не на жизнь, а на смерть. В нимбе пара, обдаваемый шепотом поршней, чувствуя подошвами бессильный гнев железного зверя, он стоит на палубе, на капитанском мостике прогресса; стоит, скрестив на груди натруженные длани, этот новый, гордый, сам себе определивший цену человек, идущий против течения, против ветра, против стихий.

Он развозит фабричные товары по всему миру, он учит рифмам дикарей, он в полминуты изготовляет на пару котлеты, он твердо знает, куда и зачем нужно двигаться — ему самому и всему человечеству. Он не мечтатель и даже на луну смотрит, трезво прищурясь: и там, и там есть полезные ископаемые!..

Он худощав, гибок, мускулист, желваки его словно из железа, он уже создал первый хрустальный дворец — камень, металл, стекло, очень много стекла. И таких дворцов будут тысячи, вся земля будет искриться ими, как кристаллами. И вся она воспоет тогда своего нового устроителя:

— Слава тебе, волевой и своевольный человек, слава тебе!..

Биография — это вопросы и ответы. Точнее, это вопроса, на часть которых имеются ответы, более или менее убедительные. Там, где есть лишь ответы и отсутствуют недоуменные вопросы, там биограф — фигура лишняя.

На пять лет в жизни Гончарова — между выходом в свет «Обыкновенной истории» и прибытием писателя в Англию на борту фрегата «Паллада» — вопросов приходится более чем достаточно.

Ну хотя бы этот: почему вдруг оказался в Англии и поплыл потом еще дальше?

В границах обозначенных пяти лет, да и шире — в пределах целой жизни романиста — предпринятое им в начале 50-х кругосветное плавание на военном корабле стоит резко

особняком. Что-то в этом угловатом поступке решительно не вяжется ни с внешностью Гончарова, ни со стилем его жизни, в которой на протяжении многих десятилетий как будто доминируют размеренность, закругленность, отсутствие заметных убыстрений или торможений. Ни, наконец, с бытовой атмосферой его главных книг. Вспомним: даже Петр Адуев, уж на что, казалось бы, энергичен, подвижен, но и он на протяжении всего действия романа ни разу не покидает Петербурга. И все другие из главных героев книг Гончарова будут по преимуществу такими же сиднями. Разве что Штольц? Но о Штольце разговор особый…

Словом, кругосветное путешествие в писательской судьбе Гончарова — событие, по крайней мере на первый взгляд, случайное, нехарактерное. Куда более к лицу было бы оно, допустим, Льву Толстому или Лескову. Впрочем, если подумать, то и Толстого трудно представить себе где-нибудь в Бразилии, а Лескова в Австралии. Как-то не любят писатели русские в XIX веке путешествовать особенно далеко, забираться в экзотические страны. Гоголь в Риме и в Иерусалиме — это понятно, мотивировано. Пушкин на Кавказе — тоже понятно. Понятно, почему Достоевский посещает Лондон. В каждом из этих адресов есть для людей, к ним причастных, какая-то особая притягательность, неминуемость. Но чем бы, спрашивается, занял себя Достоевский на Суматре, а Гоголь, допустим, в Калифорнии, а Пушкин… да хотя бы а той же «своей» Африке? Для всех них словно существует неписаное правиле: как бы ни был привлекателен тот или иной географический пункт сам по себе, он приобретает ценность, начинает привлекать к себе лишь в том случае, когда включается в круг духовных интересов художника.

С этой точки зрения как приличествует, например, Александру Островскому тихое, неспешное пароходное путешествие по купеческой Волге. А нашему Ивану Гончарову — также неспешная — поездка из столицы на родину…

Что ж, летом 1849 года он так и поступил. Первые дни путешествия — до Москвы — были почти наслаждением: ехал в английской карете, без тряски и толчков. Зато от Москвы до Казани в расшарпанном дилижансе, по худой дороге, в жаре и пыли добирался целых пять суток. Отсюда до дому оставалось еще двести верст, и преодолевать их пришлось совсем уж по-деревенски — в тележке. Казалось, он пропылился насквозь, струи пота стекали по лицу темными полосами, пыль забилась в брови и густо улеглась в складки одежды. И солнце, какой уже день подряд, с утра и до вечера палило без устали.

Насколько бы лучше сидеть сейчас в Питере, на скамье Летнего сада, во влажной и свежей тени старых лип, слушая, как

шелестит в их кронах прохладный ветер с залива. Избыточное это все же занятие для русского человека — путешествовать.

Но и не поехать было ему нельзя: целых четырнадцать лет не видел он своих и теперь, увы, уже не всех увидит. Нынешней весной написали ему из Симбирска о крестном… Ах, крестный! Все поджидал своего Ваню, хотел старыми глазами поглядеть: каковы они хоть с виду-то, российские литераторы? Да так и не дождался… А старшая сестра, пишут, уже детей нарожала, и у брата семья, и маме годов ой немало… Что она теперь? Все та же строгая, властная и милосердная хозяйка большого дома? Все так же подолгу стоит по утрам и вечерам в своей спальне — перед киотом древних образов, едва озаренных синей лампадкой, молясь за всех за них разом и за каждого поименно?.. Уже — выходит по числам — и сороковины должна была она справить по покойному куму.

С того самого года, как не стало Солоницына, что-то слишком зачастила противница рода людского к тем, кто был Гончарову близок и дорог. Вдруг страшное несчастье обрушилось на семью Майковых: нелепейшим образом утонул во время купания в Петергофе Валериан. А ведь в свои двадцать три года он уже заявлял о себе как зрелый, с проблесками гениальности, критик. Какая великолепная статья о Кольцове! Какие основательные, умные выступления на научные темы!

Относя некролог, посвященный Валериану, в «Современник», откуда мог знать Гончаров, что меньше чем через год не станет в живых и третьего из тех людей, которые явились его «крестными» в литературе, — Белинского не станет. Правда, эта смерть давно уже о себе предупреждала — иссиня-бледными тенями на обреченном лице, сухой исступленностью в глазах.

И теперь вот старый моряк Трегубов отплыл к неведомым берегам.

В один из первых своих дней в Симбирске Гончаров посетил могилку, заметно просевшую к лету, но еще не заросшую травой. Свое движимое и недвижимое старик завещал детям Авдотьи Матвеевны: двум сестрам разделил поровну деревеньки со всем их народом. А братьям? Что ж, он помог им выйти в люди, авось и на том спасибо скажут.

Дом родимый был как будто все тот же, но и почти неузнаваем. Сестра Анна из худенького подростка преобразилась в милую, веселую и сдобную толстушку. Николай тоже решительно прибавил в телесной важности. И уже двумя племянниками удружил он холостому братцу. Вот они: Саша пяти лет и Володя — четырех, катаются по всему дому, как колобки. А через несколько дней приехала из своей деревни Александра —

теперь Кирмалова, — да не одна, а привезла с собой еще шестерых деток.

Важный и томный, основательно вымотанный дорогой столичный дядюшка через неделю был неузнаваем. Носился по комнатам, по двору и саду с детьми, сам кричал и хохотал, как ребенок. То примется плясать какой-то цыганский танец, смешно и ловко выделывая всякие коленца. То схватит со стены гитару и запоет романс, и — надо же! — какой у него, оказывается, приятный и звучный голос. То Авдотью Матвеевну засыплет поцелуями, шутками. То начнет смешить юную гувернантку кирмаловских детишек Вареньку — Варвару Лукиничну Лукьянову, — ах, как она мила и как от души, без удержу смеется его актерским выходкам, розыгрышам и анекдотам из жизни столичных литераторов! А живет Варенька — пока Кирмаловы гостят у мамы и у бабушки — здесь же, на одном с ним этаже, почти по соседству с его «вышкой». И как часто в течение дня он видит ее — за столом, в саду, во дворе — или слышит ее звонкий голосок за окном, в коридоре, в какой-нибудь из соседних комнат…

Похоже, что брат Николай, преподающий теперь в здешней гимназии, даже слегка огорчен его мальчишеским поведением. Как же! В Симбирске ожидают увидеть знаменитого земляка, автора романа, который тут всеми в срочном порядке прочитан и почтительно обсужден (сам ведь Иван прислал три экземпляра «Обыкновенной истории» в недавно открывшуюся общественную библиотеку — названа Карамзинской). А он весь в баловстве, не наносит визитов, не ведет ни с кем литературных бесед.

Ну что ж, симбирцы — люди негордые, сами пожаловали. Он всех встречает радушно, без тени высокомерия: с каждым поговорит досыта — с седовласым купцом, с гимназистом, пописывающим стишки, с дальними родственниками и родственницами. Все ему интересно, все занятно: как кто солит огурцы, какие у кого допотопные соседи, как поживает юродивый Андреюшка, какие мнения у здешних старожилов о столицах и заграницах.

Казалось бы, зачем он зря просаживает свое время, слушая эти допотопные речи замшелых людей «Летописца»? Ан нет, не зря! — ему все это *очень* нужно сейчас. В марте нынешнего года в «Литературном сборнике с иллюстрациями» (редакция «Современника» подготовила) вышел его большой прозаический отрывок под названием «Сон Обломова». В двух словах и не скажешь, что значит для него этот отрывок. Тут и воспоминания о собственном благословенном детстве. И незлобивая усмешка над тяжеловесным укладом людей «Летописца». Тут соединены быль

и небыль, обстоятельнейшее и натуральнейшее описание помещичьей усадьбы овеяно каким-то поистине сказочным очарованием. Тут есть что-то от утопии наоборот. То есть от утопии, обращенной в прошлое. То есть от *мифа*. Словом, что-то поистине эпическое, гомеровское — не столько даже ему так представлялось, когда писал, сколько другим, когда слушали и восхищались. В своем «Сне Обломова» он теперь уверен, как ни в одной вещи, написанной до сих пор. Может быть, ему больше и не удастся никогда написать ничего подобного.

Но «Сон» — только краеугольный камень, вернее, только сердцевина того, что он недавно задумал и сейчас здесь, в Симбирске, хотел бы осуществить. Поэтому и попросил на службе, помимо месячного отпуска, еще три месяца отсрочки: в голове — новый роман. Роман об Илюше Обломове, который вырастает в Илью Ильича Обломова, покидает свою милую Обломовку, уезжает в Петербург. Уехать-то он уезжает, но пуповина, связывающая его с давней былью и сказкой, остается неотрезанной, городская жизнь томит его суетой, а вернуться в деревню нету сил. Солнечный, веселый сон маленького Обломова постепенно теряет очертания, разбухает, превращаясь в громоздко-тревожный, болезненный сон взрослого «дитяти».

Собираясь в Симбирск, Иван Гончаров взял аванс под новый роман у издателя «Отечественных записок» Краевского, пообещав уже летом выслать в Петербург первые главы.

Уже летом!.. Неделя текла за неделей, а по-настоящему за роман он никак не мог приняться. Несколько раз с утра запирался было у себя в комнате, раскладывал на столе набросанные вчерне главы первой части и рядом стопку чистой бумаги. Но то, что уже было написано, — перечитал как-то внимательно — его совершенно разочаровало. Задуманный образ монументального и, так сказать, окончательного ленивца не заключал в себе никакого развития, движения. Да и как можно было сдвинуть с места, заставить «развиваться» фигуру, которая, будучи запелената в свой вечный халат, воплощает в себе некий предел неподвижности и апатии?

К тому же Гончаров стал замечать, что чем отчетливей проступает в его воображении эта фигура, тем сильнее он, автор, заражается ее некоторыми опасными свойствами. Увы, но таковы издержки писательства: чтобы образ получился достоверным, нужно в него как следует вжиться. И вот он вживается. Уже и сам неделями почти не вылезает из халата. Помногу ест, помногу почивает. Еще ни разу не был на рыбной ловле, не бродил по окрестностям.

Да, откровенно говоря, ему никуда особенно и не хочется

ходить. Заглянул разок в здешний театр — поскучал, позевал, прикрывая рот ладонью. А то с Павлом Васильевичем Анненковым встретился — земляк и знакомец по Петербургу, не раз виделись у Белинского. Зазвал к себе, вдоволь наговорились за матушкиным — истинно волжским — обедом: стерляжья уха, вареная осетрина…

А Обломов — коснеет. Хоть запирайся, хоть не запирайся у себя на «вышке», а забарабанит в дверь кулачками, ввалится в комнату орда племянников, и он с удовольствием вскакивает из-за стола, бежит с ними в диванную, в гостиную, в сад. И Варвара Лукинична — тут же, около.

И потом, сколько лет он не отдыхал по-настоящему? Имеет же он право хоть здесь, дома у себя, забыться, покуролесить, почудить, «впасть в детство». Вон — колокольня, на которую он забирался, едва научась ходить, вон деревья, об которые изорвал в былые времена не один штанишки. Он и теперь в присутствии Вареньки до того иногда шалеет, что — ей-ей! — способен вскарабкаться на дерево или, накинув на себя простыню, испугать в темном месте кого-нибудь из прислуги. Или вот еще забава: раздобудет крынку варенья, набьет в карманы конфет и бежит скармливать все это дворовым детишкам.

Да и возможно ли оторваться от этой через край плещущей жизни для того, чтобы роман писать? Честно-то говоря, романы пишут от тоски по какой-то иной, лучшей судьбе, от недостаточности нынешнего состояния. А он сейчас и так счастлив.

Ему теперь не до Обломова и потому еще, что в голове — он обнаружил это нечаянно — забраживает исподволь иной, куда более живой, богатый действием замысел… Молодой столичный художник (живописец? скульптор? литератор? — пока неважно) навещает бабушку, живущую в старой усадьбе, над обрывистым берегом Волги. И встречает тут двух девушек, своих кузин. А он влюбчив…

Да, он, увы, оказывается, очень еще влюбчив — даже Варенька это заметила! Но и он — он тоже что-то замечает у нее в глазах. Но как тут быть, право, если они всякий день видятся раз по сто? А и не видятся, так, сидя у себя за рукописью, он то и дело слышит, и до шума в ушах его волнует этот шум и шорох ее платья за дверью. Куда прошла сейчас? К себе или к детям? И грезится: это его жена, это его дети… А он между тем незаметно дожил почти до сорока. И ни жены, ни детей. Итак, молодой художник приезжает погостить к бабушке, и здесь — две милые кузины… А он уже и не молодой. А она гувернантка. Гувернантка… и известный писатель?

Он не знал этого — и никак не мог теперь знать, — что к нынешнему лету, как к некоему твердому узлу, стянутся незримо нити всей его жизни — не только прошлой, но и той, что еще ему предстоит.

В середине июля, посылая отсюда письмо Майковым, он симбирскую свою родину назвал *благословенным уголком земли.* (Майковы знают, что слова эти — цитата из «Сна», где так именуется Обломовка.) Да и как же не «благословенный»? Не будь этого уголка, никогда бы не сложились у него в воображении Грачи. И за Обломова, разумеется, не принялся бы. Неясно, как и когда совладает он с этим вторым романом, но начало положено. Да и замысел третьего, только что народившийся из новых симбирских впечатлений, с каждой неделей все более загустевает.

Он не знал еще, конечно, что эти *три* — и есть почти все, что ему суждено и тем самым что ему нужно будет сказать за целую жизнь. Но уже было ясно, что эти *три* крепко-накрепко связываются в один узел, стягиваются в один угол — в этот вот, благословенный… Почему, кстати, «угол», «уголок»? Здешние пространства, раздольные землей и водой, никак ведь не производят впечатления какого-то стиснутого, зажатого отовсюду уголка. Может быть, потому угол, что отсюда, из малой точки, излилась когда-то его жизнь — сначала узким, еле заметным, но потом все более расширяющимся и рассеивающимся лучом, и теперь, чтобы он не рассеивался слишком уж широко, нужно хоть изредка возвращаться сюда, как можно ближе к исходной сердцевинке.

Как-то в давние годы, когда он, сидя на высоком симбирском берегу, глядел на светлое, искрящееся и волнующееся поле Волги, померцалось ему, что раз уж, по уверению крестного, земля кругла, то можно отсюда, от этой волжской взволнованной нивы, лежащей поперек земли, пойти на запад, и обойти весь круг, и выйти к тому берегу, что напротив, и увидеть оттуда родной Венец и город, и… и себя, маленького, ожидающего на этом берегу.

И ведь окажется однажды, что не зря ему померцалось, и что эта ниточка его детской грезы так же привяжется к единому узлу одним своим концом. А другим?.. Но сейчас он и об этом не догадывается. Да и мудрено бы догадаться. Это лишь в сказках, которые ему няня Аннушка рассказывала, возможны подобные путешествия по всему свету — верхом на печи сидя или вдогон за волшебным клубком.

….Аннушка живет теперь постоянно у Кирмаловых в Хухореве, но сестра и ее привезла в Симбирск. Старушка совсем

уже ослепла, так пусть хоть услышит Ванечку, обгладит его, прильнет к своему ненаглядному. Хотя ее широкое древнее лицо по-гомеровски пустоглазо, но по-прежнему проливается с этого лица на весь мир столько лучистой доброты, что спросить хочется сквозь слезы: да за что ж ты к нам всем так щедра, за что?..

«Трогательны были его беседы со слепой няней. Мне кажется, иногда он слов не находил, как бы нежнее ее назвать. «Голубка моя возлюбленная! Помнишь, какие волшебные сказки ворковала ты мне?..» И он поцелует голубку и погладит по голове. «Хочешь, я золотом засыплю тебя за них?» Старушка обидится и шепчет с укором: «Эх, Ваня, Ваня неразумный! На что мне твои деньги в могилу? Мне всего на свете дороже твоя любовь!» — и разрыдается до истерики». Так вспоминал о встречах писателя с Аннушкой Гавриил Потанин — будущий прозаик, а в те годы домашний учитель детей Николая Гончарова.

А между тем лето уже прошло, сентябрь был почти на исходе. Гостя зазывала в свое хухоревское имение старшая сестра — пусть хоть ненадолго приедет. Он навестил Хухорево и его обитателей. Живя здесь, с любопытством приглядывался к колоритной фигуре главы дома — Михаила Максимовича Кирмалова. По первому взгляду скажешь: закопченный лентяй и байбак. С перины не поднять его до позднего утра, пока солнце не напечет ему как следует затылок. Непонятно лишь, каким образом лежень этот успевает следить за обширным хозяйством, за плутоватым приказчиком, за ярмарочными ценами на пшеницу, ячмень и прочие злаки. Он скуповат, вдруг взял да и связал своих мужиков барщиной заместо прежнего оброка (не читал, знать, «Евгения Онегина»). Но в дому его постоянно обретается многочисленная семья каких-то приживальцев и приживалок, бедных родственников на третьем киселе, и каждый год, выезжая в губернский город, он целые сотни отваливает на разные благотворительные нужды. Как будто по всем статьям он преотличный семьянин, но в то же время слышно, что хухоревские мужички сильно серчают на своего барина: падок больно до здешних молодух. Изволь разберись в таком характере — сколько наворочено сразу и наспех сбито в один ком.

Чем ближе был день отъезда в Петербург, тем скучней делался Иван Александрович. Поработать в эти месяцы ему так почти и не удалось. А впереди — служба. Впереди зима, когда ему — он заметил это за собой — вообще хуже пишется. Нет у литератора более неприятного состояния, чем то, когда он знает за собой какой-то нравственный долг, и притом не пишется. Подобные состояния угнетают монотонной неотвязчивостью. Но как и что писать, если взрослый Обломов успел уже весьма

поблекнуть в глазах своего создателя? Скучный самому себе, он и на автора навевает какую-то скуку.

Правда, если судить строго, то Обломов тут все же ни при чем. Скуку эту гадкую Иван Александрович знает в лицо уже не первый год. Сколько раз, бывало, она на целые недели поселялась в его городском жилье, и тогда ему не хотелось никуда ходить, ни с кем видеться, а если и выбирался в гости, то сидел там насупленным молчуном, как какой-нибудь глуховатый дед на деревенских посиделках. Или он правда стареет и с возрастом портится у него характер? Или город этот казенный, климат этот гнусный все крепче ложатся серой печатью на его душу, привыкшую к простору земли, к солнцу, к жарким степным ветрам? Но более всего, кажется, вгоняет в тоску ежедневное лицезрение суеты — этой страшной эпидемии громадного города и нового — делового — века.

…Провожали его всем домом. Авдотья Матвеевна заказала напутственный молебен. Всегда сдержанная в выражении чувств, на этот раз она при расставании с сыном едва не упала в обморок — почуяла сердцем: в последний раз обнимаются. (Через полгода всего получит он из Симбирска скорбное: нету нашей мамы…)

Как будто были и еще женские слезы в день его отбытия. По крайней мере, в кирмаловской семье от родителей детям — и не в одном поколении — передавалось: Варенька Лукьянова, не сумев в тот прощальный миг скрыть чувства своего к Ивану Александровичу, будто бы разрыдалась и при всех кинулась к нему на шею с криком: «Ваня, Ваня!»

Через месяц он пришлет ей из Петербурга книги и весточку. Но увидятся вновь лишь через несколько лет. Варвара Лукинична переедет на постоянное жительство в Петербург, выйдет замуж. Гончаров поможет ей устроиться в столице — сначала классной дамой, а потом и начальницей Николаевского сиротского института. В свою очередь, Лукьянова в пожилые холостяцкие годы Ивана Александровича будет изредка исполнять его несложные поручения: присмотрит за квартирой и слугами в отсутствие хозяина, поможет советом при покупке вещей.

И все. Если и было когда-нибудь между ними взаимное и сильное чувство, то разгар его мог прийтись лишь на лето и осень 1849 года. Того самого года, к которому и так стянулось достаточно существенных событий в его писательской судьбе.

Иногда в посвященной Гончарову литературе его отношения с Варенькой Лукьяновой называют «первым сильным увлечением» писателя или даже «романом». Если «роман» и назревал, то оборвался он, как видим, едва начавшись, на первой, так сказать, главе. Скорее всего было лишь «сильное увлечение». «Первое» ли

в жизни почти сорокалетнего Ивана Александровича? О более ранних мы ничего не знаем. Но вряд ли автор «Обыкновенной истории», так достоверно и проникновенно описавший здесь различные фазы любовного чувства, имел об этом предмете лишь умозрительное понятие. Судя по всему, ко времени писания романа ему уже ведомы были и робкая юношеская влюбленность, и сильная молодая страсть, в непрочные увлечения, которые так и не разрешаются ничем, кроме легкой, необязательной полуигры. Что-то, по видимости, весьма сдерживало Гончарова и в отношениях, которые наметились у него в Симбирске с Варварой Лукьяновой. Но что именно? Думается, что в сердечном диалоге уже много испытавшего и сильно втянувшегося в холостяцкий стиль жизни писателя и молоденькой провинциальной гувернантки, чистой и пылкой, «голоса» были все-таки слишком неравны. Сила чувства возрастает от силы противостояния. Гончаров относился к тем мужчинам, которые, по собственному его признанию, склонны «любить горестно и трудно». На склоне лет в письме к своему молодому другу Анатолию Федоровичу Копи он признается: «я пережил несколько таких драм и выходил из них, правда, «небритый, бледный и худой»… Корчась в судорогах страсти, я не мог в то же время не замечать, как это все вместо взятое глупо и комично».

Вряд ли свое симбирское увлечение Гончаров относил к драмам такого рода. По крайней мере, выражение «горестно и трудно» по отношению к этой истории звучит явно не в тон.

Мы еще увидим, как по-настоящему горестно, трудно и мучительно умел он любить, когда сердце его надолго вырывалось из-под опеки рассудка и когда ему было уже совсем не до того, чтобы наблюдать, насколько происходящее с ним «глупо и комично».

Кругосветное плавание… Заговорили о нем как-то летом, у Майковых. Господи, да мало ли таких событий совершается чуть не каждый год: уплывают, приплывают, ему-то какое дело! Но сейчас была тут деталь, которая страшно разволновала, раззадорила Ивана Александровича и вдруг подтолкнула на необдуманную выходку.

Когда один из гостей в тот августовский день пришел с известием, что товарищ министра народного просвещения Норов предлагает Аполлону Майкову плыть вокруг света на военном фрегате «Паллада» в Японию, секретарем при начальнике экспедиции адмирале Путятине, в когда Аполлон — что за легкомыслие! — отказался, тут-то и распрямилась в сердце Гончарова какая-то долго-долго ждавшая своего срока пружинка.

Ах так?! Ну что же, и прекрасно. Если отказывается его ученик, тогда он сам будет проситься на «Палладу» секретарем!

Можно вообразить, сколько самого безобидного веселья породила эта его, как бы спросонья, невпопад брошенная реплика. Браво, де Лень! Вы слышали? Наш де Лень отправляется в кругосветный поход. Какая артистическая шутка!

Но нет, он не шутил сегодня. Тут не до шуток, тут подступила одна из тех вдохновенных минут, которых всего-то на целую жизнь отпущено каждому человеку, может быть, с полдюжины, не больше. «Я радостно содрогнулся, — вспомнит Гончаров позже, — при мысли: я буду в Китае, в Индии, переплыву океаны, ступлю ногою на те острова, где гуляет в первобытной простоте дикарь, посмотрю на эти чудеса… все мечты и надежды юности, сама юность воротилась ко мне. Скорей, скорее в путь!»

А может, еще больше, чем жажда повидать новые земли, толкала его сейчас мысль о романе: а вдруг путешествие и есть то единственное, что необходимо теперь его Обломову?

Несколько дней кряду он носился по городу — из учреждения в учреждение. Решено действовать через Норова, в министерстве у которого служит Аполлон. Авраам Сергеевич Норов — сам литератор, путешественник, он же — близкий друг начальника экспедиции адмирала Путятина, к Норову последний как раз и обратился с просьбой подыскать ему литературного секретаря.

Узнав о горячем желании Гончарова отправиться в плавание, Норов составил для него рекомендательное письмо к адмиралу. Но тут Иван Александрович получает пугающее известие: адмирал, оказывается, отбыл в Москву, а как лишь вернется оттуда, немедленно выйдет в море, курсом на Портсмут, не дожидаясь фрегата, который отправится несколько позже.

Теперь все зависело от его, Гончарова, расторопности. «Вчера, — пишет он 23 августа жене Михаила Языкова Екатерине Александровне, — я рыскал и по Васильевскому острову, и в Петергофе был, — словом, объехал почти вокруг света, все отыскивая моряка, да нет, и рекомендательное письмо товарища министра лежит у меня в кармане, уже значительно там позамаслившись».

Наконец встреча все-таки состоялась. И кажется, Гончаров произвел впечатление на адмирала, о привередливом, строптивом характере которого кое-что уже слышал. Путятин дал свое «добро» и обратился с ходатайством к министру финансов о назначении Гончарова секретарем на два года плавания.

До выхода «Паллады» из Кронштадта оставалось сорок дней. А нужно было еще провести по инстанциям целую груду бумаг,

касающихся его перевода с одной службы на другую. И прежде всего предстояло получить высочайшее соизволение на длительную заграничную командировку.

У Евгении Петровны, как ни увидит опа его, глаза были на мокром месте (после гибели Валерушки сильно сдала хозяйка майковского дома): а вдруг погибнет Иван Александрович в бурю? или съедят его дикие? или укусит змея?.. А если и не случится ничего такого, то привыкнет ли его организм к стужам и тропическим жарам? Переварит ли его желудок пищу, приготовляемую корабельным поваром? Как, наконец, будет он обходиться без книжных и журнальных новинок?

Он и сам иногда задумается, и то в жар, то в холод его бросит. Не погорячился ли, право? Вдруг распроститься с размеренной жизнью городского человека, с сотней привычек, маленьких слабостей! А кораблекрушения, которые в Мировом океане случаются чуть ли не каждый день? А отвратительная морская болезнь, что валит с ног даже бывалых моряков?.. А Обломов, а другой роман — о Художнике? Ведь и сейчас ясно, что на борту фрегата у него не будет времени заниматься ими.

Но ничего нельзя уже изменить.

У него и натура такая: даже к маленькой перемене в своем быту долго будет примеряться, приглядываться, привередничать, прежде чем согласится на нее. Но если уж что-то сдвинул сгоряча, сразу, то так и пойдет дальше, ни за что теперь не отступится.

В его жизни давным-давно не хватает какого-то резкого, до основания встряхивающего события. Пусть даже писание романов отложится. Нет худа без добра: зато он, глядишь, наберет матерьялу для книги о плавании, запасется впечатлениями на весь остаток дней своих. И потом, не такой уж он ленивец, каким его все изображают. «Кто меня знает, — пишет он той же Языковой, — тот не удивится моей решимости. Внезапные перемены составляют мой характер, и я никогда не бываю одинаков двух недель сряду, а если наружно и кажусь постоянен и верен своим привычкам и склонностям, так это от неподвижности форм, в которых заключена моя жизнь».

Наконец все необходимые бумаги справлены, вещи и книги собраны, друзья и приятели на прощанье расцелованы. Кронштадтскую гавань корабль покинул 7 октября.

Этот первый, в общем-то крошечный, отрезок пути едва не стал для Гончарова и последним. Трудно было придумать худшее морское крещение для новичка. За двадцать три дня плавания фрегат трижды попадал в сильные штормы, несколько раз проходил мимо разбитых и оставленных командой судов, один раз сел на мель, десять суток лавировал в Немецком море,

неудачно пытаясь войти в канал. То и дело припускал дождь со снегом, часто корабль погружался в туман. Вскоре на борту вспыхнула холерная эпидемия, от которой три матроса умерли. Еще один несчастный сорвался с мачты в воду и утонул.

Более всего Гончаров, естественно, опасался морской болезни. При первом же шторме он, глядя на страдающих матросов и офицеров, так взволновался, что закурил сигару. На что знакомый офицер заметил ему не без зависти:

— Вы курите сигару в качку и ожидаете после этого, что вас укачает: напрасно!

Час за часом, а его действительно все никак не укачивало. Кто-то объяснил: это потому, что у него, значит, очень низко расположена грудобрюшная перегородка.

Но все же штормовая погода и на него действовала удручающе. Нервы настолько возбуждались, что даже в сравнительно удобном помещении (до Портсмута он путешествовал в адмиральской каюте) невозможно было ни писать, ни читать, ни даже думать о чем-либо постороннем, не связанном с качкой. В довершение ко всему от холода и сырости у него разболелись зубы.

А тут еще постоянный топот бегущих матросов прямо над головой: убирают какой-нибудь парус или, наоборот, ставят. Команда, оказывается, собрана наспех, перед самым отплытием, с разных кораблей, поэтому с первых же дней плавания проводятся учебные маневры, стрельбы из пушек, не хватало еще и бессонницу заработать.

Правда, насчет сна он, как оказалось, напрасно беспокоится. Спалось ему на корабле преотлично, и об этом свидетельствовало следующее происшествие. Как-то после полуденного короткого почивания он сидел в кают-компании и в который уже раз жаловался на нервы.

За столом кто-то из офицеров спросил, зачем это в пять часов палили из пушки.

— Позвольте, из пушки? — полюбопытствовал он. — Почему же я ничего не слышал?

Вся кают-компания грохнула от смеха.

— А пушка-то рядом с вашей каютой!..

Однако что за странные у него нервы! То, бывало, не мог всю ночь глаз сомкнуть оттого, что в его городской квартире жужжит одна-единственная муха, а тут — надо же! — непробудно спит в штормы, под грохот тяжелого орудия. И аппетит от морского воздуха развился у него какой-то чудовищный. И как-то совсем уж стал забывать, что под полом его каюты — во время погрузки в Кронштадте выяснилось — загружено в трюм около восьмисот

пудов пороху.

Но все-таки еще до прибытия в Портсмут он переговорил с капитаном о своем намерении вернуться домой. Капитан не возражал, но, естественно, решающее слово будет за адмиралом.

В Лондоне, когда Гончаров прибыл сюда поездом из Портсмута, Путятин выслушал его просьбу не только без гнева или хотя бы раздражения, но даже с участием: «Лучше, конечно, воротиться теперь, чем заехать подальше и мучиться». Более того, адмирал был настолько любезен, что переговорил с русским посланником о возможности отправить его через Берлин и Варшаву за казенный счет. Иван Александрович отбыл в Портсмут за вещами. Но тут, при виде своего багажа, впал он в новое смятение. Да как же будет он тащиться через всю Европу, со станции на станцию, со всеми этими чемоданами, связками книг и ворохом бумаг?! Нет уж, легче плыть дальше вокруг света.

А тут адмирал как раз приехал и, узнав, что его литературный секретарь опять передумал, вновь не выказал ни гнева, ни даже раздражения; что касается зубной боли, то тропический климат для нее лучшее лекарство, и для нервов тоже; а покинь вы сейчас корабль, будете потом всю жизнь казниться, что отказались от такой великолепной экспедиции… И Иван Александрович с треском захлопнул разворошенные чемоданы и решительным таким маневром враз управился со своей рефлексией.

Да, пора уже ему было и за дело браться: темная от угольной копоти Англия, гигантский Лондон, веселое чудище железной дороги, военный корабль, в который втискивают паровую машину, магазины, музеи, памятники, толпы торопливых англичан — сколько материала для писателя! Надо немедленно приниматься за него, пока «Паллада» находится в сухом доке, где на нее устанавливают опреснительное устройство и добавочные пушки.

Русский фрегат простоял в доке почти два месяца. Спущенный на воду двадцать лет тому назад, теперь, в 1852 году, он, как выяснилось, был почти уже непригоден для дальнего и опасного плавания. В Портсмуте пришлось затеять самый настоящий капитальный ремонт: были заменены прогнившие балки и крепления, пришлось заделывать течи, укреплять мачты в гнездах, заново конопатить корпус.

Учитывая неблагоприятные сезонные ветра, адмирал решил изменить маршрут: не идти через Атлантику в направлении к Бразилии и мысу Горн, а спускаться вниз вдоль африканского побережья — курсом на мыс Доброй Надежды, с остановкой в

Капштате, и далее, через Индийский океан, к Зондскому проливу. Всеми этими серьезными обстоятельствами, похоже, и объяснялась сдержанная реакция Путятина на «капризы» его литературного секретаря.

Тем временем взбодрившийся писатель самым активным образом занялся группировкой английских впечатлений. Первонаперво отправил письма Майковым и Языковым. (Отныне на все время плавания установит он для себя правило: при первой возможности подробнейше отписывать своим петербургским друзьям о ходе экспедиции, о своем самочувствии, о всем, что запомнилось, привлекло внимание, поразило; чаще всего письма будет адресовать именно в эти два семейства — майковское и языковское, иногда — Юниньке Ефремовой, иногда — Ивану Льховскому, другу и сотруднику по службе в Министерстве финансов, одному из членов майковского литературно-художественного кружка; Майковых Гончаров сразу же просит: писем не давать никому, «а прятать до меня, потому что после я сам многое забуду, а это напомнит мне: быть может понадобится».)

Нечего и говорить, что самым сильным из первоначальных впечатлений плавания стало впечатление о *паре*, пришедшем на смену *парусу*. Установка паровой машины на военный английский парусник, которую Гончаров вместе со своими новыми товарищами наблюдал в портсмутском доке, на одних произвела впечатление неприятное, угнетающее, других, наоборот, воодушевила. Капитан «Паллады» — верный рыцарь парусного водоплавания, — тот по поводу хитроумной затеи англичан выражался без обиняков: «Черт бы драл эти пароходы!» Но были на фрегате люди, которые смотрели на дело с практической, а не с романтической стороны и потому появление пароходов приветствовали. Конечно, парусник красив, а при хорошем попутном ветре развивает скорость даже большую, чем пароход. Но зато последний идет по курсу при любом ветре, парусник же при неблагоприятных условиях становится фактически неуправляем. А как громоздка его привлекательная на вид, по страшно неудобная в употреблении оснастка!

Гончарову все эти доводы, особенно после десятидневного метания «Паллады» по Немецкому морю, казались вполне убедительными. Он — тоже за пароходы. «До паров еще, пожалуй, можно было не то что гордиться, а забавляться сознанием, что вот-де дошли до того, что плаваем себе да и только, но после пароходов на парусное судно совестно смотреть. Оно — точно старая кокетка, которая нарумянится, набелится, подденет десяток юбок, затянется в корсет, чтоб подействовать на

любовника, и на миг иногда успеет, но только явится молодость и свежесть — и все ее хлопоты пойдут к черту».

Словом, как бы кто из его товарищей по кораблю ни отнесся к этому решительному столкновению *паруса* и *пара*, каждому было ясно: событие это — не мелочь, тут не отделаешься злословием или криком «браво!», тут назревает нечто прямо-таки символическое, неминуемое, чреватое самыми решительными последствиями не только для одного мореплавания.

Недаром Иван Гончаров об этом столкновении сообщает на первых же страницах «Фрегата «Паллада». Тем самым он готовит читателя к восприятию основной смысловой антиномии всей книги. Ибо за частным противостоянием паруса и пара откроется более общее противостояние — двух грандиозных мироукладов, двух *возрастов* человеческой истории. Один из них — возраст наивного детства, восторженно-беспомощной молодости человечества, возраст поэзии, веры в чудеса, надежд и грез. Сейчас, в середине XIX столетия, все сроки этого возраста явно истекают.

На первый план истории все увереннее выступает «зрелость» человечества. Она заявляет о себе деловитостью, умным практицизмом, хозяйственным отношением ко всему подручному веществу земли, воды и воздуха. Любая материальная данность существует для того, чтобы извлечь из нее максимальную пользу. Нужно не подчиняться этим данностям, не любоваться ими, а приспосабливать их к собственным нуждам. А поэтому необходимо смело вторгаться во все несообразности имеющегося в наличии природного материала — изменять, подправлять, корректировать, усовершенствовать, ломать и перестраивать, разбирать на составные части и преобразовывать… Прокладывать дороги и мосты в неприступных горах. Разбивать сады в пустынях. Одевать обнаженных дикарей в европейские одежды. Увеличивать скорость сообщения между отдаленными материками. Налаживать постоянный обмен товарами в масштабах всего мира. Строить мануфактуры и заводы. Производить все больше и больше железа, механизмов, тканей, украшений, газет. Подтачивать *веру* во все чудесно-таинственное и взамен ее повсеместно вводить прочное и нерушимое *знание* о полезном, приятном и необходимом.

Можно восторгаться этими и другими проявлениями «зрелости», можно слегка иронизировать по их поводу (как, кстати, почти постоянно и поступает Гончаров), но нельзя не видеть, что дело приобретает оборот весьма серьезный. И потому: «Скорей же, скорей в путь!» — восклицает он. «Поэзия дальних странствий исчезает не по дням, а по часам. Мы, может быть,

последние путешественники, в смысле аргонавтов: на нас еще, по возвращении, взглянут с участием и завистью».

Право же, и ему, и его товарищам просто повезло, что они попали в этот узкий промежуток между историческими сменами! «Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства… Части света быстро сближаются между собой: из Европы в Америку — рукой подать; поговаривают, что будут ездить туда в сорок восемь часов — пуф, шутка, конечно, но современный пуф, намекающий на будущие гигантские успехи мореплавания». Словом, этот «пуф» на глазах перерастает в новый *миф* человечества.

Повезло ему как *свидетелю* и потому, что путешествие их фактически началось с Англии — с абсолютного полюса всемирной «зрелости». Именно такой открылась Англия Гончарову эа два месяца пребывания на острове. Практицизм рядового англичанина — эталон для деловых людей всего света. Ни в быту англичапина, ни тем более в его деятельности нет, кажется, ни одной бесполезно проведенной, не учтенной в общем балансе полезности минутки. Даже во всяком малом движении он распоряжается собой по принципу наибольшей пользы, выгоды и экономии. Всякий отрезок времени оценивает с точки зрения заполненности наибольшим количеством деловых отправлений. Выжимая все возможности из собственной натуры, англичанин в том же направлении действует и на природу окружающую.

«Какая там природа! — восклицает Гончаров, — ее пет, опа возделана до того, что все растет и живет по программе. Люди овладели ею и сглаживают ее зольные следы. Поля здесь расписные паркеты. С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и с быками. Траве дается вид, цвет и мягкость бархата. В поле не найдешь праздного клочка земли; в парке нет самородного куста. Все породисто здесь: овцы, лошади, быки, собаки, как мужчины и женщины».

Иногда кажется, что в подобных характеристиках гончаровская ирония сильно сгущена и граничит уже с тоном пасквиля. Но, впрочем, свои обобщения путешественник на всяком шагу подтверждает фактами. Взять хотя бы заботу англичанина об удобстве. Она достигает иногда смехотворных размеров: придумано паровое устройство, резко сократившее скорость приготовления котлет. И для ускоренного выведения цыплят также используется всемогущий пар. И для обогревания ног во время приема пищи изготовлено механическое устройство… В магазинах бесчисленное разнообразие всевозможных — не безделушек, нет! — деловых, полезных мелочей, способствующих комфорту, наращивающих количество

и качество удовольствий в жизни каждого покупателя.

Вообще английские магазины, английская торговля — вне всяких сравнений. Кажется, что здешняя торговля подавляет собою все другие виды деятельности передовой промышленной нации. «Здесь торговля есть жизнь», — обобщает Гончаров. Торговля в Англии — дело и удовольствие, серьезное занятие и одновременно увлекательнейшая игра, она успешно заменяет войну и любовь, она выше политики и философии, она — род новой — или очень-очень древней? — религии. Все имеет цену: начиная от вещи на витрине и кончая простым жестом. «Нет ни напрасного крика, пи лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно. Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин».

Даже непроизвольный сердечный порыв — жалости, великодушия, симпатии — англичанин старается регулировать и контролировать. «Кажется, честность, справедливость, сострадание добываются, как каменный уголь, так что в статистических таблицах можно рядом с итогом стальных вещей, бумажных тканей показывать, что вот таким-то законом, для той провинции или колонии, добыто столько-то правосудия, или для такого дела подбавлено в общественную массу материала для выработки тишины, смягчения нравов и т. п.».

Так Гончарову суждено было стать первым из русских писателей XIX века, которые трезво и нераболепно посмотрели на «зрелую» действительность европейской буржуазной цивилизации.

Но Англия — увидит он дальше — не кончается в Англии.

ОТ ЗАПАДА К ВОСТОКУ

Путь до мыса Доброй Надежды оказался едва ли не самым благополучным сравнительно с остальными отрезками плавания. Только вначале в открытом океане выдалась многодневная качка, да и то — по ощущениям новичка — вряд ли более сильная, чем в Немецком море. Впрочем, она выводила из строя очень многих — и офицеров, и матросов, и кока, а однажды — даже самого адмирала. Кажется, пока что на целом корабле морская болезнь щадила лишь двоих — писателя и священника, отца Аввакума.

Качка качкой, но надо было обживать новую каюту, рассовать по надежным местам вещи, книги. Тут здорово помогал Гончарову его молодой денщик по фамилии Фаддеев — расторопный, толковый и смешливый матрос из костромских мужиков. Похоже, что забота о «его высокоблагородии» составляла для Фаддеева род развлечения среди однообразных матросских обязанностей. Когда на корабле всем дают для умывания морскую воду, он изловчится и достанет Гончарову пресной. Когда в сильную качку тот, не умея еще ходить «по-морскому», отсиживается в каюте без обеда, денщик принесет ему миски с горячим. По многу раз на дню забежит узнать, не грустит ли, не надобно ли чего, а то расскажет потешную историю, случившуюся только что в матросском кубрике или на палубе. Звал он Гончарова на «ты» и вообще, похоже, относился к нему чуть снисходительно, как к младшему брату. Иван Александрович отвечал ему примерно тем же, но часто испытывал и чувство восхищения, глядя на Фаддеева: как невозмутим, ловок, самостоятелен; сколько достоинства в каждом жесте костромича, когда вступает в общение с иноземцами, будь то высокомерные англичане или простодушные обитатели острова Мадера.

Штормовые холодные ветра при подходе к этому острову сменились мягким затишьем. В середине зимы здесь цвели олеандры, ясный сухой воздух благоухал под стать ароматам различных сортов мадеры, которой гостей потчевали за столом у губернатора.

Послеполуденной сонливостью пустынных улиц, дремотой здешней сиесты Мадера живо напомнила Гончарову какой-нибудь русский провинциальный городишко или степную деревню. Одна лишь фигура то и дело с педантичным упорством возникала среди этого идиллического пейзажа: некто «в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках». Ба, и тут он, английский торговец! Ошибиться было невозможно: тот же холодный цепкий взгляд, те же рыжие бакенбарды — таких, Иван

Александрович то и дело встречал на улицах Лондона. Но что он делает здесь? Дегустирует местные вина? Наслаждается запахом цветов? Нет. Человек в черном фраке наблюдает, как местные жители, обливаясь потом, катят бочки с вином на пристань. Это *его* вино, *его* судно, *его* грузчики. Ничего, что Мадера принадлежит португальцам. Теперь здесь даже португальские блюда называются по-английски.

…Но вот остров остался за кормой, «Паллада», преодолев северный тропик, вошла в зону действия «вечного ветра» — пассата. Тут-то и наступил долгожданный отдых для всех, начиная от начальника экспедиции и кончая тринадцатилетним юнгой Мишей Лазаревым. Мальчик был сыном покойного адмирала Лазарева, у которого в свое время учились и Путятин, и капитан корабля Унковский, и некоторые другие офицеры «Паллады». Юнга стал общим любимцем команды. Специально для него еще в Кронштадте на фрегат был погружен рояль. Теперь, когда стихии наконец угомонились, Миша сможет возобновить свои уроки музыки. В другие свободные часы Гончаров занимается с ним — а заодно и с гардемаринами — русским языком.

В эти же дни он пишет первый законченный фрагмент будущей книги о кругосветном плавании. Очерк назван «Атлантический океан и остров Мадера». Впрочем, несмотря на прекрасную погоду, или, точнее, из-за прекрасной погоды, работать совсем не хочется. Какие дивные зрелища открываются с палубы, особенно по вечерам и по ночам! Однако пусть скажет об этом сам писатель, поднявшийся из каюты, чтобы подышать перед сном свежим воздухом: «…небо было свободно от туч и оттуда, как из отверстий какого-то озаренного светом храма, сверкали миллионы огней всеми красками радуги, как не сверкают звезды у нас никогда. Как страстно, горячо светят онiі Кажется, от них это так тепло по ночам! Эта вечно играющая и что-то будто говорящая на непонятном языке картина неба никогда не надоест глазам. Выйдешь из каюты на полчаса дохнуть ночным воздухом и простоишь в онемении два-три часа, не отрывая взгляда от неба, разве глаза невольно сами сомкнутся от усталости. Затверживаешь узор ближайших созвездий, смотришь на переливы этих зеленых, синих, кровавых огней, потом взгляд утонет в розовой пучине млечного пути, все хочется доискаться, на что намекает это мерцание, какой смысл выходит из этих, таинственных, непонятных речей? И уйдешь, не объяснив ничего, но уйдешь в каком-то чаду раздумья и на другой день жадно читаешь опять».

Глава «Фрегата «Паллада», из которой взято это возвышенное

описание ночи в тропиках, носит подзаголовок «(Письмо к В. П. Бенедиктову)». Прозаик в своих пейзажных картинах как бы соревнуется с поэтом: Бенедиктов, как известно, был в первую очередь популярен как автор романтически приподнятых, «роскошных» описаний природы.

Что ж, природа тропического моря такова, что вовсе не нуждается в том, чтобы ее «приподымать». Она сама действует на зрителя магически, помогая отвлечься от ежедневных забот и как бы подняться в иную, таинственную сферу, где перед ним, кажется, вот-вот распахнется заветная книга мироздания.

Но подолгу пребывать в таких восхищенных состояниях невозможно — слабое сознание человеческое не выдерживает. Да и потом — тут Гончаров вступает в полемику с поэтом-романтиком — обязательно ли гнаться куда-то на край света за «грандиозной» красотой? Природа везде прекрасна, и берег Финского залива где-нибудь в районе Петергофа в солнечное утро нисколько не уступит рассвету в Атлантике.

Больше же всего ему, Гончарову, по душе здесь дневные часы, когда палубу завесят от солнца тентом и корабль со всем его населением начинает смахивать на… Впрочем, лучше снова предоставить слово самому путешественнику: «В этом спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии фрегат припимает вид какой-то отдаленной степной русской деревни. Встанешь утром, никуда не спеша, с полным равновесием в силах души, с отличным здоровьем, с свежей головой и аппетитом, выльешь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу. Солнце уж высоко; жар палит: в деревне вы не пойдете в этот час ни рожь посмотреть, ни на гумно. Вы сидите иод защитой маркизы на балконе, и все прячется под кров, даже птицы, только стрекозы отважно реют над колосьями. И мы прячемся под растянутым тентом, отворив настежь окна и двери кают. Ветерок чуть-чуть веет, ласково освежая лицо и открытую грудь. Матросы уже отобедали (они обедают рано, до полудня, как и в деревне, после утренних работ) и группами сидят или лежат между пушек. Иные шьют белье, платье, сапоги, тихо мурлыча песенку; с бака слышатся удары молотка но наковальне. Петухи поют, и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмятежности. Слышатся еще какие-то фантастические звуки, как будто отдаленный, едва уловимый ухом звон колоколов… Чуткое воображение, полное грез и ожиданий, создает среди безмолвия эти звуки, а на фоне этой синевы небес какие-то отдаленные образы…»

Где-то в бескрайнем мире, над ласково сияющими безднами

затерялась малая горстка русских людей; забылось, кто кому подчинен и кто над кем начальствует, отложены попечения и заботы, все сошлись в семейный круг для какого-то тихого, бессловесного собеседования… Может быть, через час или через сутки налетит ветер, размечет этот круг, кого-то навсегда вырвет из него, а кого-то столкнет друг с другом в приступе отчаянья и смуты… Как же надо дорожить русскому человеку этими часами соборной тишины! Скоро ли еще все так сойдутся? И сойдутся ли *все*?

Вот, кажется, одно из тех состояний природы и души человеческой, которые наиболее близки Гончарову как наблюдателю и одновременно участнику.

В таких состояниях нет ничего чрезмерного, преизбыточного. И человек и природа видят друг друга как в ясном, незамутненном зеркале. Чрезмерного, в чем бы оно ни проявлялось, Гончаров не любит и не принимает. В этом смысле показательно его поведение во время бури, застигшей фрегат уже и Индийском океане. Эпизод с «классическим штормом» — одно из наиболее цитируемых мест в биографической литературе, посвященной Гончарову. Его сухая и категорическая реплика на приглашение капитана полюбоваться картиной шторма: «Безобразие, беспорядок!» — обычно трактуется как выпад против литературного романтизма или как свидетельство своего рода «черствости» писателя. Но так ли?! «Ведь бури, бешеные страсти, — утверждает Гончаров, — не норма природы и жизни, а только переходный момент, беспорядок и зло, процесс творчества, черная работа — для выделки спокойствия и счастия в лаборатории природы…»

Красота, по Гончарову, прежде всего в мере. Не в судорогах и изломах водной или любой иной стихии, не в смятении и неистовстве, а в глубоком ровном дыхании, исполненном чистоты и покоя. Здесь мы можем уже говорить не просто о человеческих вкусах и пристрастиях писателя, но о его эстетических представлениях о прекрасном и безобразном. И более того — о его взглядах на смысл миротворения. Пусть картинами насилия и хаоса восхищаются нетрезвые души, пусть одержимо вопят, захлебываясь собственным энтузиазмом. Его на этой пене не проведешь! Вот когда природа перебесится, когда все в ней отстоится, отцедится, тогда-то он и выйдет полюбоваться образом истинной красоты.

В Саймонсбее (24 мили от Кейптауна) «Паллада» снова долго чинилась: заменяли гнилые части обшивки, проконопачивали весь корпус снаружи и внутри. Ремонтные работы растянулись на месяц. Группа офицеров, к которой присоединился и Гончаров,

получила возможность проникнуть в глубь Африканского континента. Из Кейптауна ехали в экипаже дорогой, недавно построенной в горах черными невольниками. Один из спутников Гончарова фотографировал представителей местных племен для этнографического альбома, другие собирали редкие минералы, образцы фауны и флоры. Иван Александрович посетил три тюрьмы, где содержали пленных кафров, готтентотов, бушменов, встречался с пленным кафрским вождем Сейоло. Несмотря на аккуратную европейскую наружность маленьких попутных городков и селений с их отелями, магазинами и аптеками, чувствовалось: за этим благополучием таится трагедия. Колонизаторы — среди них и здесь активнее всех вели себя англичане — успеха пока что добиваются лишь с помощью оружия.

За месяц пребывания в Африке Гончаров изучил целую библиотечку книг, посвященных прошлому края. Эти сведения он потом использует в историческом очерке Капской колонии. Говоря о многовековой войне между белыми и местными племенами, путешественник приходит к выводу достаточно скептическому: «Этому долго не будет конца. Силой с ними ничего не сделаешь. Они подчинятся со временем, когда выучатся наряжаться, пить вино, увлекутся роскошью. Их победят не порохом, а комфортом». История показала, что «они» все же не подчинились.

Уже третья остановка «Паллады» за пределами Европы (после Мадеры заходили на острова Зеленого Мыса), а настоящей первозданной жизни путешественники, в общем-то, еще не видели. Да и увидят ли впереди, если везде, где бы ни высаживались, хозяйничает все тот же, будто прессом отштампованный европеец в черном фраке? «Путешествия утратили чудесный характер, — записывает Гончаров. — Все подходит под какой-то прозаический уровень».

В письмах, которые он шлет в Петербург, иногда сквозят разочарование, усталость. Однообразие морских пейзажей как-то подтачивает представление о реальности преодолеваемого пространства. Казалось бы, совсем недавно покинуты скалистые берега Африки, а вот уже впереди острова Индонезийского архипелага. Вообще все путешествие до странности похоже на сон: «не верится мне что-то в эти океаны, в эту Яву, Суматру, не верится потому, что переходы морские как-то незаметны».

Стихия сна из субъективного авторского ощущения разрастается на страницах «Фрегата «Паллада» в многосложный, чрезвычайно емкий образ. Ходовую для тех времен метафору «дремлющий Восток» Гончаров обыгрывает на десятки ладов.

Небо сонное, море спящее, земля дремлющая: и люди, конечно же, спят, дремлют, пребывают в каком-то забытьи; «индиец, растянувшись в лодке, спит, подставляя под лучи то один, то другой бок»; «малаец лежит на циновке»; даже часовые с ружьями ползают, «как сонные мухи».

Азия — словно некая на тысячи миль распростершаяся Обломовка. Но если присмотреться, это у него вовсе не сатирический образ. «Сонное царство» Востока постепенно проявляется в книге как своеобразная форма самосохранения, пассивного противостояния инородному напору.

…После основательного шторма в Индийском океане старая «Паллада» оказалась в аварийном состоянии. С первой же большой стоянки Путятин шлет в Петербург офицера с просьбой снарядить новый фрегат, на котором можно было бы завершить экспедицию. Скрывая от своих друзей истинное положение дел, Гончаров в одном из писем все же вынужден полушутя признаться, что корабль «течет как решето». «Между тем мы идем в самые сомнительные, малоизвестные и ураганистые моря».

Теперь стоянки по необходимости становятся чаще: Анжер, Сингапур, Гонконг… Душную тропическую весну сменяет еще более душное лето. Малайцы, индусы, китайцы, армянские купцы… На стоянках фрегат с утра до ночи облеплен лодками мелких торговцев, его каюты завалены грудами ананасов и кокосовых орехов, бананов и плодов манго, похожих на крупную желтую сливу.

В Сингапуре Гончаров впервые увидел, как в отеле англичане и американцы, садясь в кресло, кладут ноги на стол.

Здесь же, в порту, русские осматривали устройство китайской джонки. В городе на вопрос, имеются ли тут слоны, кули ответил, что есть всего один, но посмотреть его нельзя, потому что он работает на сахарном заводе.

В китайском квартале заходили в грязные лавочки, над которыми торчала надпись по-английски, свидетельствующая о дозволенной продаже опиума.

Посетили буддийскую кумирню и капище индусов. Проезжали мимо европейских дач и вилл, с архитектурой почти такой же, как в Лондоне или Кейптауне.

Вот, оказывается, какова современная экзотика: она не в дикой нетронутости природной жизни отдаленных народов, а в насильственном и чаще всего безвкусном смешении местного и привозного стилей. И чем дальше от Запада к Востоку, тем это смешение резче бросается в глаза. Европеец все агрессивнее навязывает аборигену свою «просветительскую» программу. Податливый абориген в чем-то как будто подчиняется. Но по

улице мимо высокомерного европейца он проплывает все той же лениво-величественной, поистине царственной походкой, какою ходят здесь люди от сотворения света. А те, что сюда, по замечанию Гончарова, «стеклись с разных концов мира «для стяжаний», надолго пе задерживаются: быстро утомляет их заданный самим себе темп, жадность к восточной роскоши. Но на смену летят другие. Переборет ли Запад, устоит ли Восток?

Волны цивилизации одна за одной катят от своего европейского полюса и, рано или поздно, должны докатить до самых отдаленных земель и народов. Вот ведь и «Паллада» не просто так, не ради прогулки столько уже месяцев скрипит через моря и океаны в надежде добраться до Японии. «До тридесятого царства», — как в шутку называет Гончаров цель миссии.

Миссия эта вряд ли будет простой. Сколько раз пытались европейцы «распечатать» Японию, втянуть ее в торговые связи с остальным миром, а ничего путного из этих намерений не выходило. Подозрительные островитяне не желают ни с кем знаться. Даже от ближайших соседей — китайцев — держатся особняком. А Россия для них и вовсе небывальщина. Но Япония на русском Востоке — сосед серьезный, и нехорошо, если сроки будут упущены и сосед этот сделается враждебным. На борту «Паллады» известно, что американцы уже предпринимают попытку завязать торговые сношения с островитянами: по направлению к Японии под всеми парусами (а может быть, на всех парах?) движется эскадра командора Перри. У адмирала Путятина полномочия сложные — и дипломата, и торгового эмиссара. Кто успеет первым, кто поведет себя умней, тот приобретет в японцах если не союзника, то хотя бы толкового партнера. Политика не любит пустых, незанятых, мест, белых пятен, половинчатых ситуаций. России нужно постоянно заботиться о своих азиатских соседях. Особенно сейчас, когда английские щупальца простерлись по всему Востоку.

К тому же с каждым днем на борт «Паллады» поступают все более тревожные сведения о политической ситуации в Европе. До предела обострились отношения России с Турцией. Даже не читая британских газет, по одному лишь поведению здешних англичан видно, чью сторону в русско-турецком конфликте займет «царица морей». Сообщение о разрыве дипломатических отношений с Великобританией и о начале войны можно ожидать в любой день. И тогда вряд ли удастся избежать столкновения с сильной английской эскадрой, рассредоточенной в китайских портах… Еще и поэтому нужно изо всех сил спешить к берегам Японии.

Во время стоянки у островов Бонин-Сима к фрегату присоединились три русских военных корабля, поджидавших

«Палладу» в водах Тихого океана, — транспорт «Князь Меншиков», корвет «Оливуца» и шхуна «Восток». Через пять суток после того, как покинули Бонин-Сима, маленькая русская эскадра вошла в бухту Нагасаки.

«Тридесятое государство», каким оно предстало сейчас перед Гончаровым, и правда было погружено в атмосферу если не сказки, то какого-то старинного театрального действа. Здесь впервые за все десять месяцев плавания он не увидел той эклектической экзотики, которая сначала озадачивала, а потом и раздражала его по мере продвижения на восток. В Японии «местный колорит» сохранялся в чистейшем виде. Ни в одежде обитателей Нагасаки, ни в архитектуре их. жилищ, ни в характере возделывания земли, ни даже в безделушках — ни в чем не было и намека на подражание европейским образцам. Поведением японских чиновников, которые по поручению здешнего губернатора каждый почти день навещали фрегат для выработки условий будущих переговоров, можно было любоваться, как оперным или балетным представлением. Церемониально-ритуальная сторона их поведения озадачивала тонкостью и обилием мимических, интонационных, приемов.

Японцы — с первых же дней стало ясно — «тянут резину». Только на составление церемониала встречи нагасакского губернатора с русским посланником потрачен был целый месяц (на «Палладе» не знали еще, что в это время японское правительство, напуганное военной угрозой командора Перри, уже склонялось к тому, чтобы заключать торговый договор со Штатами).

Еще два месяца ушло на сношения губернаторских посланников с верховными властями в Эдо. Известие, привезенное из столицы, не содержало ничего определенного: четверо полномочных едут в Нагасаки на свидание и переговоры с адмиралом. Но какие у них полномочия? Уже едут или только собираются?.. Похоже было по всему, что время потеряно зря.

В письмах, дневниках, а позднее «Фрегате «Паллада» Гончаров часто не скрывает возмущения этой тактикой проволочек и лавирования. Но по-человечески ему понятны трудности, переживаемые хозяевами острова: «Иностранцы постучались в их заветные ворота с двух сторон. Пришел и их черед практически решать вопрос: *пускать* или *не пускать* европейцев, а это все равно для японцев, что быть или не быть. Пустить — гости опять принесут свою веру, свои идеи, обычаи, уставы, товары и пороки. Не пускать… но их и теперь четыре судна, а пожалуй, придет и десять, все с длинными пушками. А у

них самих недлинные, и без станков, или на соломенных станках. Есть еще ружья с фитилями, сабли, даже по две за поясом у каждого, и отличные… да что с этими игрушками сделаешь?»

Но, может быть, японцы лишь прикидываются сонными, ко всему равнодушными, этакими одряхлелыми детьми? Ведь в них так много живости, сообразительности, юмора и ума.

По установившейся уже привычке подмечать в поведении, в быту чужеземцев черты, сходные с тем, что видел с самого детства у себя в России, Гончаров и тут, на улицах и в домах Нагасаки, то и дело обнаруживает занятные соответствия. Обилие слуг и вообще всякой дворни, расположившейся у ног знатного феодала, поражает его сходством с привычками старых русских бар и барынь. Глядя на японца, задрапировавшего волнами материи свое ленивое тело, он невольно вспоминает об Обломове и его просторном восточном халате.

Но особенно запомнился один из высокопоставленных японских, чиновников. «Мы так и впились в него глазами: старик очаровал нас с первого раза: такие старички есть везде, у всех наций. Морщины лучами окружали глаза и губы; в глазах, голосе, во всех чертах светилась старческая, умная и приветливая доброта — плод долгой жизни и практической мудрости. Всякому, кто ни увидит этого старичка, захотелось бы выбрать его в дедушки».

Переговоры продвигались черепашьим ходом, а между тем международная обстановка заставляла русскую сторону быть начеку. Не дожидаясь прибытия полномочных из Эдо, Путятин И ноября 1853 года увел эскадру с нагасакского рейда в направлении Шанхая. Незадолго до отплытия Гончаров пишет Майковым: «Если правда, что в Европе война, то нам придется тоже уходить на время отсюда или в Ситх, у или в Калифорнию, иначе англичане, пожалуй, возьмут нас живьем. А у нас поговаривают, что живьем не отдадутся, — и если нужно, то будут биться, слышь, до последней капли крови».

Как уже говорилось выше, Гончаров лишь изредка сообщает сбоим петербургским друзьям подробности такого рода. Еще в меньшем количестве вошли они в текст «Фрегата «Паллада». По замечанию одного из исследователей этой книги, Б. М. Энгельгардта, писатель и не ставил перед собой целью изобразить все тяготы путешествия на обветшалом корабле, да еще в условиях надвигающейся войны. Основною, считает Энгельгардт, была цель литературно-полемическая: борьба с романтическим штампом в описании дальних стран, их природы, быта.

Нельзя безоговорочно принять такую оценку «Фрегата «Паллада». Авторская установка в этой книге далеко не

исчерпывается задачей «преодоления романтизма». Гончаровское «путешествие» для русской литературы XIX века не только эталон реалистической повествовательной прозы, но и уникальная в своем роде хроника политико-экономических процессов, меняющих облик всей планеты. Обстоятельства гончаровской одиссеи, несмотря на массу опасностей, складывались все же на редкость счастливо. Писателю привелось наблюдать целый ряд выразительнейших эпизодов экспансии лидеров мирового капитализма в африканском и азиатском направлениях. После Англии и Капской колонии, после Сингапура и Гонконга, после «неприступной» Японии впереди будут еще Китай, снова Япония, потом Ликейские острова, испанская Манила, берега Кореи.

Несколько дней, проведенные Гончаровым в Шанхае, решительно дополнили в его сознании картину глобального нашествия «рыжих; варваров» — так называет он агентов английского колониализма.

Бесстыдство их «доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд!» — возмущенно записывает Гончаров в главе «Шанхай». Оказывается, если в начале XIX века европейцы ввозили в Китай товаров на сумму около пятнадцати миллионов серебром и опиум из этой суммы составлял не более четверти, то с тех пор в торговле опиумом достигнут внушительный прогресс. В начале 40-х годов общий импорт увеличился до тридцати миллионов. Причем из них на долю опиума приходилось уже четыре пятых. Теперь же, в 1853 году, сообщает Гончаров, «гораздо больше привозится в один Шанхай».

Опиум поставляют из Индии, где на громадных плантациях специально засевается мак. В дело втянуты тысячи людей, десятки торговых домов, целый флот. Но торговля ведется тайно. Британское правительство — запевала международного гуманизма, — естественно, стоит выше дрязг с наркотиками и обвиняет в попустительство китайскую сторону.

На улицах опиумной столицы англичане ведут себя вызывающе, грубят, рукоприкладствуют. Китайцы не смеют ответить даже словом возмущения. «Не знаю, кто из них кого мог бы цивилизовать: не китайцы ли англичан, своею вежливостью, кротостью», — спрашивает писатель.

…После вторичного посещения Нагасаки «Паллада» по пути к Маниле бросила якорь у Ликейских островов. Гончаров с некоторым предубеждением смотрел на берега, поросшие тенистой тропической растительностью. Накануне он полистал том путешествий англичанина Базиля Галля, сорок лет назад первым из европейцев посетившего эти острова. По Галлю

выходило, что тут царит полнейшая идиллия, подобие золотого века. Много насмотревшийся за год плавания Гончаров имел все основания не доверять такого рода характеристикам.

Однако увиденное здесь, в Ликейе, как будто расшатало его скептицизм.

Поразительна была уже первая встреча с местными жителями. «На берегу нас приветствовали какие-то длиннобородые старики, с посохами в руках, с глубокими поклонами, с плодами… вспомнишь не то Феокрита, не то Галлера (швейцарский ученый и поэт XVIII века. — *Ю. Л.*), не то русскую сказку о стране, где текут реки меда и молока».

Чем дальше в глубь острова проникали путешественники, тем больше удивлялись: чистоте улиц и маленьких домиков, огороженных кусками кораллов; аккуратности нив и полей, похожих издали на разноцветные заплаты; благообразию и красоте здешних обитателей. Там и тут журчат в тени серебристые ручьи и обрываются небольшими звучными каскадами. Лесные заросли напоминают любовно ухоженные сады, а сады, в свою очередь, растут с неприхотливостью диких лесов. Иногда на дороге, в разрывах деревьев открываются панорамы лугов и полей, окруженных, зелеными пышными кущами.

У старцеп, которые стоят возле своих хижин, серьезные, исполненные достоинства лица, просторные, легкие одежды, спокойные жесты. Женщины и дети, как и положено, застенчивы.

Хижины настолько просты по архитектуре, что, кажется, здесь не бывает ни бурь, ни стужи, ни страшных гроз. Но простота жилищ не означает, что жители не умеют строить. Вот одноарочный мост, перекинутый через поток, он сотворен из мощных коралловых плит. Сотворен как бы играючи: смотрите, мол, мы и так умеем.

Говорят, что они питаются только овощами, что и их предки питались всегда только овощами. Петухов и кур держат лишь для забавы (или, может быть, для жертвоприношений?). Величавость поведения ликейцев позволяет догадываться о высоте их религиозных воззрений.

Неужели наконец повезло путешественнику, который уже отчаялся в поисках хоть каких-то следов естественного существования? Да, похоже, что так! «Это единственный уцелевший клочок древнего мира, — записывает Гончаров. — Это не дикари, а народ — пастыри, питающиеся от стад своих… Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили

две тысячи лет назад, без перемены. Люди, страсти, дела — все просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. Книг, пороху и другого подобного разврата нет. Посмотрим, что будет дальше. Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?»

Ликейские острова на карте путешествия Гончарова — место знаменательное, почти символ. В каждом путешественнике, будь то древние Одиссей и Эней, средневековые паломники или трезвые литераторы и ученые нового времени, теплится вера в реальность «блаженных островов» — затерянного, забытого всеми, но целого и доныне пристанища, где не сеют, не жнут, не страдают, не старятся… Такое место должно существовать не только в подтверждение легенд и сказок человечества, но и как укор остальному миру, как доказательство того, что человек способен жить свято и безгрешно, даже не прилагая к тому никаких усилий. Цивилизация обещает создание земного блаженства с помощью воздействия на весь природный мир. Она обещает предоставить человеку разнообразнейшие удобства, комфорт телесный и духовный. Но почти каждый практический шаг в этом направлении, как бы ни был впечатляющ, неминуемо приносит новые страдания, болезни. Может быть, цивилизация — не более как хитроумная пародия на древнее предание о блаженной жизни? Но тогда Ликейские острова должны торчать у нее бельмом на глазу. Ибо уголок этот — самая настоящая антицивилизация, полярная противоположность «гуманного» европеизма. Итак, выстоят «блаженные острова» или их ждет участь всего Востока?

Поздно! — чуть ли пе с досадой восклицает путешественник. Поздно.

Оказывается: всего два дня назад — БЫЛИ!.. Правда, на сей раз не англичане, но суть от этого не меняется. Два дня назад здесь был командор Перри с американской эскадрой и взял Ликейские острова под *свое покровительство!'*..

Но если с военной миссией Ликейю посетили только что, то учитель духовный, как выяснилось, пребывает на острове уже восемь лет. «На другой день, 2-го февраля, мы только собрались было на берег, как явился к нам английский миссионер Беттельгейм, худощавый человек, с еврейской физиономией, не с бледным, а с выцветшим лицом, с руками, похожими немного на птичьи когти; большой говорун. В нем не было ничего привлекательного, да и в разговоре его, в тоне, в рассказах, в приветствиях была какая-то сухость, скрытность, что-то нерасполагающее в его пользу».

О ликейцах, как и следовало ожидать, Беттельгейм отозвался плохо: у них предостаточно пороков — и пьют, и в какие-то игры играют, и недружелюбны, и сплетники, и невежественны, и грубы. Недавно даже одного миссионера поколотили (его самого и поколотили, как выяснилось, — Беттельгейма)…

Кажется, миссионер понимает, что он тут лишний. Но ощущение неудачи еще более распаляет гордого пришельца.

…О Ликейя, Ликейя, скоро и до тебя доберутся черные фраки! Расковыряют твои холмы в поисках каменного угля (по Гончарову, самый драгоценный минерал XIX века) или просто станут за деньги показывать твой рай в качестве аттракциона туристам обоих полушарий.

Какое все же грустное занятие: путешествовать по экзотическим странам!..

Еще в мае прошлого года, на стоянке в Анжере, Гончаров знал: если вместо «Паллады» не пришлют для продолжения экспедиции более прочный корабль, то ему домой «придется ворочаться Сибирью». Но тогда эта перспектива была еще очень неясной. Теперь же с каждым месяцем становилась все реальней. И не потому только, что невозможно возвращаться на расползающейся по швам «Палладе» в обход Американского континента. Следовать домой таким маршрутом (через Тихий и Атлантический океаны) нельзя было и в связи с назревавшей войной. Опасность военной угрозы со стороны англо-французских морских сил помешала Путятину произвести основательный ремонт фрегата в Маниле.

Простояв в бухте Манилы немногим более недели, «Паллада» вышла в открытое море. Медленно, соблюдая меры предосторожности, двигались на север. О том, что Англией и Францией объявлена война России, узнали с большим запозданием. После стоянки у корейского острова Гамильтон и краткого захода в Нагасаки фрегат вновь взял курс к корейским берегам. Теперь опять шли прямо на север, вдоль малоизученного восточного побережья Кореи. Почти сразу выяснилось, что старые, еще прошлого века, карты этих, мест не соответствуют действительности. Решено было произвести подробную береговую съемку. Открывались новые бухты, безымянные острова, мысы. Многим из них были даны названия в честь членов экипажа. Так появился на русской карте и небольшой островок, носящий имя Гончарова.

Громоздкая и кропотливая картографическая работа заняла около месяца. Съемки надо было производить в непосредственной близости от берегов. При туманах, во время волнений в любую минуту можно было наткнуться на подводные камни или

прибрежные скалы.

Съемка, к счастью, закончилась благополучно, но дни «Паллады» были уже сочтены.

В первой половине мая фрегат вошел в Татарский пролив, а 22-го числа стал на якорь в Императорской гавани. Началось размонтирование отслужившего свой срок корабля. Большую часть его команды адмирал перевел на только что прибывший фрегат «Диана», который должен был вновь отправиться к берегам Японии.

В это время Гончаров и обратился к адмиралу с просьбой освободить его от должности литературного секретаря, которая при нынешних военных обстоятельствах становится практически ненужной. Как ни хотел Путятин удержать при себе полюбившегося ему Ивана Александровича, но просьбу все же удовлетворил. С двумя другими офицерами Гончаров откомандировывался «сухим путем», или, как говорили моряки, «берегом», в Петербург. В рапорте морскому министру адмирал с самой лучшей стороны охарактеризовал деловые и личные качества своего секретаря — теперь уже бывшего.

Прощаясь со спутниками по морской одиссее, Иван Александрович замешкался было: нечем отдарить тех, кто остается… Разве что табаком? И выложил на стол кают-компании три тысячи сигар, купленных про запас в Маниле. А обитателям одного из новых поселений в Татарском проливе подарил все книги своей походной библиотеки.

Сперва на шхуне «Восток» следовали до Николаевского поста, где взяли на борт генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьева, только что успешно завершившего экспедицию по обследованию Амура. Знакомство с этим незаурядным человеком на всю жизнь запечатлелось в памяти писателя. Пройдет тридцать три года после этой встречи, и Гончаров в очерке «По Восточной Сибири» скажет о Муравьеве-Амурском: «Какая энергия! Какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями… Небольшого роста, нервный, подвижной. Ни усталого взгляда, ни вялого движения я ни разу не видал у него. Это и боевой отважный боец, полный внутреннего огня и кипучести в речи, в движениях».

А тогда, на палубе «Востока», пока шхуна шла Охотским морем к поселению Аян, они подолгу беседовали о самом разном. Гончаров попросил рассказать о положении ссыльных декабристов. Муравьев говорил свободно, независимо. Он со многими знаком лично, нередко выезжает в близлежащие к Иркутску поселения, делает все от него зависящее, чтобы хоть

как-то облегчить участь невольников. Рассказывал о преобразованиях громадного края, о том, как мешают ему осуществлять задуманное столичные недоброжелатели. Там, «за хребтом», как называл он на сибирский манер Европейскую Россию, то и дело норовят вставить палки в колеса.

В Аяне путешественники разбились на три группы. Генерал-губернатор отбыл первым. От побережья дорога, а верней тропа, вела через Семигорье на Якутск. Говорили, что проложена она недавно (раньше ходили черев Охотск) и не военными людьми проложена, не добытчиками, а… якутским архиереем Иннокентием, который отсюда, из Аяна, добирался даже до Алеутских островов.

Иван Александрович дивился предприимчивости и энергии здешних, людей, но величина расстояний, которые предстоит преодолеть, приводила его иногда почти в ужас. Четыре тысячи верст до одного лишь Иркутска! А оттуда еще шесть тысяч!.. Эти цифры и в сознании с трудом умещались. Теперь, задним числом, морская часть пути казалась ему легкой и приятной прогулкой. Говорят, ехать надо будет верхом, а где и пешком идти. А ведь он к лошади с детства близко не подходил. Можно, говорят, еще на носилках, между двумя лошадьми, но так здесь перевозят лишь инвалидов… Пришлось Ивану Александровичу вскарабкиваться на лошадь. Через несколько дней притерпелся.

«Истинное путешествие в старинном трудном смысле, словом, подвиг, только с этого времени и началось», — писал он с дороги в Петербург. Действительно, обстановка похода напоминала о временах древних, когда лишь отвага и великая страсть побуждали людей покидать жилища и уходить в земли незнаемые. Сопки, тайга, бурные реки с каменистым дном, болота, горные перевалы — тут все еще было безымянным, неочеловеченным, и ум терялся от избытка впечатлений.

Течение в горных речках, оказывалось настолько сильным, что на противоположный берег лошадь с седоком выбиралась гораздо ниже того места, где вошла в воду. В болотах лошади вязли, проваливаясь по брюхо, иногда приходилось поворачивать назад и обходить топкие места, продираясь сквозь буреломы. Обувь все время была мокрой. Иван Александрович порой изнемогал до такой степени, что садился на какой-нибудь пень и решал про себя: дальше никуда уж «не пойдет.

С приближением осени по утрам стали прихватывать морозцы, и Гончаров с тревогой прислушивался к ревматическим болям в ногах.

Иногда ему не верилось: неужели это вот существо, неловко сидящее на лошади, обросшее щетиной, с опухшим лицом, с

потрескавшимися от ветра губами, в грязных, одеждах, которые насквозь пропахли дымом, болотной жижей и конским потом, — неужели это он, петербургский известный литератор и боящийся сквозняков чиновник? Ввались он сейчас, в таком виде, к примеру, к тем же Майковым, его и не узнают ни за что, а если узнают, то Евгения Петровна уж наверняка в обморок упадет… Хорошо еще, что он умеет посмотреть иногда на себя иронически — на свою большую и пространную физиономию, на брюхо свое, которое, несмотря на морские и сухопутные испытания, растет себе и растет. На корабле, бывало, по утрам обязательно кто-нибудь из приятелей-офицеров подойдет и молча дотронется пальцем до его живота — появилась ли, мол, прибавка? И сделает красноречивую мину: появилась… На всякий случай, чтобы не очень при встрече поразились, Иван Александрович пишет друзьям с дороги: от недостатка движения на корабле «выросло такое брюхо, что я одним этим мог бы сделаться достопримечательностью какого-нибудь губернского города». Но это он, конечно, сильно преувеличивает. Поглядели бы на него со стороны, как задумчиво едет по таежной тропе верхом на лошадке, как прилежно поднимается в цепочке путников по склону оледенелой Джугджур, как недвижно сидит в лодке, спускаясь вниз по течению Май, как невозмутимо спит в берестяной юрте или ест рябчика, только что поджаренного на костре, — поглядели бы и сказали невольно: до чего ж молодец этот русский писатель, сорок лет просидевший сиднем дома и вдруг смело пустившийся по морским и земным хлябям с замыслом, да еще с каким! — *«Путешествие вокруг света, в 12 томах, с планами, чертежами, картой Японских, берегов, с изображением порта Джексона, костюмов и портретов жителей Океании И. Обломова».*

Пусть не 12 томов, пусть без карт и изображений костюмов, и автор не «И. Обломов», а сам он, но все-таки сумку, плотно набитую тетрадями (многие очерки уже вчерне готовы), он с собою везет, все время чувствуя ее тяжесть на боку, под рукой. И дай бог ему довезти ее до дому, не разболеться в пути, не поскользнуться на ледяных уклонах перевала, не потеряться среди безымянных сопок и речек, не потерять внутреннего спокойствия.

В Якутске Гончаров задержался более чем на два месяца: пришлось дожидаться зимней дороги, то есть времени, когда Лена замерзнет. Впрочем, о задержке путешественник не жалел. Сколько интересных знакомств ожидало его в маленьком деревянном городке! Здесь открылся ему во всем своем богатстве тип рядового русского сибиряка — пионера дикой, почти еще

первобытной природы. Гончаров беседовал с купцами и инженерами, добытчиками пушнины и даже… землепашцами. Да, да, к своему удивлению, еще не доезжая Якутска, увидел он среди примелькавшейся таежной хмури ослепительно золотящиеся нивы. Пшеница?! А на луговой пойме обочь городка мирно паслось стадо не оленей, нет, — коров и баранов.

По установившейся привычке он прежде всего постарался обзавестись книгами, посвященными новому для него краю. Читал, делал выписки, сравнивал с увиденным. Причем с увиденным не только в Сибири, но и во время плавания. Приятно поразился, узнав, что на всем громадном пространстве к востоку от Якутска запрещена продажа вина. Невольно вспомнилась опиумная флотилия у стен Шанхая.

Познакомившись лично с преосвященным Иннокентием Вениаминовым (тем самым, что проложил тракт от Якутска до Аяна), Гончаров открыл для себя, какую, оказывается, громадную работу проделали и сейчас продолжают здесь, в Восточной Сибири, русские просвещенные люди. Составлен алфавит для якутов, подготавливается якутская грамматика. Составлены также грамматика тунгусского языка и тунгусско-русский словарь, включающий несколько тысяч слов. Сам Иннокентий издал алеутский и алеутско-кадьякский буквари.

И при всем том эти люди говорят о своей деятельности как о чем-то само собой разумеющемся, заурядном. Они проникают в самые отдаленные области континента, знакомятся с местными племенами, прокладывают дороги, возводят деревянные мосты над топями, спят на снегу в сорокаградусные морозы. «Американец или англичанин какой-нибудь, — сравнивает Гончаров, — съездит, с толпой слуг, дикарей с ружьями, с палаткой, куда-нибудь в горы, убьет медведя — и весь свет знает и кричит о нем!»

…Лишь в конце ноября выехал Гончаров из Якутска. На дорогу щедро снабдили его провизией, в том числе замороженными в кубиках щами и мороженными пельменями, струганиной. Не без посторонней помощи путешественник обрядился в здоровенный малахай, в торбаса, в заячью шубку, в доху из шерсти горного коала; к тому же на санях закутали его в медвежьи шкуры.

И — еще три тысячи верст пути… Он потерял счет станциям, малым поселкам. Ехали то Леной, то пойменными лугами, изредка углублялись ненадолго в лиственничные леса. Вот и морозы подскочили к четвертому десятку. Запеленатый в полдюжины шкур, Иван Александрович не мерз, только лицо нещадно секло ветром, снежной пылью. До Иркутска оставалось

пятьсот верст, когда он обнаружил, что лицо сильно поморожено. На станциях велел гнать что есть мочи, и расстояние это одолели — никогда бы на слух не поверил — всего в двое суток.

«В самую заутреню Рождества Христова я въехал в город. Опухоль в лице была нестерпимая. Вот уж третий день я здесь, а Иркутска не видал. Теперь уже — до свидания».

Такими словами закончит Гончаров «Фрегат «Паллада». От столицы Восточной Сибири до конечного пункта его странствия еще мчать и мчать. Но ему не хочется в эти дни думать ни о предстоящем пути, ни о времени, которое надо будет на него затратить. Как старого знакомого встречает его Николай Николаевич Муравьев. Во время пребывания в Иркутске Гончаров посещает князя Сергея Григорьевича Волконского и его супругу Марию Николаевну. В очерке «По Восточной Сибири» он напишет: «я перебывал у всех декабристов, у Волконских, у Трубецких, у Якушкина и других». С сыном Волконских, двадцатидвухлетним Михаилом, Гончаров познакомился немного раньше, на амурской стоянке. Через много лет они увидятся еще раз, но не в России, а в одном из западноевропейских курортов, где Волконский-сын будет сопровождать своего родителя — разбитого болезнью старца.

Никаких подробностей о встречах, и беседах с декабристами Гончаров не оставил — ни в письмах, ни в воспоминаниях. О том, что беседы были, и, судя по всему, продолжительные, свидетельствует отзыв С. Г. Волконского о писателе как об умном и увлекательном рассказчике. Этот отзыв содержится в письме, которое князь поручил путешественнику доставить в Москву, семейству Молчановых.

…Если от симбирского берега Волги идти все на запад и на запад — вдогон за разматывающимся волшебным клубком, — то когда-нибудь к той же самой родной реке выйдешь с противоположной стороны… Вспомнилась ли Ивану Александровичу эта давняя детская греза, когда увидел наконец осеребренный снегом Венец и столбы дыма над Симбирском? Никогда уже не услышит он голоса Авдотьи Матвеевны в просторном, слишком просторном теперь родительском доме. Отплыла и ее душа к неясной мете, остался лишь чистый сугробик в кладбищенском селенье.

Можно сказать, что, собственно, здесь, в Симбирске, и закончилось его более чем двухлетнее странствие. Оставшийся отрезок пути почти уже и не в счет. Тем более что от Москвы до Петербурга — наконец-то и Россия дождалась! — понесется он по железной колее. По дороге, которая стоила стране многих тысяч человеческих жизней.

Того, в честь кого она названа, уже нет в живых… Но война, которую он проиграл, еще догорает в Крыму… Дико взвывая в морозном мраке, мчит огненный колченогий оборотень. В его утробе за единый лишь миг сгорает целый эдем девственного леса. Но сравнительно с дилижансом, тарантасом каким-нибудь, не говоря уже о телеге, ехать удобно, очень удобно. Что и говорить, прогресс приятен, пока дыму мало. А его пока мало. Иногда лишь попадет в глаз путнику щекочущая угольная соринка — и все. Не плакать же из-за этого — проморгается.

Середина века в России наступила в 1855 году — в год смерти Николая, в год падения Севастополя, в год, когда в тысячах деревень оплакивали убиенных и надеялись на близкое дарование земли и воли… Землицы и волюшки.

…А оборотень-паровоз шипит в сугробистом коридоре лесов, озорно посвистывает, косясь на деревья: ничего, что я такой маленький, скоро я всех вас поем, превращу в черную горячую пыль…

К середине века вдруг «повзрослела» Россия. Капитализм наконец-то пробился к ее бескрайним, волнующе богатым пространствам — силою английских винтовок, жаркою силой пароходов и паровозов, вязкою и сладкою силой доступного (пока лишь избранным) комфорта.

ЛЮБОВЬ ХОЛОСТЯКА

«Нет, ты, я вижу, намучаешься, а не забудешь ее». «Право забуду, только не вдруг».

И. Гончаров. Pour et contre (За и Против)

…Ай-ай, как не стыдно!.. Как не стыдно вам позабыть это очаровательное создание! К тому же и вашу землячку. Нет, вы вспомните-ка, лет десять тому, а впрочем, не десять, а полных двенадцать уже будет, как она с родителями гостила у нас проездом. Они на взморье торопились, к купальному сезону… Так вы тогда с Аполлошей и Бенедиктовым даже писали ей что-то в альбоме. Лиза, Лизонька Толстая!.. Ну вспомните же, де Лень вы этакий!.. Ей тогда лет четырнадцать было, не больше, но все уже ее замечали. И вы, и вы! И не прикидывайтесь, что не помните, я не забуду, какие вы тогда донжуанские взоры к ней обращали. И перестаньте пожимать плечами, притворщик несчастный, неужто и впрямь у вас на море всю память из головы выдуло… Но послушайте, какова она теперь! Бог ты мой, что за диво, что за прелесть! Ангел, чистый ангел… Я Николаю Аполлоновичу говорю — с нее мадонну надо писать. Конечно, скажу вам по секрету, — просидеть столько лет в деревне, без общества, это сказывается, но зато свежесть, грация, обаяние… Ей уже за двадцать пять, но ее будто в соли хранили… А главное-то, ах, главное-то я ведь вам до сих пор не сказала: она еще не за-мужем, слышите?.. Конечно, избалована вниманием, но ни тени кокетства, со всеми проста, естественна, мила. Была уже у нас и всех очаровала, всех в себя влюбила — и мужчин и даже нас, женщин, и старичков, и молодых… И вас помнит, роман ваш читала, хотя за что вас помнить, за что вас так почитать, когда вы насквозь пропахли рыбьим жиром и этим… ромом. И с женщинами вы вовсе разучились разговаривать, страшный морской волк, зачем только я все это вам рассказываю, разве вы способны понять?!.

Да-да, что-то еще уцелело в его памяти. И Аполлон тогда действительно сочинил экспромт, и Бенедиктов вслед за Аполлоном без запинки отмахнул несколько четверостиший. А когда очередь до него дошла, он, сославшись на лень свою, препятствующую подбирать сладкозвучные рифмы, предупредил гостью, что напишет просто — языком прозы.

«Позвольте же мне этим языком, — так, кажется, сложилось у него тогда, — выразить — и сожаление о Вашем удалении от нас,

и благодарность за недолгие минуты Вашего пребывания здесь, и пожелание Вам светлой и безмятежной будущности».

Обычная альбомная учтивость, не более того. Чем отличаются подобные записи от японских церемоний? «Пожелание безмятежной будущности…» Разве одно это не глупость? Безмятежной будущности можно пожелать лишь кукле. Но человеку, женщине? Да ни у кого и никогда не бывает и не будет «безмятежной будущности»! Зачем же тогда ее желать? Если чего честно и можно пожелать человеку, так это чтобы он или она, все испытав и претерпев, пройдя все круги страстей и злоключений земных, вышли из всего этого хоть с малою охотою жить и надеяться на лучшее…

Уже несколько месяцев минуло, как вернулся он в Петербург.

С долгого пути, от дружеских, восторженных, растянувшихся встречаний его еще слегка «покачивало». Но внутренне он был собран как никогда. Будто кто-то по-приятельски, грубовато ткнул его ладонью в плечо: ну что, брат, покатался? теперь давай и саночки возить…

Вчерашний путешественник обложился бумагами, дневниковыми своими записями, книгами, выпросил у Майковых и Языковых свои дорожные письма. И — двинулась работа! Он решил не соблюдать пока хронологии. Начал с того, что само в первую очередь просилось на бумагу, — с благословенной Ликейи.

О, если бы всегда писалось так легко! Он ощущал необыкновенный прибыток здоровья — телесного и душевного. В голове ясность, будто смотришь на небо сквозь стекло, только что отмытое от зимней пыли. Безотказная память, как толковый и расторопный слуга, разворачивает перед ним незабываемые панорамы южных морей, тенистых островов — все живое, до легчайшего шелеста древесного листа. Многое со времен путешествия было уже готово вчерне и теперь без натуги и почти без помарок перебелялось. Слаще нет на земле чувства, чем то, когда *получается*.

И о том, что куда пристроить, не было у него забот. Свои услуги предложили сразу три журнала.

«Ликейские острова» появляются в апрельском номере «Отечественных записок» — всего через месяц с лишним после его приезда в столицу!

В мае «Морской сборник» выходит с очерком «Заметки на пути от Манилы до берегов Сибири».

В мае же(!) «Отечественные записки» публикуют отрывок «Атлантический океан и остров Мадера».

В июньский номер «Морского сборника» он отдает очерк о

Якутске.

Потом опять «Морской сборник», опять «Отечественные записки». Наконец, и в «Современнике» публикация — «От мыса Доброй Надежды до Явы».

Но — стоп! — это было уже в октябре, когда ему вдруг сделалось почти все равно: печатают ли его очерки, не печатают…

Это было уже в октябре, а нужно вернуться к лету, к исходу петербургского лета 1855 года, к знойным тем вечерам; каменные ущелья города источают нежный жар, а в лепете воды под мостами, в шорохе мглистой листвы — всюду чудится любовный полубред.

Это началось с ним летом, и лучше бы этого не было, лучше бы он не мучился так. Хотя как знать?..

Были встречи, были надежды, была боль и обида, ревность и почти бешенство. И ничего не стало. Ее писем он не сохранил. Скорее всего они сгорели через несколько десятилетий, в тот злополучный вечер, когда он, больной и разочарованный старик, сидел в своем кабинете и, словно Иов на гноище, соскребывал с себя сочащиеся наросты воспоминаний. Он сидел перед камином, у ног его громоздилась пестрая груда бумаг — отрывки собственных зачинаний, неудачные наброски, связки писем к нему и его не отправленные вовремя письма, какие-то приглашения и уведомления на гербовой бумаге, черновики цензорских отзывов — все это, пропитанное пыльго, раздражающее своим выцветшим видом, обилием почерков, которые он не мог да и не хотел узнавать, наконец, неприятно шершавое на ощупь, так что он с почти брезгливым чувством выбирал из этой груды один предмет за другим, осматривал мельком, на всякие случай, почти не вчитываясь, чтобы сильнее не раздражиться, и затем бросал в пламя. Слежавшиеся листы обгорали по краям, их нужно было расшевеливать маленькой кочергой, чтобы огонь пробрался и вовнутрь.

Ничего ужасного, ничего геростратовского он не видел в этой своей спокойной и равнодушной работе.

И ничего *гоголевского* он в ней не видел. Гоголь! Тот был действительный писатель, и поступок его по праву окружается ореолом трагическим. А что он, что его бумаги? Он — это теперь совершенно ясно — вполне заурядный литтератор, через два «т», каких на свете переизбыток, и лучше, если после таких, как он, не останется мусора, лучше самому об этом заблаговременно позаботиться…

Скорее всего тогда-то, на закате века и на закате его жизни, и

сгорели ее письма к нему. Может быть, он тем самым хотел пощадить ее: много ли души, много ли ума содержалось в ее коротеньких записочках?..

Но она его письма сберегла. Еще бы! Такой знаменитый писатель был к ней неравнодушен. Нет, мало сказать, неравнодушен. Ее красота совершенно нечаянно исторгнула из души несчастного и благородного Ивана Александровича прямо-таки целый пожар страсти. Эти конвертики, эти листки запечатлели в себе события позначительней иного романа, они были очевидным свидетельством ее давнишней, но незабываемой победы, утехой ее тщеславия.

Из тщеславия — зачем же еще? — она и *поранила* его тем летом 1855 года. Литератор в сиянии разрастающейся славы — вот кем он был тогда для нее. Ну что же, что сам он не так уж молод? Зато как он умен, какие у него красивые руки, особенно когда он курит сигару, как меланхоличен светлый взгляд его глаз, какой у него тонкий благородный нос, какой сочный голос! Как непринужденно льется из его уст пересыпанный изящными шутками рассказ — о неграх, о корейцах, о японских кушаньях и сибирском климате… Как обожают его все вокруг — женщины, мужчины, как они балуют его! Неужели это тот самый застенчивый де Лень, который когда-то написал ей, девочке, несколько строчек в альбоме?

Конечно, он полноват, а лицо иногда, когда он не следит за собой, делается каким-то помятым. Взлызины? Они тоже его не красят. Но разве все это имеет значение? Разве она смотрит на него иначе, чем как на приятного — и очень даже приятного — собеседника? Ей интересно видеться с ним, слушать его, выезжать с ним в театр, прогуливаться по Летнему саду, получать от него литературные новинки, в том числе свежие оттиски его путевых очерков. Ей лестно, что он окружает ее таким почтительным и даже раболепным вниманием, вплоть до мелочей: то вызовется купить билеты в ложу, то пришлет вырезанное из газеты расписание поездов царскосельской дороги, то заберет у нее на несколько дней перстенек с расшатавшимся камушком и разошедшиеся по шву перчатки, а потом вернет их починенными. К тому же с глазу на глаз они почти нигде и не видятся. Если он приглашает ее к себе домой — посмотреть коллекцию китайских и японских безделушек или поглядеть с балкона на церемонию шествия по Невскому императора с семьей, — то и еще кто-нибудь из майковских с нею приходит. Если в салоне они присядут на кресла в уголке для негромкого разговора на десять-пятнадцать минут, то и это уединение, всем, впрочем, видное, ни у кого не вызовет двусмысленной усмешки.

Иногда он воскликнет:

— Боже мой, как я стал глуп с тех пор, как вы здесь!..

Иногда он вдруг помолчит, как бы в нерешительности, и потом сделает ей замечание. Например, зачем она с таким упоением говорит о книгах, которых давно уже никто в обществе не читает? Зачем не расстанется до сих пор со вкусами, привитыми ей деревенской тетушкой?

И она совсем не обижается, а, наоборот, прислушивается к его словам и потом, у себя дома, перед сном, вспоминает все, что он ей сказал сегодня иронического, и вздыхает: ах, наверное, он прав…

А иногда он и сам вздохнет, и печальные его глаза на миг широко распахнутся, будто в испуге:

— Ваше присутствие вызывает столько жизни в человеке, по крайней мере… во мне.

Однажды — это было в начале сентября, перед ее кратковременным отъездом в Москву — он за один день прислал ей сразу три письма. Накануне они условились быть вместе с Майковыми в театре, и вот она замешкалась, и он выразил в записке недоумение: будет она все же или нет?

«До 6 часов, — предупредил он, — я явлюсь к Вашему порогу — так?»

До шести было еще долго, и она могла бы несколько раз ответить, но уже половина пятого, а она молчит. В пять часов он не выдержал и прислал вторично человека с письмом:

«…я спешу и боюсь, что я не встречусь с Вами снова, если этого не получится сегодня вечером».

Тон записки слегка раздосадовал ее. Ну и что же из того, если они сегодня не увидятся? Почему нужно ему так бояться? Ну увидятся после ее приезда из Москвы.

А без четверти шесть — еще письмо, какими-то торопливыми французскими каракулями:

«Разве Вы в самом деле хотите совершить преступление оскорбления дружбы?.. Что делать с ложей и с Майковыми, которые Вас ждут в театре? Я жду Вашего приказания, чтобы заехать за Вами».

Да что случилось-то? Неужели они не могут хоть раз быть в театре без нее? Почему вдруг такие грозные слова?

Да, они друзья, и он — друг преданный, надежный. Но дает ли это право ему что-либо диктовать ей?..

Впрочем, его срыв быстро забылся. Пустяк, капризное облачко, проскользнувшее нечаянно в ясном венецианском небе северного сентября. К тому же как раз воспоследовала ее поездка в Москву, к тетушке. Но вот промелькнули эти десять дней (то

есть для нее промелькнули, для него же провлачились), и она снова здесь, и майковский дом загудел, как дружный улей.

Когда они опять уединились в углу гостиной, опа извлекла из сумочки тетрадку. Это дневник, который она в свое время, чтобы не скучать, вела в деревне. Наверняка здесь много всяких глупостей, но велик ли спрос с девочки-провинциалки? Ей хочется, чтобы он почитал записки и дал им оценку как литератор. Только с условием, что он ей не станет льстить, но выкажет себя строгим судьей. Он ведь для нее не только приятный друг, но и нелицеприятный наставник в искусстве хорошего тона.

Нужно ли говорить о том, как он был вдохновлен этим ее доверием? Кажется, никогда ничье литературное сочинение, ни свое, ни чужое, не читал он с таким вниманием, с такой жадностью.

Все умиляло его в этой тетрадке: не устоявшийся еще почерк, попытки выразить впечатления от природы, трогательные в своей наивности замечания о прочитанных книгах, наконец, даже описание ее первого сердечного чувства к *другу детства*. Ну да, ну да, так ведь и должно было быть у романтически воспитанной сельской отшельницы в том возрасте: вместе они резвились детьми, потом разлука на долгие годы, потом он вдруг приезжает, юный красавец офицер, и конь под ним, как и положено, жарко пышет ноздрями.

Возвращая дневник, он приложил к тетрадке письмо с похвалами ее безыскусному слогу и — раз уж она сама просила — с некоторыми замечаниями. Впрочем, по существу, только одно и было тут замечание, и касалось оно ее отношения к «другу детства».

«Вы все обращаетесь к внешней его стороне, едва вскользь упоминая об уме, душе, etc., а то все «красивая поза», «опершись на руку» — да тут же непременно и «конь».

Но когда при встрече он попробовал было развить эту ироническую тему о гарцующем красавце офицере, по лицу Елизаветы Васильевны пробежала вдруг легкая тень досады.

Вот тут-то он и спохватился, мнительный де Лень. А что, если это, о чем она писала в дневнике, не прошло? А что, если и тетрадку-то она ему вручила не в знак доверия, а лишь чтобы поделикатнее дать ему понять, что его претензии чрезмерны и надежды беспочвенны? Словом, что сердце ее уже *не свободно*?

Вот та минута, когда моментально холодеешь и недоговоренное слово намертво прилепляется к нёбу… Ну конечно, это так! Даже и дневник незачем было читать. Достаточно лишь *на себя* посмотреть. Да посмотри же, посмотри

ты, наконец, на себя в зеркало — на свое запущенное, измятое, ненавистное холостяцкое лицо в грубых морщинах, в крупных порах на коже, с красноватыми, рыбьими какими-то веками, с тусклым взглядом. Разве можно на что-нибудь надеяться, имея такое лицо?!

…О этот тягостный сон, древняя как мир мука: он — > смешной безобразный сатир, ему и на глаза-то стыдно показаться своей возлюбленной, и он лишь никак не возьмет в толк, почему она все же слегка благоволит ему, милосердно смеется над его чудачествами, снисходит к его убожеству и даже изредка позволяет услужить ей; он недоумевает, и, недоумевая, он, однако, почти счастлив.

Но вот оно — зазвучали копыта, и на прытком, издевательски хохочущем коне вскакивает на лесную поляну юный прекрасный полубог… И он сразу все понял. Давясь плачем, он пятится, пятится, ему хочется изодрать ногтями свою кожу, исцарапать в кровь свое отвратительное лицо, завыть на весь лес, как воет смертельно пораненное гением любви чудовище…

Да, это подступала страсть — неуправляемая, болезненная. И ее приближение уже все вокруг него почувствовали. Все, только не она. Напротив того, в своем бездумном кокетстве она не находит ничего лучшего, как истолковать его непривычное поведение совсем иначе — в том смысле, что он-де просто-напросто ее *завлекает*. Это истолкование настолько его смутило и озадачило, что он опять вынужден объясняться письменно:

«Надеюсь, Вы позволите мне видеть Вас хоть четверть часа у Вас или в карете, по дороге к Евгении Петровне — *нигде больше*: не бойтесь, Бог с Вами. Ни умыслов, *ни сетей, ни птицеловства*, о котором Вы не постыдились намекнуть мне вчера, а есть только одно неодолимое желание заслужить Ваше доброе мнение и никогда не терять его, приобресть Вашу дружбу и быть ею счастливым.

У меня хандра, хандра… Какой у меня несчастный, мнительный характер. Не правда ли?»

Если со стороны рассудительно и беспристрастно рассматривать развитие его чувства и ее реакцию на это чувство как некую взаимную *игру* (полуосознанную или бессознательную), имеющую, впрочем, свои правила, хитрости, тактические ходы и так далее, то нужно будет признать, что он эту игру незаметно для себя проигрывал почти с самого начала.

Действительно, умолять, упрашивать, соглашаться на все условия своей соперницы по игре — разве так должен вести себя мужчина, на что-то рассчитывающий?!

Подумать только: он — знаменитый писатель, умница,

сердцевед, и вдруг раболепствует перед капризной провинциалкой, которая к тому же едва ли не годится ему в дочери! Да пусть ей потрафило выйти личиком в рафаэлевскую мадонну, что с того-то?

Впрочем, ему предоставилась передышка — возможность повести себя с большим соответствием собственному возрасту и опыту: она опять уезжает в Москву.

Вдогон ей он послал письмо с лестным сообщением: «Тургенев, у которого я был вчера, спрашивал меня: «скажите, какая прекрасная женщина живет у Майковых и можно ли там увидеть ее?» Я показал ему шиш». (Совсем неплохой ход: слегка задеть струнку тщеславия.)

На этот раз она отвечает очень быстро — коротенькая, но веселая записка. И он тут же — за бумагу:

«Как благодарить Вас, изящнейший, нежнейший друг, за торопливую милую весть о себе?.. Заплакал бы от радости, да кругом все чиновники, я на службе был (когда пришло письмо), подумают, не рехнулся ли я».

(Ну вот, опять — что ни фраза, то промах! Показывать ей, что у него уже глаза *на мокром месте*, — экая, право, бездарная игра!)

А он еще и продолжает все в том же тоне приговоренного на вечное одиночество: «Зачем Вы уехали отсюда? Или бы Вы не приезжали, а если приехали, то не уезжали бы никогда… Здесь началась обыкновенная жизнь, какая была до Вас: да что в ней! Никуда и ничего не хочется. Я уже уклонился от нескольких вечеров и обедов… У Майковых все то же… Ко мне время от времени подходили Евгения Петровна, Старушка[3], с вопросом: от чего я мрачен, апатичен, неподвижен, а другие замечали просто, что я «толст». У меня вертелся на языке каламбур, что я «отолстел» совсем, но я умолчал… Что за погода: дождь, слякоть. Это право оттого, что Вы уехали… При Вас у меня были какие-то крылья, которые отпали теперь».

Явные признаки поражения проглядывали не только в содержании его писем. Любой внимательный почтмейстер, даже ничего не распечатывая, все бы понял сразу: в Москву письма летят одно за другим, и каждое *весит*! А оттуда — редко-редко, будто по принуждению. И легонькие совсем — со стола сдунешь.

Однажды он выслал ей письмом целую… главу из романа. Не того романа про ленивца, несколько отрывков из которого он читал ей недавно. Тот роман сейчас привял, не пишется, погода испортилась, а этот, что он ей посылает, — совсем особый роман: сюжет прямо касается ее, Елизаветы Васильевны Толстой, и только от нее зависит, чем все разрешится.

«Pour et contre»— «За и Против» — так называлось это

сочинение: роман не роман, скорее литературная хитрость, запоздалый, хотя и активный, ход в игре, которая никак не налаживается. Все то, что он ей не мог или не хотел высказывать до сих пор впрямую, тут говорит за него некий вымышленный приятель, влюбленный в нее. Они с этим приятелем после ее отъезда часто видятся, беспрерывно о ней собеседуют, иногда даже спорят. Он, Иван Гончаров, ее корреспондент, в этих спорах — сторона трезвая и объективная. Он стремится урезонить своего приятеля, охладить его чрезмерно разгоряченное воображение. Не то чтобы он «против» испытываемых приятелем чувств к ней, но он не хочет, чтобы друг его совсем уж терял рассудок, путал действительное с иллюзорным. И вот приятель весь в смятении: то ревнует ее к какому-то юноше «на коне», то попрекает ее в суетности, в тщеславии, в недостатке серьезных интересов, в желании нравиться всем подряд, то вдруг исступленно восторгается ее красотой, ее душевными совершенствами…

«Любишь ты ее?» «Нет, не могу, не смею любить, — отмахивается приятель. — Мне — любить? Вдруг сказать ей *я люблю*! что так хорошо звучит в устах молодости, в моем голосе задребезжало бы дико. Нет, нет, я не люблю, прочь, прочь эту мысль! Это лукавый искушает меня. Исчезни, исчезни, окаянный! начал он скороговоркой, бегая по комнате — чур меня, чур меня, Господи…»

Словом, он положительно не в себе, этот несчастный малый: то одно говорит, то вдруг противоречит себе. То «за», то «против».

«Я болен ею, пошли скорей за лекарем; мне стало как-то тесно на свете жить: то кажется, что я стою в страшной темноте, на краю пропасти, кругом туман, то вдруг озарит меня свет и блеск ее глаз и лица — и я будто поднимусь до облаков… Я как будто встретил ангела на грязной тропинке жизни…»

Ну что прикажете делать с этаким приятелем? Может, она что-нибудь посоветует, как-нибудь посочувствует?

Но она не спешит ни советовать, ни сочувствовать. Ей, кажется, и дела нет до его странного приятеля. И это бы еще полбеды: но ей, похоже, нет никакого дела и до него самого.

«Первую мою записку получили Вы в пятницу 21-го и отвечали на нее черев десять дней. «Все мешали писать»: по неволе спросишь *кто*? А Вы не подумали, сколько мучительных вопросов раздалось здесь о Вас: «здорова, жива ли она?..»

По-прежнему не решаясь впрямую говорить о собственном чувстве к ней (а вдруг там, рядом с нею, кто-то читает его письма и смеется над сердечными излияниями безнадежного холостяка?), он придумывает очередной маневр, чтобы спровоцировать ее на скорейший ответ. Свои чувства к ней он

переносит теперь не только на вымышленного приятеля, но и на живых людей, доверяя им высказывать то, что робеет произнести сам. Вот, к примеру, одна из их общих приятельниц, Юнечка, так та просто «с ума сходит, везде мрачна, неразговорчива — и говорит тихонько, что ее жизнь решена отныне, что ей не будет счастья больше никогда, что она нашла его только в том, чтоб видеть, слышать, знать и любить Вас…».

А через несколько строк — новая хитрость по старинному рецепту: хочешь, чтобы женщина заинтересовалась тобой, засыпала тебя вопросами, — возбуди в ней любопытство. Так вот, может, ей любопытно будет узнать, что думают *теперь* о ней ее петербургские друзья? О, «они находят в Вас множество недостатков, о которых сообщу Вам, как аккуратный Ваш корреспондент, тотчас, лишь только получу от Вас ответ на прежние мои письма и отрывки».

Но она отвечает совсем не так, как он предполагал. Отвечает неожиданными упреками: зачем не пишет он о том, что сам думает? Зачем эти они? К чему непонятные намеки?..

Он подавлен: рассержена, оскорблена!

«Но кем и чем? Не больным ли моим приятелем?.. Или, может быть, за *друга детства*?.. Мне кажется, что *приятель* мой чуть ли пе напугал Вас…»

И вот — очередной знак поражения — свое чувство к ней он начинает переживать как некую вину, как посягательство на ее самостоятельность.

«Вы совершенно непогрешительны, правы и верны своему характеру во всем, до Вашего молчания включительно, так же правы, как я виноват во всем — до моей болтовни включительно… Какое право имел я обнаруживать перед Вами весь беспорядок души моего лучшего друга, передавать Вам эти волнения, вопросы, сомнения, пугать Вас фантомами, предположениями?.. Одно немного может оправдать меня, это то, что все это делалось с целью не прерывать разговора с Вами, не терять Вас никогда и нигде из вида…»

Ну конечно, он не имеет права любить ее! Другие имеют, а он — нет. Он сдается на милость своей победительницы, он поднимает руки:

«Лучшего моего друга» уж больше нет, он не существует, он пропал, испарился, рассылался прахом. Остаюсь один я, с своею апатией и хандрой, с болью в печени, без «дара слова», следовательно пугать и тревожить Вас бредом некому» Рост и крушение его любви — классический пример безответного чувства, которое разрешается тем горестнее, чем менее человек догадывается сызначалу, что он непоправимо обречен. Все, в

конце концов, объяснится просто: на сцену выйдет тот самый офицер-красавец, ее кузен. Но ведь он-то, не без основания мнительный Иван Александрович, ведь он сразу, с самого начала почуял, что в этом картинном красавце какая-то ему заключена угроза] Но не верил себе, делал поправку на собственную подозрительность, убеждал себя в том, что его, Гончарова, достоинства все-таки окажутся в ее мнении выше внешней привлекательности *друга детства*.

О, эта всегдашняя погоня молодежи за внешним! Поза, выправка, осанка, звук голоса для них решают все. А как же внутренние качества?.. Пусть только не подумает она, пусть не подумает только, что и он обворожен лишь наружным обаянием ее молодости. Нет, нет, он любит не так. Тут недавно ему сон приснился: он ожидает ее у Майковых, и она долго не приходит. Наконец является, но, боже, где ее красота? «Вы были обезображены… и я все-таки был неимоверно счастлив, увидя Вас».

Она обезображена, а он — счастлив. Интересно, что бы почувствовал *тот*, увидя подобный сон?

Но к чему все же это странное видение? «Говорят — это значит несчастье: пусть, лишь бы не для Вас».

Но тогда для кого же? Об этом и подумать страшно… На дворе осень. В департаменте днем сумеречно, все раздражены. Пока добредешь домой, сапоги промокнут. Длинные поленницы дров во дворе источают острый тревожный запах подгнивающей осины. И без того тяжелы эти времена в Петербурге, а сейчас, когда она далеко, когда совершенно неизвестно, что у нее на уме — приехать ли, остаться ли в Москве на целую зиму, — сейчас не просто тяжело — невыносимо. Когда летом, еще в бытность ее здесь, он засел за роман и они условились, что он будет прочитывать ей — только ей — новые главы, дело продвигалось так резво. Был смысл, была бодрящая забота: к урочному дню поспеть, порадовать ее новыми страницами. А теперь?

«Я было мечтал… оканчивать роман, мечтал даже, что вы хоть на неделю приедете, по обещанию, выслушать его».

Но ей, видать и «Обломов» наскучил, как и его автор. Она не только не едет, но и молчит уже больше месяца.

И вот он срывается, начинает укорять ее несдержанно, чуть ли не в бранных тонах, а это — как только не понимает? — сейчас в его положении совершенно недопустимо.

Как не совестно ей отмалчиваться? «Лень: не верю: можно лениться день, два, десять, но лениться пять недель… — это лень, простирающаяся до степени варварства, преступления».

И вывод — «упорное молчание конечно есть верное средство

к прекращению бесполезной переписки с бесполезными друзьями».

Может, хотя бы резкость этого вывода испугает ее, и она вдруг поймет, что дело нешуточное, что она и вправду вот-вот потеряет своего петербургского друга навсегда? Но нет, ее, кажется, вовсе не страшит подобная угроза.

Чем же еще подействовать на неприступную, бессердечную Елизавету Васильевну? Пожалуй, остается один-единственный способ проверить, имеется ли у нее к нему хоть капелька чувства. Этот способ — пробудить в ней ревность. И вот он сообщает, что в прошлое воскресенье у Майковых имел разговор по душам с Евгенией Петровной и та уговаривала его жениться… на племяннице Языковых, «зачем-де я толкаюсь по белу свету, как отчужденный от людей, будто Каин какой..».

«— Зачем это Вы мне говорите? спросил я.

— Для Вашего счастья: мы видим, как Вам скучно на свете, а эта племянница Языковой…

— Я бы с большим удовольствием сделал это для Вас, сказал я ей, но Вы знаете, что я никогда не думал о женитьбе, а теперь… когда передо мной недавно был идеал женщины, когда этот идол владеет мною так сильно, я в слепоте… и никогда не женюсь.

— Ну так женитесь на идоле… постарайтесь как-нибудь.

— Очень хорошо, я постараюсь… да нет, никак нельзя… сказал я.

— Э! — с досадой сказала она, отходя: — и впрямь ни Богу свечка, ни чорту кочерга… Каин!»

Но и эти строки на нее не действуют. Какое там ревность! Хотя бы чуточку сочувствия к своему несчастному корреспонденту! Долго ли еще ему терзаться понапрасну? Неужели нельзя сказать разом всю правду, которая его мигом отрезвит?

«Вы не любите лгать, я знаю, ну, так напишите: «Я забыла о Вас, мне некогда, не до Вас, здесь есть также друзья, но лучше, милее, любезнее, свежее, *приятнее* и живее — и притом они на лицо».

Кажется, он совсем уж изнемог в этой… где уж там игре!., в этой мучительной и безнадежной борьбе за свое счастье. У него больше нет сил, нет слез, он отступает, отходит, еще несколько признаний напоследок, последний бред благодарности и боли: «мой чудесный друг, моя милая, умная, добрая, обворожительная… Лиза!!! вдруг сорвалось с языка. Я с ужасом оглядываюсь, нет ли кого кругом, и почтительно прибавляю: прощайте, Елизавета Васильевна. Бог да благословит Вас счастьем, какого Вы заслуживаете. Я в умилении сердца

благодарю Вас за Вашу дружбу, которая греет меня, старика…»

Но даже и на это письмо она не спешит отвечать. И тогда он выплескивает всю свою обиду, разражается новыми упреками и обвинениями: «Вы ленивы, Вы рассеянны, Вы — притворщица, Вы — только самолюбивы и в привязанностях Ваших не лежит серьезного основания…»

А потом в ужасе спохватывается и тут же впадает в крайность самоуничижения: «одно немного может оправдать меня, это то, что все это делалось с целью не прерывать разговора с Вами, не терять Вас никогда и нигде из вида».

Нет, не затем они встретились, чтобы все кончилось для него так бесславно. Он докажет ей, что его чувство достойно ответного. Он еще поборется за себя! А вот и случай подворачивается великолепный. Ну-ка, что она скажет теперь?

«Я имел счастье получить из Николаева записку от Великого Князя Константина Николаевича, в которой его Высочество в приятных выражениях благодарит меня за «прекрасные статьи о Японии». Он читал их с большим удовольствием и просит украшать Морской Сборник новыми трудами etc… Это дороже всяких перстней, потому что не бывалая и не совсем обыкновенная награда, тонкая и деликатная. Эту записку я берегу вместе с Вашим письмом: доказательство, как она мне мила».

Итак, ее письмо он не только приравнивает, но даже ставит выше благосклонного отклика августейшей особы. Ну-ка, дивная Елизавета Васильевна, неужели и это оставит Вас равнодушной?

Конечно, он поступает по-мальчишески. Так бахвалиться можно в двадцать пять, но не в сорок три года. Но что ему терять?.. Да и чего, собственно, стесняться? А то, пожалуй, она и позабыла совсем, что он как-никак — надежда отечественной письменности, а не стареющий неудачник. Вот еще ей к сведению: «книга моя представлена Великим Князем всей императорской фамилии». Так-то вот!

Все рассчитано правильно (хотя ему уже не до расчетов): сердечко московской мучительницы не выдерживает. 23 декабря, через сутки после того, как перестал убывать тщедушный свет петербургской зимы, Гончаров пишет ей с еле сдерживаемым ликованием: «Наконец, Вы, богиня Елизавета Васильевна, решились нарушить Ваше молчание и порадовали одного из смертных ласковым письмом».

Неужели это начало иных отношений? Ему пока страшно верить, но, кажется, свет начал прибывать не только в природе. Толстая выражает желание иметь у себя его портрет! От этой просьбы у него, как у юноши, готова закружиться голова. Он сейчас же полетит к лучшему столичному фотографу —

Левицкому Сергею Львовичу. Гончарова трудно узнать в эти рождественские дни, он и сам будто только что народился.

Но проходит всего пять суток со дня получения ее письма, и он снова не в себе: почему она опять молчит? «Можно гордиться дружбою такого человека»… и не писать, забыли Вы прибавить. Почему же нельзя. Можно даже не гордиться и не писать». И вот ему уже чудится, что ее последнее письмо, которое он еще недавно именовал «ласковым», на самом деле «пропитано ядом или ласково уязвляющей сладкой усмешки… или холодной иронии».

Поистине, страсть — пучина, и кто знает, намного ли это лучше, когда тебя на миг поднимет со дна на самый гребень, на хребет, который почти тут же начинает выгибаться, проваливаться, рушиться всею страшной массой в новую пропасть.

Новый год, после двухлетнего перерыва встречал он у Майковых. Но лучше бы он встречал его один, у себя дома, либо не встречал вовсе; тяжело находиться среди свидетелей своего сердечного невезения, слушать их сочувственные вздохи… Все почему-то пили в этот раз больше меры, даже женщины отличились. Даже Евгения Петровна. Когда гости стали расходиться, бедняжка не смогла подняться со стула и лишь невнятно шевелила губами, что-то бормоча.

Он возвращался как с поминок по своей любви.

И опять больше месяца не было от нее письма. Он ожесточился, решил и сам молчать. Посмотрим, кто не выдержит первым. Это, наконец, совершенная бестактность с ее стороны. Довольно, что он побесновался несколько месяцев, как нетрезвый мальчишка. Теперь этому положен предел. Он не просто предаст огню ее лживые письма. Он выжжет из сердца саму память об этой пустенькой, неумной, непостоянной, мелко-тщеславной, неблагодарной, злой и бессовестной московской кукле… Кукла, право, кукла!.. Но почему же слезы накипают у него внутри? Господи, за что и зачем ты пытаешь нас женской красотой?

Первым все-таки не выдержал он. Отсечь все сразу оказалось не под силу. Он дозволит себе лишь одно письмо, к тому же совершенно официального характера. В свое время он передал ей на прочтение «Записки охотника». А они очень нужны сейчас самому Тургеневу, так как у того не осталось ни одного экземпляра и раздобыть негде, даже за деньги. Так вот, не может ли она вернуть книгу для передачи автору?

Он цепляется за последний повод получить от нее хоть какое-то известие. Неужели же она не припишет к бандероли несколько

строк о себе? Как немного надо нищему…

А получив крохотную, как и следовало ожидать, письменную подачку, грустно иронизирует: «благодарю за гомеопатическое письмо. Вы заставляете меня веровать в гомеопатию… не сердитесь на длинное письмо: гомеопатических писем не умею писать: я аллопат».

Эти в ничтожных дозах лекарства его слабо поддерживают. Болезнь настолько запущена, что «гомеопатия», пожалуй, довела бы его до какого-нибудь очередного взрыва, не узнай он наконец новости, разом обрубающей все надежды, рассеивающей все иллюзии. Александр Илларионович Мусин-Пушкин, тот самый красавец офицер, и его кузина Елизавета Васильевна Толстая не просто давно влюблены друг в друга. Их взаимное чувство настолько сильно, что брак — уже дело решенное между ними. Задержка лишь за высшей церковной инстанцией, от которой зависит дозволение на супружество двоюродных брата и сестры.

Мог ли предполагать бедный Иван Александрович, что по иронии судьбы ему суждено будет участвовать в преодолении церковно-канонической препоны, возникшей перед его недавней «богиней» и ее кузеном? Но именно так и произошло. Елизавета ли Васильевна попросила его о такой необычной услуге, как верного своего друга? Сам ли он по-рыцарски взял на себя двусмысленную обязанность устранять преграду на пути двух молодых людей к браку?

Как бы там ни было, осенью 1856 года завязалась краткая переписка между Гончаровым и матерью Елизаветы Васильевны, просившей столичного писателя похлопотать перед Синодом о разрешении на венчание. По тому же поводу он пишет письмо и «офицеру».

Словом, «не было счастья, да несчастье помогло». 25 января следующего, 1857 года Елизавета Васильевна выходит замуж, и отныне страстное чувство ее петербургского корреспондента поневоле умеряется и истончается до такой степени, что он вновь готов преклоняться перед этой «аристократкой природы», как пред неким возвышенным идеалом земной гармонии. Пусть она будет счастлива, она достойна счастья, пусть не омрачают ее душу воспоминания о его поздней болезненной страсти. Отныне он до самой смерти обречен быть одиноким. Ему хватит и того, что одиночество его будет скрашивать прекрасный фотографический портрет Елизаветы Васильевны, который теперь всегда стоит перед ним на письменном столе. Фотография сделана с портрета, рисованного с нее Николаем Аполлоновичем полтора года тому назад — во дни их изначальной дружбы, еще ничем не огорчаемой.

Но и созерцать любимый образ подолгу опасно: поневоле бередишь рану.

Еще поздней осенью 1855 года, в самые безотрадные для Ивана Александровича времена, состоялся его перевод в новое министерство и на новую должность — литературного цензора. Уйма непредвиденных забот навалилась на писателя: читка книжных и журнальных корректур, писание официальных отзывов, обязательства перед десятками собратьев по перу, ответственность за каждое слово, понеже все и каждое скреплены его цензорской подписью… Каких бы рецептов ни предлагали доброжелатели, а нет на свете действенней лекарства от неразделенной любви, чем тяжелая работа.

А вот «Обломов» продвигается со скрипом. Над этим его детищем как бы тоже повисла тень жизненной неудачи. Для *кого* он будет теперь продолжать роман? Братья литераторы, правда, вовсю подгоняют. Иван Тургенев в письме к нему возмущается: «Не хочу и думать, чтобы вы положили свое золотое перо на полку…» И энергически заключает: «буду приставать к вам с восклицанием: «Обломова»!»

«Обломова» требует и Катков, редактор «Русского вестника». Но нет смысла договариваться с редакторами, когда роман еще на три четверти в чернильнице. Илья Ильич до сих пор лежит на диване, и что делать с ним дальше, неизвестно. Какая сила способна поднять эту глыбу на ноги? Пожалуй, было бы достаточно одного мановения ручки Елизаветы Васильевны. Но она уже полгода как замужем.

В начале июня 1857 года Гончаров получает четырехмесячный заграничный отпуск и отправляется на курс водного лечения в Мариенбад.

МАРИЕНБАДСКОЕ ЧУДО

«Ах, Льховский, если я умру, растолкуйте пожалуйста другим, что я был за явление. Вы только и можете это сделать».

Кто был человек, к которому Гончаров как-то обратился в письме со столь интимной и одновременно обязывающей просьбой?

Познакомились они скорее всего все в том же доме на Садовой, куда юноша Иван Льховский был вхож как университетский товарищ Владимира Майкова. Несмотря на семнадцать лет равнины в возрасте, между двумя тезками установились отношения приятельства, доверительности. Мужская дружба между людьми, близкими по годам, опыту и духовному складу, чаще всего дружба трудная. Почти всегда она чем-нибудь отягощена — то взаимной пристрастной строгостью, то полускрытым соперничеством, то напряженной деликатностью, мешающей напрямую высказаться о том, что наболело. Непросто нести бремя этой дружбы, и редко кому удается длить ее многими годами, на виду у чьей-нибудь зависти, ревности, худой ухмылки, — хотя и плоды она дает самые весомые, насущные не только для этих двух…

И есть дружба легкая, как бы даруемая в виде роздыха. Легко говорить и выговариваться, легко брать на себя несложные и почетные заботы друга старшего, легко узнавать в судьбе младшего свои давнишние трудности и тут же находить им счастливое разрешение.

Льховский был человеком одаренным, его литературными мнениями Иван Александрович дорожил (отзыв Льховского об «Обломове» будет считать даже более полным, исчерпывающим, чем добролюбовскую оценку романа).

В отношении к маститому уже литератору Льховский нашел меру незаискивающей простоты и нельстивой уважительности, меру тонкого художественного вкуса и ненавязчивого обожания. Он не стал для Гончарова кем-то вроде литературного секретаря, мальчика на побегушках, но охотно брался выполнять различные поручения старшего товарища, благо тот никогда не давал особо трудоемких.

Вот и теперь, отправляясь в заграничное путешествие, писатель кое-что поручил Льховскому, как-то: присматривать хоть изредка за его квартирой, то есть своевременно вносить плату за жилье и проч.; проследить за корректурами нового издания «Обыкновенной истории» и за подготовкой к печатанию отдельной книгой «Фрегата…» — к последнему Льховский еще

предисловие обещался написать.

Вечером пятых суток по отбытии из Петербурга карета, в которой у Гончарова было место, подъехала наконец к варшавской заставе. Выспавшись в просторном номере непомерно дорогого отеля, путешественник с утра нанял гида, обсмотрел внимательно весь город (произведший на него впечатление весьма провинциального), а перед обедом уселся за большое письмо Льховскому. Езда по Варшавскому тракту, сообщал он, не только не развеяла подавленного настроения, а, пожалуй, еще его усугубила. Пустынная дорога, сирые места, назойливый сосед по карете, бессонница, дурная еда, плохое пищеварение, мрачные воспоминания о недавних и давних событиях личной жизни. Ладно бы еще одна Елизавета Васильевна не давала ему покоя в пути. Из письма следовало, что не на шутку тревожат его и расстроившиеся недавно отношения с другой женщиной: «Вы вероятно получили мою телеграфическую депешу из Динабурга: я там просил Вас не отправлять фотографии А. А. к ней и теперь прошу запереть ее, как она есть, запечатанная, в стол и оставить до моего приезда. А причина этому та, что я не хочу изменять там дела т. е. хочу оставить его так, как оно осталось при мне, чтоб и не напоминать больше о себе».

Льховский прекрасно знал, кто такая эта А. А. Речь шла об Августе Андреевне Колзаковой, давней уже петербургской знакомой Гончарова, к которой у него еще до кругосветного плавания намечалось как будто серьезное влечение. Но чувству этому никогда не суждено было развиться до такой бурной, болезненной страсти, как в случае с Елизаветой Толстой. К тому же этот последний случай не мог не показать и Колзаковой и Гончарову, что взаиморасположение их весьма непрочного свойства. Дело, видимо, быстро пошло не только к обоюдному охлаждению, но и к разрыву…

Словом, ох как смутно было теперь на душе у путешественника!.. Завтра по железной дороге он отправляется до Дрездена, оттуда проследует в Мариенбадский курорт, где ему предписано врачом пить воду местного источника — от болей в печени, от геморроя, заработанного годами чиновничьей усидчивости. Но врачи те же чиновники и бюрократы — кому только не предписывают они воды и грязевые ванны. «Даже полагаю, что мне в Мариенбад нечего и ездить; если поеду, то только из приличия». Разве не пустое баловство все эти лечебные процедуры, когда его одолевают апатия и угрюмство, «давнишняя и постепенная потеря надежд на что-нибудь в будущем»?

Единственное, что хоть отчасти снимает с его души гнетущее напряжение, — это письменная беседа с отдаленным другом. «Вы,

друг мой, терпите мои письма, будьте в этом случае козлом отпущения, потому что писание для меня составляет такой же необходимый процесс, как процесс мышления, и поглощать все в себе, не выбрасываться — значит испытывать моральное удушье. Поэтому если буду писать часто и много, терпите пожалуйста и помните, что я делаю это не по прихоти, не по щегольству какому-нибудь (особенно в нынешнем письме), а потому только, почему поет птица или стрекочет кузнечик в траве».

Впрочем, угрозу писать Льховскому часто путешественник что-то не очень исполнял: следующее письмо другу Гончаров отправил лишь три недели спустя. Уже по конверту было видно, что он изменил своему намерению быстро проследовать с курорта в Париж и до сих пор сидит в Мариенбаде. «Сначала я решил, что не проживу здесь и трех дней, собрался уже ехать — и остался, и проживу вероятно еще недели четыре, а может быть и долее… Отчего эта перемена, скажу при свидании, или в одном из писем, откуда-нибудь, хоть из Парижа».

Однако причину своей задержки в Мариенбаде Иван Александрович изложил гораздо скорее, через десять дней, в очередном письме с того же курорта. Причина эта при первом беглом прочтении не могла не поразить молодого друга (его корреспондент, кажется, и рассчитывал на такой аффект). Надо же, вон, оказывается, в какую авантюру опять вовлекло влюбчивого сорокапятилетнего холостяка!.. «Едва выпью свои три кружки и избегаю весь Мариенбад с 6 до 9 часов, — пишет он в каком-то нетрезвом захлебе, — едва мимоходом напьюсь чаю, как беру сигару — и к ней: сижу в ее комнате, иду в парк, забираюсь в уединенные аллеи, не надышусь, не нагляжусь. У меня есть соперник: он хотя и моложе меня, но неповоротливее, и я надеюсь их скоро развести». (Однако!) «Тогда уеду с ней во Франкфурт, потом в Швейцарию, или прямо в Париж, не знаю: все будет зависеть от того, овладею я ею или нет». (Ну и Иван Александрович! Какой решительный слог!) «Если овладею, то в одно время приедем и в Петербург, и вы увидите ее и решите, стоит ли она того страстного внимания, с каким я вожусь с ней, или это так, бесцветная, бледная женщина, которая сияет лучами только для моих влюбленных глаз? Тогда, может быть, и я разочаруюсь и кину ее». (?!) «Но теперь, теперь волнение мое доходит до бешенства: так и в молодости не было со мной. Я едва могу сидеть на месте, меряю комнату большими шагами, голова кипит: я бы даже, кажется, мог сочинить что-нибудь, если б не запрещали доктора…»

А еще через несколько строк мариенбадский мистификатор разом остужает разыгравшееся воображение Льховского:

«Женщина эта — мое ж создание, писанное конечно, — ну, теперь угадали, недогадливые, что я сижу за пером?»

Вот, значит, почему так редки до сих пор письма от Гончарова: он там *пишет*! Но что же именно? Неужели сдвинул с места свой злополучный роман? Или решил облечь в слова недавний роман личный?..

Ответы на эти недоумения заинтригованному Льховскому пришлось, однако, узнать не от самого Гончарова, а от Юниньки, потому что именно ей захотел их общий приятель открыть до конца свою мариенбадскую тайну.

«Помните, — пишет он Юниньке, дружески бранясь, — как Вы на весь мир трещали, что я поеду, напишу роман, ворочусь здоровый, веселый — etc. etc. Как мне было досадно тогда на Вас: какими пустяками казалось Ваше пророчество: «…какая бестолковая! — думал я, — разве это возможно: разве не прошло это все, и здоровье, и романы!» И что же: Вы чуть не правы! Да как Вы смеете быть правой, как Вы позволили себе предсказывать то, в чем я не только сомневался, но и отчаивался? Помню еще, как на прощанье Вы робко и торопливо перекрестили меня, но, видно, от чистого сердца, и, конечно, очень искренно, от всей полноты дружбы пожелали мне покоя, веселья и опять-таки — писанья. Представьте же, мой друг, что все это вполовину, нет, больше нежели вполовину, уже исполнилось, и я ставлю себе в долг прежде всего сказать об этом Вам. Да что Вы молитесь, что ли, за меня, продолжаете желать так же искренно, как и при отъезде? Видно, так. Так слушайте же: я приехал сюда 21-го июня нашего стиля, а сегодня 29 июля, у меня *закончена первая часть Обломова, написана вся вторая часть* и довольно много *третьей*, так что лес уже редеет, и я вижу вдали… конец».

Прервем чтение письма и постараемся представить себе: много это или не очень — то, о чем с такой почти неуправляемой восторженностью сообщает Гончаров? Сколько это: закончена первая часть, написана вся вторая и часть третьей?

«Сорок пять моих писаных листов, — поясняет Иван Александрович в том же письме. — А Вы знаете, что значит мой писаный лист».

Текст «Обломова» заключает в себе немногим более 25 авторских листов. Следовательно, гончаровский «писаный лист» был значительно меньше современного авторского. Но каким он был, мы в отличие от корреспондентки писателя сейчас не знаем.

Незнание необходимого для подсчета исходного сведения создает, казалось бы, непреодолимое препятствие при выяснении объема творческой работы, произведенной Гончаровым в Мариенбаде. Величину его «писаного листа» можно было бы

вычислить окольным путем, но этому мешает отсутствие еще нескольких данных. Сколько именно глав первой части было написано по приезде в Мариенбад? На каких событиях обрывалась вторая часть романа и какими событиями начиналась третья (ведь в печатном виде «Обломов» разделяется на четыре части)? Наконец, в какой мере мариенбадская рукопись подверглась авторскому сокращению в процессе подготовки к печати?

Впрочем, один факт устанавливается как будто без особого труда. «Поэма любви Обломова кончена», — сообщает Гончаров в том же письме своей приятельнице, а пятью днями позже в письме Льховскому уточняет: «действие уже происходит на Выборгской стороне: надо изобразить эту выборгскую Обломовку, последнюю любовь героя и тщетные усилия друга разбудить его».

В каноническом тексте «Обломова» эти события — разрыв Обломова с Ольгой Ильинской и начало его чувства к Пшеницыной — соответствуют концу третьей и началу четвертой книг. Следовательно, то, что писатель называет в мариенбадских своих письмах «второй книгой», в печатном варианте равнозначно книгам второй и третьей.

Итак, обе они полностью написаны в первый месяц лечебного курса. В переводе на современные нормы уже эти две части романа содержат почти… 12 авторских листов! Что и говорить, применительно к четырем неделям человеческой жизни — цифра прямо-таки невероятная: в одном авторском листе приблизительно двадцать четыре машинописные страницы (впрочем, не будем забывать, что Гончаров пишет от руки).

Но это еще не все. К 12 авторским листам прибавим несколько (2? 3? 4?), написанных в те же самые недели листов первой части и несколько (2? 3? 4?) листов последней части романа. Прибавим сюда также листы (1? 2? 3?), которые впоследствии составили объем сокращения при подготовке к печатанию. Наконец, учтем, что из срока, указываемого Гончаровым в письме Юнии Дмитриевне («приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля»), первые пять или шесть дней оказались для писателя праздными; в письме Льховскому об этом сказано так: «я приехал сюда 21 июня нашего стиля… а числа эдак 25 или 26 нечаянно развернул Обломова, вспыхнул — и…»

За вспышкой следует взрыв невероятной силы. «31 июля у меня написано было моей рукой 47 листов!»

Но еще секунду помедлим, прежде чем этот взрыв раздастся. Еще одно обстоятельство: Гончаров работает в Мариенбаде за письменным столом всего по пять часов в сутки (с 10 утра до 3 пополудни). То есть он пишет, по минимальному подсчету, от 14

до 16 машинописных стандартных страниц (опять вынужденная модернизация) *ежедневно*! Три страницы в час. Это как бы почти под диктовку. Скорость начинающей стенографистки. Или скорость конспектирующего студента.

И в довершение всего не забудем главного, определяющего обстоятельства: летом 1857 года в Мариенбаде не просто сочиняется большой по объему роман, не только пишется один из лучших русских романов XIX века — создается классическое произведение мировой литературы, лепится характер, который со временем будет поставлен в один ряд с образами Гамлета, Фауста, Дон-Кихота…

Если мы учтем все это, то история написания «Обломова» предстанет перед нами как выдающийся феномен творческой продуктивности, один из самых выдающихся за всю историю новоевропейской литературы. «Мариенбадское чудо» — так обычно именуют этот феномен литературоведы, биографы Гончарова, подчеркивая тем самым, что события лета 1857 года в жизни писателя — вещь, пограничная с чем-то сверхреальным, умонепостижимым.

Чудо на то и чудо, что оно непрестанно требует объяснений, истолкований, провоцирует на недоверие, на скептическую реакцию. Гончаров, как мы видели, сам первым начал объяснять то, что с ним произошло. Сам первым недоумевал, разводил руками, привыкал к случившемуся.

Что-то с ним, через него сотворилось, но причины, какую ни возьми, кажутся недостаточными, вещи-свидетельницы скучно молчат, допроситься не у кого. Если оглянуться и всмотреться еще раз во все детали, то придется заключить: все было очень просто. Чудо протекало, так сказать, вполне нормально.

Вот его обычный мариенбадский день. Встает рано, в половине шестого. В окне его комнаты — голубая панорама Богемских гор, поросших лесами. Бодрящие струи чистейшего, свежего воздуха вливаются в окно. Где-то за горами уже поднялось солнце, но здесь его еще не видно. В комнатных сумерках все явственнее обозначается некий сгусток красок и запахов. Это букет цветов. Горничная по имени Луиза, работящая, крупная в кости женщина, ровно через день вносит в комнату новый букет и забирает привядшие цветы.

Воду нужно пить обязательно натощак. В начале седьмого он подходит к источнику и терпеливо выпивает три, а то и четыре большие полные кружки. Как считают врачи, вода наилучшим образом совершает свое благотворное действие, если человек, приняв ее, подольше будет находиться в движении. Вот он и находится в движении — час, два, три. То оббегает весь

маленький, похожий скорее на село, чем на город, Мариенбад. То пойдет в горы по окрестным маршрутам — там в эти часы почти никого не встретишь. Он любит ходить помногу и иногда забредает достаточно далеко, верст аа пять. Доктор, присматривающий за ним, считает, что более трех кружек в сутки ему принимать не следует: здешние воды не только действуют на желудок и печень, но и возбуждают нервы, производят в организме излишнее волнение. И он действительно сейчас, во время утренней прогулки, слегка взволнован. Но как знать, то ли от действия вод, то ли оттого, что прогулка рано или поздно кончится, а дальше… Но будет ли дальше так же, как было с ним вчера, позавчера?..

К десяти часам, отзавтракав, он возвращается в свое жилье. Луиза знает, что сейчас к русскому господину входить нельзя ни ей, ни кому-либо из его знакомых. Но ни Луиза, ни кто другой не догадываются, что в течение ближайших четырех-пяти часов этот скрытный господин будет находиться совсем не здесь, а в окрестностях русской столицы, в некой дачной местности и, незримо примостясь на краешке парковой скамьи, он будет с неизъяснимым волнением подслушивать, о чем, сидя на этой же скамье, разговаривают двое русских — он и она…

Впрочем, иногда Иван Александрович вдруг вскочит с этого краешка скамьи и начнет носиться по своей мариенбадской комнате. Отсутствующим взглядом смотрит на букет, на раздражающе красивый вид за окном. Улыбается про себя. Хмурится слегка. Иногда как-то странно поведет рукой. Поскучнеет. Вздохнет. Снова улыбнется.

Но чаще всего он и не встает. Это *они* там то по аллеям прогуливаются, то взберутся на холм, то в город съездят, чтобы побывать в театре. То слегка поссорятся, то вот-вот готовы раствориться в объятиях друг друга. А он сидит неотрывно все четыре или пять часов, кровь в голове шумит, как будто скоро начнет кипеть. Руку, в которой он держит перо, кажется, в любую минуту может свести судорогой. Бывает состояние — буквы расплывутся, какое-то затмение найдет на него, страшная усталость, почти тошнота. Но потом будто кто потормошит за воротник, и он снова не нарадуется, как славно все выходит. Только бы и дальше так было. Только бы и завтра и послезавтра не оставила его мощная тайная сила, озаряющая картины творимой из *ничего* жизни.

Впрочем, в письмах он, будто из суеверного опасения, старается приискать самые простецкие объяснения этим обуревающим его приступам. Тут-де воды виноваты, очень уж будоражат нервы. К водам надо прибавить то обстоятельство, что

его не отвлекают никакие личные тяжбы, никакие служебные дела. Что у него строжайший режим. Что он ни разу здесь не выпил и глотка вина, а что касается водки, то о ней вообще «никто в Мариенбаде не слыхивал».

…Но вот наконец он встает из-за стола, чувствуя необычную легкость в теле и счастливую опустошенность в голове. Пора обедать, он и так грубо нарушает предписания врача. Тут все обедают с часу до двух, а теперь уже три, и он еще не принял грязевую процедуру. Пока побарахтается, как в болоте, в теплой грязи, пока отмоет страшное свое, будто дегтем вымазанное, тело в другой ванне, уже и четыре. Обедает в отеле, в компании лакеев, которые устраиваются за одним большим столом, а ему подают за отдельным маленьким. Меню и для них, и для него одинаковое. Хотя в обеде четыре блюда, а все как-то чересчур миниатюрно: несколько ложек супа, крошечная котлетка, половина цыпленка, «самого тощего, как будто и он пил мариенбадскую воду». Зелень и фрукты для лечащихся почему-то строжайше запрещены. Но кофе и чай — пожалуйста. В общем-то, обед вовсе не насыщает его досыта. По крайней мере, дать ему дополнительную энергию для работы такая пища не может.

Теперь снова прогулка часа на два. У него в Мариенбаде есть несколько знакомых из русских. Иногда он с ними прогуливается, иногда сам. Сейчас о завтрашнем можно не думать. Можно позволить себе эту послеполуденную бездумность. К тому же воздух становится густ и горяч, даже в лесу, в тени, душновато. К вечеру соберется гроза. И в голове, как ни старается он отвлечься, рассеяться мыслями, все время ощущается присутствие округлого, клубящегося, подвижного сгустка, именуемого романом… Нет, не удается и теперь быть бездумным, наоборот, на ходу думается как-то легко, удачливо, с гораздо более широким и острым охватом всего письменного пространства, чем это бывает за столом.

В Мариенбаде лечатся люди солидные, нелегкомысленные, и потому ложатся тут рано. После десяти вечера на аллеях почти никого и не встретишь.

И он тоже, как это ни смешно покажется петербургским полуночникам, ложится в десять.

И спит крепко, полно, глубоко: как-то среди ночи «была жесточайшая гроза, перебудившая всех, а я не слыхал». Совсем как шесть лет назад, когда на море в своей каюте спал и не слышал пушечной пальбы.

Крепкий сон, лечебные процедуры, режим, воздух, прогулки, атмосфера волнующей и обязывающей оторванности от друзей, от дома, — как и тогда, на фрегате, — затем свобода от службы,

бодрящая непривычность новой обстановки — что же все-таки так на него подействовало? В чем ведущая причина негаданного творческого приступа? Ведь еще месяц назад «Обломов» находился буквально при смерти. По роману уже можно было заказывать панихиду. И вот Илья Ильич восстал из мертвых, прояснился во всех чертах, разросся в пышущего силой здоровяка… Или правы французы, считающие, что нужно во всем искать женщину?..

Ему сорок пять лет. Одна за другой рушатся надежды на личное счастье, на семейную жизнь. Это, конечно, уже последние надежды. Правда, отец его вторично женился в пятьдесят. Но ведь то вторично, а впервые?.. Все чаще одолевают Ивана Александровича приступы фатальной скуки. Это не мимолетная гостья, которая изредка навещает всякого человека. И не вычитанная из романтических поэм поза пресыщенного гордеца. Это та самая дремуче-серая холостяцкая скука, которая становится поперек жизни, не давая доступа к простым и простейшим радостям. В семье, в супружеском быту иногда и перебранка с супругой рассмешит и взбодрит. В семье день заполнен необходимым и необходимейшим: сердце, забывая о себе, расходуется на ласку детям, на рядовые заботы о хлебе насущном, на хлопоты о больных, на радование о здоровых. Всяко тут бывает — и солоно и горько, но только не скучно. Но Гончарову такая жизнь почему-то не дается.

Ему сорок пять. Только что отплыла, рассеялась надежда на любовь. Он садится за свой заглохший роман. Садится почти с отвращением… И вдруг!.. Как это все-таки объяснить?

Фрейдизм, по случайности или по недосмотру, не коснулся личности и творчества Гончарова (только в последние годы пробует касаться[4]). Сам творец психоаналитической кабаллы из русских авторов успел зацепить — и злобно зацепить — лишь Достоевского. Доморощенные отечественные фрейдисты также не добрались в свое время до создателя «Обломова». А между тем некоторые особенности его творчества, в частности история написания второго романа, — как будто заманчивый материал для психоаналитических экзерсисов. Фрейдизм, как известно, любит разоблачать «высокое». Само понятие чуда глубоко враждебно этой вульгарно-натуралистической доктрине. Так и о «Мариенбадском чуде» психоаналитик может сказать, что тут типичнейший пример сублимации, темная подсознательная стихия пола превращается в стихию творчества; неудовлетворенное эротическое чувство, не найдя естественного выхода, ищет его путем иносказания и получает наконец в универсальном заменителе, именуемом искусством.

Во времена Гончарова на побудительные причины художественного творчества смотрели еще целомудренно. Торжествовало понятие о *вдохновении* — властной и светлой силе, нисходящей на художника.

Это понятие было классически выражено в пушкинском четверостишии:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел…

Соответственно такому представлению и Гончаров признается в письме Льховскому из Мариенбада: «Я писал как будто по диктовке. И, право, многое явилось *бессознательно* (курсив наш. — *Ю. Л.*); подле меня кто-то невидимо сидел и говорил мне, что писать».

Тут все против Фрейда, даже слово «бессознательно», которым так любил пользоваться изобретатель психоанализа. По Гончарову, «бессознательно» — значит, без участия его сознания, его воли, всего его существа, то есть извне, то есть свыше. Кто-то нисходит невидимо, садится рядом и говорит. Муза?.. Ангел святого художества?..

По Фрейду же, бессознательное, как известно, — человеческое подполье, откуда норовит вырваться вопль ущемленного эроса. Не «высокое» нисходит к человеку, но, наоборот, «низкое», низменное путем алхимической манипуляции вдруг превращается в «высокое». Казалось бы, по трезвому разумению, из глины невозможно сотворить золотую чашу. В лучшем случае глину можно «сублимировать» до уровня кирпича, горшка. Но фрейдизм алхимически заклинает: из глины иногда бывает и золото, и без помощи какого-либо чуда, а просто так. Конечно, психоанализ не верит в это свое «золото». Оно ему в данном случае и не нужно. Цель достигнута уже тем, что «высокое» скомпрометировано низменностью своего происхождения. Скомпрометированы десятки великих имен европейской, мировой литературы, искусства. Метастазы метода, претендующего на роль самой гуманной научной и этической величины XX века, расползаются по всем направлениям.

…А между тем Гончаров писал «как будто по диктовке». Еще и еще раз он пытается объяснить самому себе в первую очередь, что с ним происходит в Мариенбаде. «Как же это случилось, что я, человек мертвый, утомленный, равнодушный ко всему, даже к собственному успеху, вдруг принялся за труд, в котором было

отчаялся? И как принялся, если бы Вы видели! Я едва сдерживал волнение, мне ударяло в голову, Луиза заставала меня в слезах, я шагал по комнате, как сумасшедший, и бегал по горам и лесам, не чувствуя под собой ног».

Как бы наперед защищаясь от возможных интерпретаций фрейдистского толка, Гончаров пишет Льховскому о своей героине Ольге Ильинской: «При этой фигуре мне не приходили в голову ни Елизавета Васильевна, ни А. А. — решительно никто…»

И чтобы подвести уже окончательную черту под этим вопросом, укажем здесь на несколько фактов вполне объективного порядка. «Мариенбадское чудо» в творческой практике писателя — событие, имеющее аналогии, хотя и не так ярко выраженные. Стремительно, в несколько бурных рывков, был написан недавно «Фрегат «Паллада». С почти такой же скоростью будет написан основной корпус «Обрыва». Так же быстро создавалась, насколько мы знаем, и «Обыкновенная история».

Конечно, в случае с «Обломовым» в один узел связано гораздо больше составных. На краткий промежуток времени приходится несколько обстоятельств, каждое иа которых уже само по себе способно наложить неизгладимый отпечаток на творческие возможности писателя. Как литератор после «Фрегата» Гончаров входит в полосу самой широкой известности в русских читательских кругах. Как ответственный чиновник цензурного комитета — в период наибольших моральных и психических нагрузок. Как личность — в годы полнокровной зрелости, наивысшего расцвета духовных и физических сил. Как мужчина — в горькую пору сердечных невезений, хронически уязвляемого самолюбия. В его теле, однако, уже дают о себе знать предвестья будущих болезней. Жизнь его — где-то у критической точки наивысших напряжений. Как-то справится он с ними, кто кого одолеет?

Будто сама судьба собрала, сгребла в груду и выставила перед ним множество жестких условий. Это наступает когда-нибудь в жизни у каждого. И тут никто не сможет помочь — ни словом, ни чем еще. В лучшем случае мы только стоим безмолвным незримым кругом и просим: справься, человек…

Много лет Гончаров нес ношу романа в гору. И в изнеможении опустил ее на самом верху. Тут — еще одна причина (не главная ли?) «мариенбадского чуда». Роман к этому сроку «выносился весь до мельчайших сцен и подробностей и оставалось только записывать его». Оставалось сделать краткое, но могучее усилие.

Справься же, человек!..

Он еще оглушен всем происходящим, еще не верит, что

случившееся — реальность. Полтора месяца назад в письме Льховскому из Варшавы он проронил как бы нечаянно: «у зла есть дно, добро — бездонно…» Какое, однако, *личное* откровение! Он не ждал уже победы. Лишь каким-то неугнетенным краешком души продолжал верить, как дети верят в небывалое: зло ограничено, добро беспредельно. И вот — недели невероятной творческой возбужденности: все силы счастья, здоровья, созидания, радости, воли, ума, что были в нем накануне угнетены, скованы и оскорблены, — все это враз всколыхнулось, разрослось, сдвинулось с места, и дно — то самое плоское серое дно, которое так часто застило ему небеса, — вдруг зазмеилось трещинами, раскололось, рассыпалось на куски, и, ликующе бездонный, хлынул, сметая со своего пути осколки, победительный творческий свет.

Еще не дописаны заключительные главы, еще — он видит — предстоит уйма возни с тем, что вчерне готово, а Гончаров уже рвется с кем-нибудь поделиться своей радостью.

Напряжением последних недель начисто выжжены из его организма разные хворости. Он не чувствует ни болей в печени, ни обычных приступов апатии. Он словно помолодел лет на двадцать. Ему хочется двигаться, ездить, глазеть на всевозможные европейские достопримечательности. Спасибо Мариенбаду за его грязь и воду, спасибо Луизе за ее букеты, а местным поварам за их крошечные воздушные котлетки. Они славные люди, но ведь не им же станет он читать своего «Обломова». И не доктору, который до сих пор убежден, что этот русский господин целый месяц писал тут статистические отчеты.

4 августа Гончаров выезжает во Франкфурт. Оттуда попадает в Майнц, где на местной пристани покупает билет до Кельна. Плавание по Рейну ошеломляет его. Какие живописные, прибранные берега — с крутыми откосами, с аккуратными развалинами замков, с виноградниками. В Кельне, едва получив номер в гостинице, выскочил на улицу и устремился к знаменитому готическому собору. «Я выбежал на него из-за какой-то лавчонки и почти лег на спину, чтобы увидеть одну башню, которая готова только вполовину…» — эта картинка, род автошаржа, — из очередного письма Льховскому. Ему же перечисляет Гончаров и иные забавные детали своего путешествия: в Париже, устроясь в отеле, он опять тут же мчится на улицу, но на сей раз не архитектурные дива разглядывать, а… съесть мороженого на Итальянском бульваре у Тортони. Мраморные столики стоят прямо на улице, вокруг толкотня, смех, шарканье подошв, беспечные позы, праздный шум листвы. Можно подумать, что каждый из этих людей уже написал по своему

«Обломову» и теперь наслаждается заслуженным бездельем.

Поздно вечером, когда Иван Александрович приплелся наконец в отель, гарсон сообщил ему, что здесь, в hôtel du Brésil, живет еще несколько русских. Кто же? Господин Фет. Господин Боткин. У первого господина вчера была свадьба…

Ну вот, и искать не надо! Иван Александрович дал гарсону свою визитную карточку с просьбой отнести ее завтра утром господину Фету.

А наутро обнаружилось, что молодожены занимают номер как раз под номером Гончарова. Вместе отправились обедать. «Обломова» условились слушать следующим днем, когда приедет из загородного имения Виардо Иван Тургенев.

И вот долгожданный для Гончарова день. Расположились в небольшой комнате Фетов. Читал он не подряд, а выборочно, отдельные главы. На улице жара, душно и в помещении, но Иван Александрович этого внешнего жара не замечает, он сам как бы в огне. Особенно подбадривает его реакция Тургенева: Иван Сергеевич то с восклицаниями бросается в объятия, то взвизгивает и пищит, когда что-то ему не нравится, то умолкнет, замкнется, то снова с объятиями. Да, кое-что — это автору сейчас и самому видно — надо безжалостно сокращать. Особенно диалоги страдают. В одном месте Фет даже вздремнул нечаянно. Но общее впечатление — по слушателям видно — удовлетворительное, и даже более того. Боткин то и дело вскрикивает: «Перл!» Тургенев называет роман вещью капитальной. И все в один голос предвещают «Обломову» громкий успех.

На следующий день снова обедали все вместе в одной из лучших парижских ресторанов и вечером продолжили слушание глав. Жаркий, ослепительный август пылал над Парижем, время пожинания плодов. На улицах уже торговали персиками — громадными, величиной с кулак, виноградом и грушами.

В один из первых дней пребывания в Париже Гончаров собрался в Лувр. Льховскому он пишет: «с полчаса в удивлении просидел перед Венерой Милосской».

Здесь он не мог не вспомнить снова о своем давнишнем замысле еще одного романа. О своем Художнике.

НЕСОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК («Обломов»)

Никто не знал и не видел этой внутренней жизни Ильи Ильича: все думали, что Обломов так себе, только лежит да кушает на здоровье и что больше от него нечего ждать; что едва ли у него вяжутся и мысли в голове. Так о нем и толковали везде, где его знали.

И. Гончаров. Обломов

Душе моя, душе моя, востани, что спиши?

Андрей Критский

В 1860 году в «Современнике» был опубликован под названием «Эпизоды из жизни Райского» фрагмент уже начатого Гончаровым «Обрыва». В том же году со статьей «Софья Николаевна Беловодова» дебютировал в критике восемнадцатилетний Николай Михайловский, будущий видный публицист и идеолог народничества. Разбирая новое гончаровское произведение, касаясь заодно и «Обломова», молодой литератор мимоходом, почти вскользь, обратил внимание на такой пласт содержательности романов, которого ни до него, ни многие десятилетия после него никто в критике по-настоящему не трогал, хотя и лежит этот пласт как будто совсем на виду.

«В числе мифов других народов, — пишет Михайловский, — есть очарованный сон, и русская фантазия породила целое сонное царство… Г. Гончаров вводит нас в настоящее сонное царство. В самом деле, бодрствуют ли Обломов и Софья Николаевна Беловодова? Нет, они спят сном крепким, непробудным, сном очарованным. Их погрузил в этот сон злой волшебник…»

«Долго спали Обломов и Софья Николаевна спокойно; наконец, их сон был не нарушен, но несколько обеспокоен — явились гусли-самогуды, это Ольга и Штольц для Обломова и Райский для Беловодовой».

«Злой волшебник», «сонное царство», «гусли-самогуды»… Назвав эти сказочные реалии, критик, к сожалению, не

рассматривает их применительно к гончаровской прозе подробнее. Цепкое юношеское наблюдение сузилось до летучей метафоры, которую ее автор почти тут же и забыл. Так не состоялось открытие, которое могло бы очень многое прояснить современникам в особенностях творческого метода писателя.

А между тем сказочно-мифологическая подоплека романного действия в «Обломове» настолько значительна, идеологически весома, что реалистический метод Гончарова так и хочется назвать здесь как-то по-особому: определить его — пусть начерно, условно, в рабочем порядке — как некий *мифологический реализм*, понимая его как такой способ художественного отображения действительности, при котором автор дает в своих произведениях самый широкий простор сказочно-фольклорному, легендарному, древнелитературному, то есть *мифологическому* материалу. Причем этот материал вводится им не в виде цитат, орнаментальных вставок, ассоциаций, но органически проникает в самую сердцевину содержательности, действует на уровне сюжета, идеи, всей образной системы произведения.

Элементы такого мифологического реализма мы видели уже в «Обыкновенной истории» (вспомним хотя бы мотив демонического соблазна или образ «деревенского рая»).

В «Обломове» мифологический реализм торжествует полную победу. Мифологическая подоплека романного действия настолько многослойна, что в лучшем случае нам удастся здесь лишь пунктирно обозначить ее приблизительный объем. Тем самым мы будем постепенно «исчерпывать» образ Обломова, заранее предупреждая о том, что анализ может привести лишь к относительно достаточным результатам.

Начнем со сказочно-фольклорного пласта в романе.

Летом 1857 года, работая в Мариенбаде над «Обломовым», Гончаров пишет Льховскому: «Вся эта большая сказка должна, кажется, сделать впечатление, но какое и насколько, не умею еще решить». (Интересно, что это неожиданное жанровое определение своего романа — «сказка» — Гончаров повторит через три года в письме к Софье Никитенко, но уже по поводу «Обрыва»: «Я оставляю беседу с Вами, чтобы приняться за свою сказку».)

Итак, «Обломов» — «большая сказка». Нетрудно догадаться, что в таком случае ее ядром по праву следует считать «Сон Обломова». «Сон» — образный и смысловой ключ к пониманию всего произведения, идейно-художественное средоточие романа. Действительность, изображенная Гончаровым, простирается далеко за пределы Обломовки, но подлинная столица «сонного царства», безусловно, фамильная вотчина Ильи Ильича.

Вспомним, каковы основные признаки такого царства в

волшебной сказке? Прежде всего это его отгороженность от остального мира. В сонное царство почти невозможно проникнуть, а из него выбраться.

Что ж, по степени своей особности, отъединенности и закрытости Обломовка может потягаться с любым зачарованным, заколдованным царством. Много ли народу приезжает или приходит в нее на протяжении долгого сна Ильи Ильича? Нам почти некого вспомнить: разве лишь забавный эпизод со спящим мужиком, которого дети обнаруживают в канаве и принимают за страшного змея-оборотня. Явление этого чужака производит потрясение и в рядах взрослых обломовцев. Потрясение настолько сильное, что они даже не решаются разбудить его, чтобы узнать, откуда он сюда забрел и зачем. Так подпавший под чары сонного царства мужик и остается лежать в канаве, и читателю неизвестно, проснется ли он когда-нибудь вообще.

Даже в своих беседах обломовцы стараются обходить молчанием тему о неизвестных и нежданных пришельцах, как будто на тему эту наложено табу. Комизм эпизода с чужим мужиком усилен тем, что из-под сказочного обрамления проступает вполне реалистическая мотивировка: скорее всего мужик просто-напросто пьян.

Но если приехать или прийти в Обломовку крайне трудно, то покинуть ее пределы — действие, в понимании обломовцев, еще более несуразное, дикое, едва ли не кощунственное. Куда? Зачем? Да и что там-то? Может ли там, в иных «царствах», быть лучше? Как и следует ожидать, географические понятия обломовцев о земле, о других «царствах» вполне сказочны: «слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы, а далее уже начинается для них, как для древних, темный мир, неизвестные страны, населенные чудовищами, людьми о двух головах, великанами; там следовал мрак — и наконец все оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю».

Поэтому, если вдруг обломовцы пожелают обсудить современную ситуацию в мире, они прибегают к традиционной мифологической лексике: «Пришли последние дни: восстанет язык на язык, царство на царство… наступит светопреставление!»

Но это в беседах, а про себя-то каждый знает точно: никогда с Обломовкой ничего худого не произойдет, как спала извеку, так и будет себе слать мирно до самого избытка времен, на зависть всем соседним царствам.

Великолепна гончаровская пластика в описании того, как разнообразно, талантливо, самоупоенно и сладостно умеют обломовцы спать, то есть исполнять главное жизненное условие «сонного царства». Спящие, дремлющие, млеющие, грезящие в

забытьи и неземном блаженстве обитатели имения, господа и дворня, сам маленький божок сна — Илья, его дряхлая няня, а за ними вся Обломовка, люди и животные, птицы, деревья, насекомые — во всем, на кого и на что ни погляди, сон есть главная жизненная артерия. Даже воздух здесь спит, ибо «висит без движения», даже солнце погружено в дремоту, потому что «стоит неподвижно».

«Это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти». Впрочем, даже сама смерть ленится навещать Обломовку, «а если кто от старости или от какой-нибудь застарелой болезни и почил вечным сном (заметим, не умер, не скончался, но именно «почил *вечным сном*». — *Ю. Л.*), то там долго после этого не могли надивиться такому необыкновенному случаю».

Волшебному царству сна, разумеется, противопоказан любой вид движения, действования, делания. Соответственно этому закону и Обломовка — мир принципиального, возведенного в абсолют безделия. Единственный освященный традицией вид труда здесь — изготовление и поедание пищи. Апофеоз насыщения в Обломовке — вкушение громадного пирога. Он поглощается в течение пяти дней, то есть почти до следующего пирога. Нужен ведь и отдых, хоть небольшой.

Таково это «сонное царство», где почти никто не работает и не умирает, где главное занятие — разнообразные виды сна, где не случается моров и нашествий, холодных, зим и чрезмерно жарких лет, где никогда не бывает «ни страшных бурь, ни разрушений», «ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей», куда «саранча не залетает», где «грозы не страшны», а звезды «дружески мигают с небес», где безбоязненно «избы отворены настежь», и самая дряхлая из них каким-то чудом висит над оврагом и давно бы уже должна провалиться, но все держится, и, чтобы войти в нее, гость непременно должен попросить избу «стать к лесу задом, а к нему передом», где, наконец, никто не желает быть пробужденным для другой, пускай и более прекрасной, действительности, потому что и так хорошо.

«Сонное царство» Обломовки графически можно изобразить в виде замкнутого круга. Кстати, круг имеет прямое отношение к фамилии Ильи Ильича и, следовательно, к названию деревни, где прошло его детство. Как известно, одно из архаических значений слова «обло» — круг, окружность (отсюда, «облако», «область»). Такой смысл как будто вполне соответствует мягкокруглому, шароподобному человеку Обломову и его округлой, мирно блаженствующей вотчине.

Но еще явственнее в фамилии Ильи Ильича проступает

другое значение, и его, на наш взгляд, и имел в первую очередь в виду автор. Это значение *обломка*. В самом деле, что такое обломовское существование, как не обломок некогда полноценной и всеохватной жизни? И что такое Обломовка, как не всеми забытый, чудом уцелевший «блаженный уголок» — обломок Эдема? Здешним обитателям *обломилось* доедать археологический обломок, кусок громадного когда-то пирога. Вспомним, что пирог в народном мировоззрении — один из наиболее наглядных символов счастливой, изобильной, благодатной жизни. Пирог — это «пир горой», рог изобилия, вершина всеобщего веселья и довольства, магическое солнце материального бытия. Вокруг пирога собирается пирующий, праздничный народ. От пирога исходят теплота и благоухание, пирог — центральный и наиболее архаический символ народной утопии. Не зря и в Обломовке царит самый настоящей культ пирога. Изготовление громадной сдобы и насыщение ею напоминают некую сакральную церемонию, исполняемую строго по календарю, из педели в неделю, из месяца в месяц. «Сонное царство» Обломовки вращается вокруг своего пирога, как вокруг жаркого светила.

Словно для того, чтобы подчеркнуть впечатление сказочности создаваемого им мира, писатель вводит в «Сон Обломова» персонаж, на который приходится во всей этой части романа едва ли не наибольшая смысловая нагрузка. Вспомним: Илюша «в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне, она нашептывает ему о какой-то неведомой стране, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать».

Весь сказочный быт Обломовки словно нашептан няней. Она — душа «сонного царства», его добрая волшебница. Именно ей обломовская действительность обязана своим наивным очарованием. В образе няни, может быть, всего отчетливей обнаруживается своеобычие гончаровского мифологического реализма. С одной стороны, няня Илюши — традиционное лицо усадебного и крестьянского быта XIX века, какое мы нередко встречаем в других произведениях той же эпохи. Но с другой — эта старуха куда древней своего века и своих сказок. В ее образе олицетворена легендарно-бессмертная прапамять множества поколений: исконные представления о добре и зле, о страшном и прекрасном. Няня «влагала в детскую память и воображение» — ни много ни мало — «Илиаду русской жизни».

Богатейший репертуар обломовской сказительницы подробно

изложен на страницах романа, и «сонная тема», как нетрудно уже догадаться, играет в этом репертуаре ведущую роль. Тут и повествования о «спящих царевнах, окаменелых городах и людях», и подробно комментируемая сказка о Емеле-дураке, и богатырский цикл, представленный прежде всего сказаниями об Илье Муромце.

«Русская Илиада», как известно, и начинается с Ильи Муромца, и почему бы не предположить, что эта смысловая рифма (Илья — Илиада) вполне сознательно использована автором. Но тогда в «Русскую Илиаду», как едва ли не последнее ее предание, по праву должен войти и наш Обломов. Ведь аналогия, проведенная в романе между богатырем, который тридцать лет сиднем просидел в своей избе, и Ильей Ильичом, тоже достаточно прозрачна.

И все же основной фольклорный прообраз Обломова в романе — не былинный богатырь Илья, а мудрый сказочный дурак Емеля. «Там есть добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного — другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают, — да и осыпает его ни с того, ни с сего, разным добром, а он знай кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице Милитрисе Кирбитьевне».

В одной этой фразе — почти целая программа романа, почти вся судьба Обломова. Потому что это ведь его, Обломова, будут дурачить, морочить, водить за нос и надувать все, кому не лень, — начиная с обломовского старосты, с явных негодяев Тарантьева и Мухоярова и кончая даже преданным лакеем Захаром, даже лучшим другом — Штольцем. И это ему, Обломову, напоследок судьба пошлет в жены красавицу Выборгской стороны Агафью Матвеевну — новую Милитрису Кирбитьевну.

Сказочная атмосфера, сконцентрированная в «Сне Обломова», постепенно охватывает все пространство романа. Домик на Выборгской стороне также попадает в зону действия «сонного царства». Именно здесь в сознании нашего петербургского Емели реальность и сказка окончательно теряют свои границы. Вымышленное и действительное совпали, «настоящее и прошлое слились и перемешались». И вот: «Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки меду и молока, где… ходят в золоте и серебре».

Обломова невозможно до конца понять, если не видеть в нем этой вот сказочно-мифологической ипостаси. В интенсивном

сказочном подсвете перед нами — не просто лентяй и дурак. Это мудрый лентяй, мудрый дурак. Он — тот самый лежачий камень, под который вопреки естественнонаучному пословичному наблюдению вода в конце концов все-таки течет.

Как и положено сказочному дураку, Обломов не умеет, да и не хочет предпринять ничего активно-наступательного для того, чтобы стяжать земное счастье. Как истый дурак, он стремится никуда не стремиться, знает, что ничего нового не надо ему узнавать, заботится лишь о том, чтобы прожить без забот, споспешествует всякому промедлению, беспокоится об одном только упокоении и пребывает в обидной для других уверенности, что этот самый покой ему не только спится, но и вполне доступен наяву. Хотя другие беспрерывно что-то замышляют и промышляют, строят планы, а то и козни, снуют, толкутся и гомозятся, ломятся напролом и потирают руки, устремляются в обход, лезут из кожи вон, обгоняют собственную тень, громоздят воздушные мосты и вавилонские башни, суются во все щели и торчат изо всех углов, начальствуют и лакействуют одновременно, всуе мятутся, даже с самим лукавым вступают в сделку, но все же ни в чем они в итоге не успевают и никуда не поспевают.

А этот лежачий, мхом обросший камень все торчит и торчит себе недвижно: солнце ли печет его, мороз ли калит, сечет ли дождевая крупка, а на его благодушной физиономии — все та же дуга дурацкой улыбки. Но река между тем все ближе и ближе и вот уже совсем подластилась, обдала его по губам молочно-кисельной волной…

И чем проймешь подобного дурака?! На любой довод у него ответ: и так сойдет… Все лишнее, что трудно достается. Легкое — нетрудно, а трудное — ненужно. Не трудятся же птицы небесные, не сеют, не жнут, а лишь поют и любятся, без усилий добывают пищу, лепят простенькие гнезда, сотворяют себе подобных, с радостью их кормят и учат жить такою же простой жизнью. И всякий год прилетают под одну и ту же простенькую крышу, не завидуя иным, лучшим краям и богатым хоромам.

Пусть другие рассыпаются, как саранча, по лицу земли. Ничего не выдумать лучше того блага, которое рядом и, значит, достается даром. Зачем Емеле карабкаться на заморские золотые горы, когда рядом, лишь руку протяни, все готовое: и колос золотится, и ягода пестреет, и тыква полнится мякотью. Это и есть его «по щучьему веленью» — то, что рядом, под рукой. Рай — только глаза протри — рядом, а не за горами и морями…

Так за внешним дурачеством сказочного персонажа, за житейской беспомощностью и неприспособленностью

обнаруживается человек, который всем своим существом укоряет суетный, узкопрактический, фальшиво-деятельный мир. Укоряет прежде всего тем, что наотрез отказывается от участия в делах *такого* мира.

В 1921 году, через три года после революции, размышляя о загадках отечественной истории, Михаил Пришвин писал в дневнике: «Никакая «положительная» деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя… Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение *своего* существования, сопровождается чувством неправоты, а только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом *для других*, может быть противопоставлена обломовскому покою». (Здесь под «положительной» деятельностью Пришвин разумеет социальный и экономический активизм «мертво-деятельных», по его выражению, людей типа Штольца.)

«Обломов» дает основательнейший материал для такого вывода. Правда, мы больше привыкли к тому, что в тексте романа Илья Ильич — сторона критикуемая. Но нельзя не видеть, что есть тут и иной Обломов, — словом и делом обороняющий принципы своего существования. А иногда и в наступление переходящий, *критикующий*.

С таким Обломовым мы сталкиваемся уже в первых главах первой части романа.

Напомним, что действие в «Обломове» начинается 1 мая. С утра Илью Ильича навещают несколько знакомцев со стандартным приглашением совершить прогулку в Екатерингоф, куда в этот день по традиции выезжает половина Петербурга. Обломов отказывается, причем не только от поездки в Екатерингоф, но и от целого ряда других приглашений и предложений.

Каждый из посетителей Обломова являет собой какую-нибудь социально-общественную функцию. Волков — тип влюбчивого, порхающего по балам и театрам ухажера, Судьбинский — чиновник до мозга костей, Пенкин — образчик всеядного беспринципного журналиста, строчащего на любую тему: «о торговле, об эмансипации женщин, о прекрасных апрельских днях… о вновь изобретенном составе против пожаров…» «А пуще всего я ратую за реальное направление в литературе». Алексеев — человек без собственных мнения и воли, вечно кому-то поддакивающий и подыгрывающий, не зря Захар говорит о нем: «А у этого ни кожи, ни рожи, ни ведения!» Тарантьев — угрюмый вымогатель и грубиян.

Высказывания Обломова о своих гостях — последовательная критика неполного, узконацеленного, функционального существования.

О Волкове: «В десять мест в один день — несчастный!.. И это жизнь!.. Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается?»

О Судьбинском: «А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства — зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое…»

О Пенкине: «Да писать-то все, тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и все куда-то двигаться… И все писать, все писать, как колесо, как машина…»

«Человека, человека давайте мне!» — восклицает Обломов. Но вместо совершенного человека перед ним мелькают скучные подробности, частности раздробленного, рассыпавшегося образа.

После явления пяти гостей с их стандартным приглашением в Екатерингоф Илья Ильич выдерживает напор еще одного лица, соблазняющего его резко изменить образ жизни. Это доктор. И он тоже предлагает Обломову куда-нибудь съездить. Но давление идет по нарастающей: тут речь уже не о Екатерингофе, а о заграница — о Киссингене, Эмсе, Париже, о Швейцарии, Египте, Англии, Америке!

Наконец — на заключительных страницах первой части — в квартире Обломова появляется и Штольц. По всему видно, что именно этому персонажу в отличие от предыдущих удастся хотя бы отчасти «сдвинуть» лежачекаменного Илью Ильича с места. Настоящий конфликт уже угадывается. Но все основные события романа — впереди.

Обломову действительно предстоит испытать великие соблазны, выдержать суровые обвинения. Но он и сам еще не раз и не два явится лицом обвиняющим и критикующим. С помощью «нового» в романе обнажается беспомощность «старого». Но одновременно с этим «старое» ставит под сомнение нравственную состоятельность «нового». Критика патриархальной отсталости синхронна на протяжении всего романа критике самоцельного и самоупоенного практицизма, той вездесущей деловитости, которые несет с собою «новый» человек — «чистый» негоциант и международный турист Андрей Штольц.

В свое время у Аполлона Григорьева активный протест вызвала позиция Гончарова по отношению к Штольцу: автор якобы выставил своего «немца» едва ли не идеалом современного человека, а «идеал» этот, как приглядишься, выглядит пошловато,

ходульно. (Штольц далеко не устраивал и Добролюбова, хотя знаменитое свое определение «обломовщина» критик позаимствовал именно у этого персонажа.)

Претензия А. Григорьева к романисту по поводу Штольца так же несправедлива, как и высказанная им в свое время претензия по поводу Петра Адуева. Как в одном, так и в другом случае Гончаров ни в коей мере не идеализирует «дельного» человека. Наружная обаятельность романного Штольца не должна вводить нас в заблуждение. Этот персонаж так и задуман автором, чтобы на поверхности действия все время оставаться ему выигрышно привлекательной фигурой, этаким отовсюду правильным «молодцом».

Но лишь на поверхности. Характерен разговор двух героев романа, состоявшийся после того, как Штольц решительно вытащил Обломова «в свет». Раздражение Ильи Ильича от всего увиденного и услышанного настолько велико, что в нем снова пробуждается критик, причем помимо своей воли метит он иногда прямо в Штольца: «…вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, это оглядывание с ног до головы; послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице; только и слышишь: «Этому дали то, тот получил аренду». — «Помилуйте, за что?» — кричит кто-нибудь. «Этот проигрался вчера в клубе; тот берет триста тысяч!» Скука, скука, скука!.. *Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?*» (Курсив наш. — *Ю. Л.*)

Для того чтобы удостовериться в том, что эта филиппика непосредственно касается Штольца, достаточно приглядеться внимательней к его таланту «вечной беготни». Его способность быть, так сказать, вездесущим заставляет о многом задуматься — это ведь почти уже и нечеловеческая способность. То Штольц приносится неизвестно откуда в Петербург, то устремляется в направлении Обломовки, то оказывается для чего-то в Нижнем Новгороде, Москве, в Крыму. Он едет за границу: Бельгия, Англия. И опять Россия: Киев, Петербург, Одесса… Затем снова за пределы «отечества»: в Бонн, Иену, Эрланген. Посещает Париж, собирается в Швейцарию и в Италию. Словом, «выучил Европу как свое имение». И вновь — Швейцария и Обломовка, Одесса и деревня Ольги Ильинской, очередной разговор о поездке в Италию.

«Я видел Россию вдоль и поперек», — не очень по-русски свидетельствует Штольц, но в итоге этого продольно-поперечного

знакомства более всего в России полюбился Штольцу «южный берег Крыма». Здесь наконец и строит он свой «маленький дом», в котором размещает внушительный багаж европейской мебели и посуды, а также коллекцию произведений искусств. Пестровата все же «география» у этого, как он сам себя осознает, «туриста, негоцианта».

Да и круг знакомств пестроват: то какие-то бароны, князья и иные титулованные особы, то банкиры, золотопромышленники, акционеры и торговцы, всё предприимчивые, находчивые и отзывчивые люди, которые, так же как и Штольц, целью жизни считают «дело». И отчего вдруг в эту компанию включает он нелепую фигуру Обломова? Давняя симпатия, память о детской дружбе? Ведь должна же быть какая-то отдушника, какое-то душевное окошечко в организме Штольца, состоящем, как известно, исключительно «из мускулов и костей»! Или просто-напросто надобен Штольцу объект для выслушивания его нравоучительных сентенций — о пользе умеренной пищи, ежедневных моционов и регулярного чтения газет? И то и другое — скажем так. Но есть еще одно обстоятельство, из-за которого Штольц изо всех сил тянется к Илье Ильичу. Это обстоятельство — Обломовка и ее обитатели. Пока существует «сонное царство», Штольцу все как-то не по себе, даже в Париже плохо спится. Мучит его, что обломовские мужики испокон веку пашут свою землицу и снимают с нее урожаи богатые, не читая при этом никаких агрономических брошюр. И что излишки хлеба у них задерживаются, а не следуют быстро по железной дороге — хотя бы в тот же Париж.

Но разве Обломов додумается когда-нибудь сам до таких усовершенствований? Он ведь, как отец и дед его, считает грехом «стараться приобретать больше».

И вот все эти хлопоты по наилучшему устроению Обломовки приходится Штольцу взвалить на свои плечи. «Сонное царство» рушится не оттого, что слишком ленив Илья Ильич, а потому, что поразительно деятелен его приятель. По воле Штольца «Сонное царство» должно превратиться в… станцию железной дороги, а обломовские мужички пойдут «работать насыпь».

Вот и столкнулись на полном разгоне неповоротливая Емелина печь и жаркий паровоз, сказка и явь, древний миф и трезвая действительность середины XIX века.

В истории превращения Обломовки в железнодорожную станцию угадывается другой знаменитый литературный сюжет — мы имеем в виду вторую книгу гётевского «Фауста», эпизод со строительством канала, который должен пройти по территории, занятой усадьбою Филемона и Бавкиды. Но в проведении

аналогий между двумя творениями здесь нужна особая осторожность. Гончаровский Штольц, конечно, ни в коей мере не является носителем фаустовского начала. Если уж искать для него у Гёте соответствующий прообраз, то таким прообразом будет скорее Мефистофель. Дело не только в энергичности, подвижности, услужливости и вездесущности Штольца. В тексте «Обломова» содержится и куда более выразительная «цитата» из Фауста. Ибо по-настоящему от Штольца начинает попахивать серой, когда на сцену выходит… Ольга Ильинская.

Как известно, гётевский Мефистофель поступил вовсе не оригинально, *подсунув* Фаусту в качестве возлюбленной и любовницы невинную Гретхен. Бес в данном случае действовал по старинному, десятки и сотни раз обкатанному сценарию, автором которого был, как известно, сам библейский князь тьмы — родоначальник греха. Со времен наущения Евы нечистый всегда успешней всего действует через женщину.

Присмотримся: как ни неожиданно это нам может показаться, но тем же самым «сценарием» пользуется в «Обломове» и Штольц. Он ведь тоже — не постесняемся этого резкого слова — буквально *подсовывает* Обломову Ольгу. Причем делает это, предварительно сговорившись с нею об условиях «розыгрыша». Ни о какой *любви* вначале и речи не идет. Просто-напросто нужно вытащить лежебоку «в свет», «просветить» его. (Чем не модернизированный вариант вкушения плода от «древа познания»?)

Отношения Обломова и Ольги развиваются в двух планах: прекрасная поэма зарождающейся и расцветающей любви оказывается одновременно и тривиальной историей «соблазна», орудием которого суждено быть возлюбленной Ильи Ильича. Характерно, что Ольга, сколько бы пи полнилось ее сердце ответным чувством к Обломову никогда почти не забывает о своей роли «просветительницы». Ей очень нравится осознавать себя в подобной роли: шутка ли, она, женщина, ведет за собой мужчину! Что за сила ей сообщена, что за власть такая?! Как тут не загордиться, как не закружиться славной головке!..

Реальный и мифологический планы в поведении Ольги сосуществуют как бы неопознанно друг для друга. Ни она, ни Обломов не догадываются о подспудном «сюжете»; все происходящее между ними происходит «как у людей», и в то же время есть в этих событиях какая-то едва уловимая новизна.

Напомним, что по давней — еще дореволюционной — критической традиции с Ольги Ильинской принято открывать литературную родословную русских «новых» женщин. Казалось бы, «новое» в содержании этого образа — черта

труднодоказуемая. Оно не проявляется ни в общественных взглядах героини (кстати, о них мы ничего и не знаем), ни во внешнем ее облике и манерах (не курит, не вмешивается в мужские споры, не стрижет коротко волос, не старается говорить басом; наоборот, скромна, аристократически сдержанна, деликатна).

И все-таки Ольга — «новая», в самом глубоком и отчетливом значении этого слова, хотя ее новизна стихийна, почти не осознана своей носительницей. В любовных коллизиях нередко первый активный шаг предпринимает женщина. Однако Ольга предпринимает его так, что это сразу же резко выдвигает ее за пределы традиционного ряда. Полюбить, чтобы перевоспитать, полюбить «из идейных соображений» — в подобной установке есть что-то неслыханное, не имеющее аналогий. Влюбленность Ольги носит явно экспериментальный характер. Это идеологическая, головная, заданная влюбленность. Здесь даже неважно, что задание получено со стороны, важно то, что рациональный план вполне устраивает героиню, учащает ее пульс и слегка сбивает дыхание. «Она даже вздрагивала от гордого, радостного трепета; считала это уроком, назначенным свыше. Она мысленно сделала его (Обломова. — *Ю. Л.*) своим секретарем, библиотекарем».

Едва ли не с наибольшей выпуклостью рационализм поведения Ольги проступает в комическом эпизоде «лазания на гору». В жаркий летний полдень Обломов приходит на свидание, назначенное в окрестностях дачи, но не застает Ольгу на месте. Некоторое время он топчется у подножия горы и лишь потом обнаруживает Ольгу на ее вершине. С великим трудом, с передышками Илья Ильич взбирается на гору, не подозревая, что препятствие предусмотрено девушкой. Гора — не только возможность лишний раз «потренировать» ожиревшего Обломова. Гора вырастает в романе до уровня символической вертикали, противостоящей «горизонтальному» бытию главного героя.

В безобидном на первый взгляд розыгрыше оказывается гораздо больше «эмансипации», чем в курении папирос, короткой стрижке и посещении курсов физиологии. По крайней мере, экспериментальный характер чувства Ольги Ильинской тут совершенно налицо.

Обаяние легких, воздушных, мастерски нарисованных сцен с ветками сирени, с пением итальянских арий, с разговорами и вздохами в тени ночных аллей, в первые же годы после появления романа выдвинуло Ольгу в ряд самых популярных героинь русской прозы. Между тем в романе есть другой женский образ, который, по замыслу автора, вправе рассчитывать на более

прочную читательскую симпатию. Речь идет о возлюбленной, а затем и жене Обломова, матери его сына, Агафье Матвеевне Пшеницыной. Если Штольц — антипод Обломова, то Пшеницына в такой же степени — антипод Ольги. Головной, рассудочно-экспериментальной любви «новой» женщины противопоставлена в лице Пшеницыной традиционная, душевно-сердечная, не управляемая никакой внешней идеей любовь, о которой можно сказать, что она стара как мир.

К сожалению, русская критическая мысль (исключение составил, кажется, лишь Аполлон Григорьев) как-то проглядела Пшеницыну, а скорей всего поддалась гипнозу мнения Штольца, с точки зрения которого Пшеницына есть чудовище, погубившее Обломова. «Уж если между женскими лицами г. Гончарова придется выбирать непременно героиню, — писал А. Григорьев, — беспристрастный и не потемненный теориями ум выберет, как выбрал Обломов, Агафью Матвеевну, — не потому только, что у нее локти соблазнительны и что она хорошо готовит пироги, — а потому что она гораздо более женщина, чем Ольга».

Любовь Агафьи Матвеевны, почти безмолвная, неловкая, не умеющая выразиться в красивых, нежных словах и впечатляющих жестах, любовь, как-то вечно присыпанная сдобной мукой, но когда надо, то и жертвенная, целиком устремленная на свой объект, а не на саму себя, — эта любовь незаметно преображает простую, заурядную женщину, становится содержанием всей ее жизни. Страницы четвертой книги романа, посвященные петербургской Милитрисе Кирбитьевне нашего Обломова, — в частности, гениальный эпизод печалования Пшеницыной по умершему Илье Ильичу, — относятся к вершинам русского любовного лиризма.

Говоря о мифологическом реализме Гончарова применительно к материалу его второго романа, мы до сих пор по преимуществу (за исключением «Фауста») касались сказочно-фольклорного (русский эпос) и древнекнижного (библейские сказания) пластов. Между тем в мифологическом подспудье «Обломова» содержится и пласт собственно литературный. «Фаустовский» мотив — далеко не единственная реплика Гончарова на великие образы западноевропейских литератур.

Уже современники писателя обратили внимание на то, что в тексте «Обломова» имеется глубинная перекличка с образами и проблемами «Дон-Кихота». В этом творении Сервантеса, как известно, предельно обнажено одно из корневых противоречий человеческого сознания — противоречие между идеальным и реальным, воображаемым и действительным. Фанатическая вера

Дон-Кихота в непреложную реальность своих грез катастрофически противопоставлена практицизму его человеческого окружения.

Но такого же рода противоречие содержится и в «Обломове». Илья Ильич, как бы резко ни разнился его темперамент от донкихотовского, непреклонен в отстаивании своей сказки, своего представления об идеале жизни. Он от начала и до конца почти постоянно «живет» в сказке, какой бы зыбкой и беззащитной ни выглядела эта жизнь со стороны. Его бытие — длящееся предание, непрекращающийся древний обряд. Новая действительность на каждом шагу предупреждает его, что обрядовой действительности «обломовщины» приходит конец, что ей вскоре суждено превратиться в иллюзию, фантом. Но Илья Ильич как будто не обращает внимания на эти предупреждения. Он словно хочет доказать своим противникам, что «идеальное есть действительное», что факт его сознания тем самым есть уже факт самой жизни.

При всем том обломовское «донкихотство», конечно, чисто русского свойства, в нем нет воинственной исступленности, свойственной поведению рыцаря Ламанчского, нет попыток навязать свою сказку всем и каждому. Обломов предпочитает задачу охранительства, а не пропаганды, защиту, а не наступление. На это принципиальное отличие испанского «идеалиста» от русского указывает уже внешний облик того и другого. Сухой, безмясый, почти бесплотный, словно обожженный изнутри своей неистовой верой Дон-Кихот — и нежнотелый, благодушный Илья Ильич, который по виду своему скорей сошел бы за слугу ламанчского воителя.

…Неутомимо скачущий, трещащий на лету сочленениями кузнечик — и застенчивая улитка, мягко и деликатно убирающая свое тельце внутрь хрупкой раковины…

Скоро сказка сказывается, но не в один присест разгрызается обломок громадного пиршественного пирога; не сразу обойдешь и оглядишь со всех сторон лежачекаменного Илью Ильича. Пусть и он передохнет сейчас вместе с нами, пусть предастся самому любимому своему занятию — сну…Вот он, знойно-распаренный, влажно угревшийся, со слипшимися локонами, со сладким сгустком слюнки за щекой, — сможем ли мы что-нибудь предложить ему взамен этого счастливого всхлипа сквозь дрему, этого причмокивания?.. Может быть, ему сейчас снятся самые первые дни существования. Во сне все его жизненное время сжимается, и длительность личного бытия он узревает как бы в одной точке, в которой он сразу и младенец, и отрок, и зрелый муж. Вот свернулся он калачиком, и все возрасты, все

разновременные ощущения свободно, не мешая друг другу, перетекают в нем по кругу, от лба, по спинному стволу, до колен и щиколоток, из сустава в сустав, из сосуда в сосуд. И все сны, которые когда-либо снились ему и его предкам, сейчас становятся равноправными, и любой из них может его навестить — обрадовать или растревожить.

Он возвращается теперь домой, к матери, к ее полным рукам и улыбке, и еще ближе, плотней — в то сокровенное мягчайшее ложе, в котором плоть и душа его однажды прозябли из кромешности и где он бездумно нежился и потягивался, как в зыбке, где качался на мерной зыби девяти лунных приливов и отливов. Он снова живет и дышит в этом величавом ритме космической колыбельной, в ритме царственно-бережной материнской походки, в ритме изначального, безмерного и целокуппого сна.

Теперь он в брезжущем свете самых первых впечатлений. Сон его шелестит и вспухает, как закипающее молоко.

Теперь он родня любому лесному зверьку, и во всякой берлоге его примут как своего и оближут языком.

Он — брат каждому дереву и стеблю, по жилам которых протекает прохладный сок сновидений. Даже камням что-то снится. Ведь камень только прикидывается неживым, на самом деле он застывшая, упокоившаяся мысль…

Так вот спит Обломов — не сам по себе, но со всеми своими воспоминаниями, со всеми людскими снами, со всеми зверями, деревьями и вещами, с каждой звездой, с каждой отдаленной галактикой, свернувшейся в кокон…

Если аналогии с героями, проблемами и ситуациями произведений Гёте и Сервантеса носят в «Обломове» по преимуществу подспудный характер, то сопоставление Ильи Ильича с Гамлетом дано, так сказать, открытым текстом. В пятой главе второй части романа читаем: «Что ему делать теперь? Итти вперед или остаться? Этот обломовский вопрос был для него глубже гамлетовского». И немного ниже — еще: «Быть или не быть!» Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять».

Сугубо прозаическая, сниженная обстановка, в которой Илья Ильич задает себе знаменитый гамлетовский вопрос, как бы сама по себе уже свидетельствует, что «обломовский вопрос» для него глубже, значимей. «Быть пли не быть!» в подобной обстановке звучит почти пародийно. Да и может ли такой вопрос составить для Обломова проблему? Конечно, быть! Конечно, жить! Жить и радоваться, ибо жизнь и есть радость, она тепло, она рассеянный

свет сквозь трепещущую листву, лепет детворы у изголовья, дар бесценный. Жизнь для Обломова, если хотите, — это некая Жена, с которой его обручили еще с пелен, со времен слушания сказок. И вся она бездонный источник ласки, самозабвенной преданности Илье Ильичу. Этой своей возлюбленной он не намерен изменять ни с политикой, ни с чиновничьей карьерой, ни с суетой петербургского света. Илья Ильич однолюб. Он — подобно Дон-Кихоту — рыцарь одного-единственного образа. Вот этот образ:

«Обломов любовался ее полными круглыми локтями».

«— Как у вас хороши руки, — вдруг сказал Обломов, — можно хоть сейчас нарисовать».

Да, эти полные красивые руки Агафьи Матвеевны Пшеницыной, так часто мелькающие на страницах романа, действительно можно «хоть сейчас нарисовать» на щите нашего лежачего рыцаря. Это руки, которые вечно лелеют Обломова, подают ему свежестираное белье или рюмку смородиновой водки, кофе с молоком или солененьких рыжиков. Это руки Жены-Жизни.

И как же ему не любить такую жизнь, не желать ее постоянно? «Быть или не быть!» Нет, это вовсе не для него. Никакого гамлетовского раздвоения, никакого метания между бытием и небытием.

И все же… Отзвук знаменитой шекспировской альтернативы явственно присутствует в «Обломове». Поведение Ильи Ильича в его условном диалоге с Гамлетом выходит за рамки пародирования. Как бы ни любил Обломов «быть», но существование его какое-то особенное. Оно почти сведено на нет. Он существует, почти отсутствуя для действительности, почти не проявляясь в ней. Действовать или не действовать? — вот что составляет проблему Обломова, проблему романа. Делать или не делать? — вот какая дилемма заставляет его пробуждаться в тревоге, часами ворочаться с боку на бок. «Итти вперед или остаться?»

Право же, что такое всякое человеческое дело, выходящее за рамки обыденно-насущного? Зачем двигаться: воевать, обогащаться, строить железные дороги и мосты через пропасти, совершать всевозможные открытия, нестись по волнам к Огненной Земле? Не обман, не ложь ли всякое подобное дело? Зачем он, Обломов, должен рассыпаться мелким бесом между сотнею занятий и устремлений одно другого затейливей? Для чего, наконец, сама история *движется*? Что не стоится ей на месте? Всякий день и час новости, а присмотришься к ним — бесконечное повторение уже бывшего много раз. «История только в тоску повергает: учишь, читаешь, что вот-де настала година

бедствий, несчастлив человек; вот собирается с силами, работает, гомозится, страшно терпит и трудится, все готовит ясные дни. Вот настали они — тут бы хоть сама история отдохнула: нет, опять появились тучи опять здание рухнуло, опять работать, гомозиться… Не остановятся ясные дни, бегут — и все течет жизнь, псе течет, все ломка да ломка».

Но для кого сказано: суета сует и всяческая суета? И не древний ли еще человек был наказан за прикоснонение к древу познания? Творец впряг его в ярмо бесконечной сизифовой деятельности. Даже безграмотный Захар знает, что труд дан людям в наказание. Но до чего же изолгался человек, думает Илья Ильич, если это свое наказание и проклятие он именует благом, счастьем, идеалом жизни! И Штольц туда же: все дело да дело!

Итак: делать или не делать? — вот что нужно крепко обдумать Илье Ильичу, прежде чем он решится привнести в мир хотя б одно *свое* действие. Делать или не делать? — вот в чем *обломовский вопрос*.

Гамлет ушел из жизни, не разрешив своего сомнения. Не так с Обломовым. Мы точно знаем то место романа, тот пункт обломовской жизни, когда Илья Ильич окончательно решает вопрос в одну из двух возможных сторон. Пусть робко, с опасением, с оглядкой, но он все же собирается с духом, чтобы сказать себе, Ольге, Штольцу, всему миру: я не хочу *делать*. Я не желаю в этом мире действовать. Отказываюсь участвовать в его движении от чего-то сомнительного к чему-то не менее сомнительному. Я выхожу из истории — из этой вашей грандиозной игры в благородную деятельность…

В Петербург приходит зима. Вот-вот должен стать лед на Неве, и тогда могут возобновиться сердечные отношения Ильи Ильича и Ольги. На Неве наведут мосты, и восстановится связь двух душ. Но замерзающая река становится в романе символом не связи, а разъединения. Лед на Неве — это лед в отношениях Обломова и Ольги. Река стала, и прекратилось течение любви. То самое течение, которое могло вынести Илью Ильича в водоворот общественных страстей.

Река стала, и обломовский вопрос тем самым навсегда разрешился. Теперь уже до конца дней своих он знает лишь одно: не делать.

Штольц как-то в шутку, не без иронии, говорит Обломову: «Да ты философ, Илья!» Но между тем философия Обломова действительно существует, и, если приглядеться к ней внимательней, вещь это не шуточная. Ее истоки можно обнаружить в умозрениях, вокруг которых сплачивались некогда

целые философские школы и направления. Строго говоря, философия Обломова есть философия абсолютного покоя, абсолютного бесстрастия. Отсутствие движения, покой — вот, по Обломову, наиболее совершенное, идеальное состояние мира. Всякое умаление покоя, подтачивание его с помощью всевозможных движений, процессов неумолимо приводит к заболеванию, порче действительности. Движение — болезнь мира, лихорадка и жар материи, судорога духа. То, чему нужно двигаться, несовершенно. Совершенное незыблемо и недвижно. Оно полно самим собой, счастливо самим собой и не имеет нужды выходить из этой полноты. Это и есть для Обломова настоящая, истинная жизнь. Покой — гармоническое равновесие бытия. Свойство покоя — не расслабленность и аморфность, а, наоборот, избыток силы, полный заряд энергии. Совершенная жизнь ничего уже не хочет, ничего не вожделеет, ни к чему не устремляется. Все же остальное — не стоящая на месте, а значит, ненастоящая, нестоящая, томимая болезнью жизнь. В ней только похоть и раздражение материи, мучительный зуд выйти из самой себя, приткнуться к чему-то большему, высшему, абсолютному.

Может быть, Обломов в учебных заведениях отчасти слышал, может, прочел кое-какие книги, может, сам, своим умом дошел — как бы ни было, его понятия об идеале существования вызывают целую гамму ассоциаций: тут и учение древнегреческих философов-киников об *автаркии,* то есть духовном самодовлении, полной освобожденности от физических и умственных усилий; тут и принцип безразличия *(адиафория),* развитый другой ветвью античного сократизма — киренаиками; и учение об *апатии* — бесстрастии, — популярное в так называемой мегарской школе философов. Может быть, после этого нам понятнее станет, почему Гончаров называет своего героя «обломовским Платоном».

«Целый», «полный» человек, об отсутствии которого так часто сожалеет Илья Ильич, вырисовывается только на пути к покою — внутреннему и внешнему. В каком-то необычном для него припадке вдохновения Обломов вопрошает Штольца: «Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?»

Но на это собеседник его трезво возражает: «И утопия-то у тебя обломовская».

Философию Обломова действительно можно назвать утопической. Хотя бы потому, что в ней, как и во всякой утопии, преобладает не рассмотрение бытия, имеющегося в наличии, а — через отталкивание от действительности — мечта об ином бытии.

Что ж, Обломов может быть отнесен к наиболее застенчивым и непритязательным из всех известных человечеству утопистов. Его требования, обращенные к будущему, — самые минимальные: пусть все угомонится, успокоится. В обломовский «план» входит лишь деревенское поселение, растворенное в окружающей природе. В таком поселении и правда нужно кое-что подновить, но самую малость. Счастливое будущее мыслится кап возвращение к счастливому прошлому легендарно-мифологических эпох. А для этого не нужно никаких грандиозных мероприятий: ни строительства гигантского града, в котором уместилось бы все человечество, ни летательных аппаратов, ни других хитроумных механизмов, ни хрустально-алмазных дворцов, ни железной дороги, связывающей Землю с Луной, о чем мечтал Фурье…

Штольц досадует:

«— Зачем же хлопочут строить везде железные дороги, пароходы, если идеал жизни — сидеть на месте? По-дадим-ко, Илья, проект, чтоб остановились; мы ведь не поедем».

Но Штольцева ирония нисколько не расхолаживает Обломова. А что же! Почему бы и не подать такой проект! Тогда, глядишь, и угомонятся народы, и отдохнут по-настоящему: если упразднить пароходы с паровозами, то выйдут рабы на волю из шахт и штолен, перестанут ранить землю в поисках угля и руды, бросят свои лачуги в грязных городах; замрет буйная торговля, отощают кошельки у ротшильдов, закроются водочные монополии, угаснут страсти к приобретению новых земель, повыведутся наполеоны, поубавится туристов — охотников глазеть на заморские дива, а с ними и болезней поубавится; оживут нивы, восстанут леса, выхлестанные на шпалы и на топку паровых котлов… Словом, по Обломову, нужно не. строить, а потихонечку размонтировать уже понастроенное, притормаживать механический разгон, осаживать железного зверя…

Конечно, мечтания такого рода носят вполне, так сказать, реакционно-утопический характер. Будущее время в обломовском «плане» — восстановленное, очищенное от коросты цивилизации прошлое.

В этом смысле можно говорить, что его утопия вообще лишена будущего. Перед нами типичная антиутопия, в которой и намека нет на футурологический порыв. Будущее ей и не снится. Прикованный к подушке золотыми цепями своей грезы об утраченном рае, Илья Ильич в тонком сне творит одну из самых беззащитных, хотя по-своему и обаятельных, идиллий, которые когда-либо грезились человеку: все здесь миниатюрно,

маломасштабно, провинциально, и в то же время в мечтах нашего лежебоки заявляет о себе, по словам выдающегося современного литературоведа М. М. Бахтина, «исключительная человечность идиллического человека Обломова и его «голубиная чистота».

Пройдет несколько лет, и на той же самой Гороховой улице, где видит свои райские сны Илья Обломов, волею другого сочинителя будет поселен еще один литературный персонаж — Вера Павловна. Этой героине романа-утопии Чернышевского тоже будут сниться сны-мечты. Но обращенные не в прошлое, не к идиллической обстановке помещичьего быта, а в совершенно противоположную сторону: там, над зеленью лужаек, вырастают сверкающие стеклом и металлом силуэты каких-то воздушных зданий — то ли фабрик, то ли общежитий, и в них счастливые, весело поющие во время работы труженики будущего.

Как знать, не намеренно ли автор «Что делать?» поселил Веру Павловну именно на Гороховой? По крайней мере, о том, что Чернышевский по отношению к роману Гончарова испытывал чувство некоторого полемического раздражения, известно достоверно. Сидя в Петропавловской крепости, Николай Гаврилович записывает: «Я до сих пор прочел полторы из четырех частей «Обломова» и не полагаю, чтобы прочитал когда-нибудь остальные две с половиною; разве опять примусь [за] рецензии, тогда поневоле прочту и буду хвалиться этим, как подвигом». Подразумевается: роман неимоверно скучен. Но важная деталь: «полторы» части все же прочел. А именно в этих полутора — лежание Обломова на Гороховой улице, его «Сон», мировоззренческий спор со Штольцем, во время которого Илья Ильич, как бы комментируя «Сон», разворачивает «план» идеальной жизни. Вот и напрашивается предположение: не «скукой», а самим содержанием обломовских грез раздражило Чернышевского чтение «Обломова». Не в этой ли реакции источник ярко выраженной футурологичности снов Веры Павловны?

Возможность этой внутренней полемичности одного романа по отношению к другому может быть подтверждена не только содержанием снов, которые видят на Гороховой улице герои Гончарова и Чернышевского, но и тем, как эти герои по-разному «распоряжаются» своими снами. Вера Павловна со страстью и энергией принимается за то, чтобы реализовать воспламенившие ее видения в действительности. Наоборот, Обломов желал бы всю действительность охватить прекрасным сновидением, уместить ее в нестеснительных границах «сонного царства». Ибо почти все, что происходит в реальной жизни, кажется ему дурным сном, от которого необходимо поскорее избавиться. Разве *живут* все эти

торгующие, воюющие, строящие и ломающие, снующие из дома в дом, из компании в компанию, из города в город, из страны в страну люди? Нет, они не живут, а барахтаются в вязких путах какого-то кошмарного сна. Их жизнь и есть горький сон, мираж, призрак, морок, тень истинного бытия. Нужно стряхнуть с себя призрачные путы, подняться, открыть глаза. «Душе моя, душе моя, востани, что спиши?» — как призывал древний автор.

Какой колдун очаровал человечество? Каким дьявольским сном прельстил слабые души, сбил народы в громадные толпы, заставил их соревноваться в богатстве, в мощи власти и оружия, в силе ненасытного рассудка? «Старая» правда Ильи Ильича не в состоянии противостоять движению цивилизации. Остается лишь свернуться в кокон непротивленчества. Невозможно препятствовать злу. Но есть надежда, что его удастся как-то претерпеть, тихо пережить. Нет сил идти наперекор ему. Но можно — хотя бы в мыслях — отказать злу в праве на реальность.

Обломов не первый называет жизнь дурным сном. И не он первый из тех созерцателей, что истинной жизнью считают некий великий *вечный* сон — желанную пристань упокоения и счастья. Грустные откровения подобного рода обычно навещают людей, лишенных исторического азарта, тщеславия. Исходящая от них критика действительности перерастает в критику всей удобообозримой истории. Осуществление идеального внутри истории кажется невозможным. На путях преодоления дурной бесконечности истории Обломову мерещатся образы молчаливых печальников о заблудшем человечестве. И вот он сам «тихо и постепенно укладывался в простой и широкий гроб остального своего существования, сделанный собственными руками, как старцы пустынные, которые, отворотясь от жизни, копают себе могилу».

Конечно, это подмеченное автором сходство обломовского быта с поведением анахоретов — деталь достаточно внешняя. В фигуре, в привычках Ильи Ильича навсегда уже преобладающим останется «мирское». И все же в тексте романа раз от разу улавливаются отзвуки какого-то иного бытия, к которому, по крайней мере исподволь, тяготеет Обломов.

Присмотримся еще раз: почему все-таки этот «восточный халат из персидской материи»? Почему поместье Обломова расположено «чуть ли не в Азии»? То и дело проглядывает какая-то загадочно-закругленная, орнаментальная, *ориентальная* линия, что-то почти буддийское. Та же невозмутимость, та же мягкая округлость плеч и головы, тот же рассеянный взгляд, погруженный в созерцание неисчерпаемого сна — Великого Обмана, именуемого действительностью. В «Обломове»

ничегонеделание русского ленивого барина прослоено пресловутой восточной созерцательностью, «азиатчиной». Обломовская «философия покоя», настоянная на сентенциях античных мудрецов, в то же время издает какой-то нирванический аромат. Покой Ильи Ильича — это не только повадка сказочного запечного дурака, не только бесстрастие и апатия античного любомудра, не только самодисциплина отшельника, но и нирваническая застылость теплого божка с едва пульсирующей сонной артерией.

Нетрудно догадаться, из какого опыта позаимствованы Гончаровым восточные ассоциации, присутствующие в романе. В первую очередь тут заявляет о себе опыт кругосветного плавания, опыт «Фрегата «Паллада». Не считая нескольких тезисных замечаний, сделанных в свое время Б. Энгельгардтом, «Фрегат» и «Обломов» никогда еще не прочитывались параллельно, контекстно. Но такое прочтение, причем самое подробное, одна из давно насущных задач.

В самом деле, два эти произведения хронологически гораздо ближе друг к другу, чем к остальным романам Гончарова. Можно даже говорить об их синхронности: время написания «Обломова» окольцовывает годы работы над «Фрегатом» (1848–1852–1857–1858). Несмотря на резкое жанровое различие, обе книги необычайно сильно перекликаются тематически: тема путешествия постоянно присутствует в «Обломове» — то в виде книг, которые читает Илья Ильич, то как пугающая его перспектива заграничной поездки в лечебных целях, то как перечень коммерческо-туристических вояжей Штольца. С другой стороны, тема созерцательного, бессобытийного, погруженного в быт Востока, развитая во «Фрегате», носит явно «обломовский» характер. Почти весь Восток, каким он показан у Гончарова, есть, по сути, громадная, на полмира распростершаяся Обломовка. Иногда при чтении «Фрегата» невольно возникает ощущение, что Илья Ильич незримо участвует в путешествии в качестве созерцателя родственного ему восточного быта и искателя «утраченного рая». Напомним также, какое самодовлеющее место занимает в тексте «Фрегата» тема сна: гончаровский Восток весь как бы окутан сонными испарениями, сказочными миражами. Эта Азия еще не проснулась или, вернее, не пробуждена, ибо сны ее — как уже отчасти и происходит — прервутся достаточно насильственным образом.

Словом, «Фрегат» не может быть по-настоящему понят вне сферы притяжения главного гончаровского романа; в свою очередь, проблемы «Обломова» весьма потеряют в своей полноте, если лишатся проекции на текст «Фрегата «Паллада».

И в той и в другой книгах с громадной силой художественного обобщения, доступной мифологическому реализму Гончарова, описаны последние ночные часы феодального мира и идущее им на смену, еще способное обольстить утро капиталистической действительности. И в той и в другой книгах конфликтно сведены, включены в острый диалог «старая» и «новая» правды. И там и здесь выявлены ограниченность, неполнота, субъективность обеих «правд». Но вопрос о моральном превосходстве какой-либо из них остается открытым. По крайней мере, сам автор — писатель Гончаров — не берется произнести окончательное слово в пользу той или другой «правды». Нужно, чтобы прошли десятилетия и объективное суждение сложилось как бы само, помимо воли автора, но на материале его художественных образов, его публицистических раздумий.

Близится к концу жизнь Ильи Ильича, напитанная грустными и радостными сновидениями, слезами сожаления об утраченном прошлом и робкими надеждами на то, что прошлое это хоть частично, в каком-то малом, недостижимом для завистливого глаза уголке может быть продлено, передано в пользование детям. Стоит присмотреться к тому, как умирает Обломов. Ведь в смертном часе — в последних словах, жестах, красноречивом взгляде — выговаривается часто вся суть отлетающей жизни. Илья Ильич и здесь верен себе, выбранному раз и навсегда способу существования. Умирает он настолько тихо, незаметно, *покойно*, что смерть его проглядели даже ближние, даже «любящее око жены».

«Однажды утром Агафья Матвеевна принесла было ему по обыкновению кофе и застала его так же кротко покоящимся на одре смерти, как на ложе сна…»

Он и не мог умереть иначе. В таком конце обнажился весь смысл человека Обломова. Гончаровым описана здесь одна из самых незаметных, но и самых выразительных смертей, какие мы знаем по русской литературе XIX века. Это, скажем так, глубоко принципиальная смерть. Один сон перетек до капли в другой — Вечный Сон.

Обломов умирает, но «проблема Обломова» удивительно живуча. Обломовская мечта о «полном», «целом» человеке ранит, тревожит, требует ответа.

Конечно, в первую очередь он и сам очень далек от «целого» человека. Не потому ли он «иногда плачет холодными слезами безнадежности по светлом, навсегда угаснувшем идеале жизни…»? Не потому ли отмечает про себя, что ему удалось выразить лишь «возможность идеально покойной стороны

человеческого бытия»?

Обломов умирает, так и но узнав, был ли он прав или нет, отказавшись на всю жизнь от делания, от участия в работе множества, от великих страстей и подвигов, обольщений и радостей мира сего. И в этом его томительном незнании заключены великая горечь и печаль, которые до смерти утомили мягкое сердце нашего добряка. Так ничего и не останется от него на белом свете — ни звонкого имени, ни деяния во славу человечества, ни мудрости, высеченной на каменных скрижалях. Он уходит *весь* — до последнего сонного всхлипа своей застенчивой души. Уходит, не успев попросить прощения за то плохое, что случилось по его бездействию и еще может случиться. И за то хорошее, чего не сделал, а мог бы. Обрывается его затянувшийся жизненный сон, и он стоит на пороге какого-то душераздирающего пробуждения… Или иного сна, из которого когда-то был вынесен в мятежную людскую юдоль…

Обломов умирает… Очень часто о нем забываешь как о литературном персонаже, как о некой условности, общепринятой между читателями, — настолько он *живой*.

«Проблема Обломова» остросовременна. Неполнота и несовершенство человека в этой проблеме обескураживающе наглядны. Хотя бы потому уже, что, созидая свою идеально-покойную жизнь, Илья Ильич не в состоянии отстоять ее, властно утвердить, сделать образцом, неколебимым принципом. Ведь для этого надо быть другим Обломовым — внушающим, навязывающим свою волю, перекраивающим жизнь десятков, сотен и тысяч людей на свой образец. Штольцем надо быть. А он быть другим не хочет и не может. Надо быть «историческим человеком», а ему хотелось бы просуществовать вне потока истории. В лучшем случае Обломов может критиковать, и весьма по существу, те или иные тенденции, проявляющиеся на прихотливых путях исторического человечества, — будь то окрашенная в дьявольские тона активность «мертво-деятельных» накопителей или дробящая душу мелкая житейская суетливость. Эта критика, пожалуй, и придает вечную остроту «проблеме Обломова».

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ ВРАГА

Как в сказочном счастливом сне, как по щучьему веленью, посыпались на автора «Обломова» даровые, громогласные, изобильные хвалы!

Хвалили устно и письменно, приватно и печатно, и глаза и заглазно. В «Современнике» блестящую оценку роману дал Добролюбов. («Такого сочувствия и эстетического анализа, — писал Гончаров по поводу добролюбовской оценки, — я от него не ожидал, считая его гораздо суше».) В «Библиотеке для чтения» благожелательно высказался об «Обломове» Дружинин. В «Рассвете» — неизвестный Гончарову критик Писарев. В «Светоче» — Милюков, которого Иван Александрович знал как автора «Очерка истории русской поэзии». Хвалили подчас за разное, даже противоположно разное, но с одинаковым, неподдельным воодушевлением.

Опять, как и когда-то с «Обыкновенной историей», оказалось, что сомнения, мучившие его накануне опубликования романа (читая корректуры «Обломова», ужасался, ожесточенно выхлестывал пером слова, целые фразы; «несколько дней сряду лопатами выгребал навоз, и все еще много!»), — так вот, сомнения эти, оказалось, вдруг исчезли, яко дым исчезает.

Утеряв было за время многократных перечитываний, прописываний, сокращений и добавлений вкус к роману, цельное о нем представление, он теперь жадно ловил голоса ценителей и заново, уже как бы со стороны, с дистанции, составлял понятие о том, что же все-таки им произведено на свет божий.

«Скажите Гончарову, что я в восторге от «Обломова» и перечитываю еще раз, — сообщал Дружинину Лев Толстой (с автором «Севастопольских рассказов» Иван Александрович познакомился не так давно, осенью 1855 года, и они еще не переписывались). — Но что приятнее ему будет — это, что «Обломов» имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный в настоящей публике».

Из всех похвальных эпитетов этого отзыва один был особого весу — «невременный». Роман только вышел, и говорить о том, выдержит он или нет проверку временем, вроде бы рано. Но Толстой говорит, а его петербургские знакомцы знают, что слово у этого угрюмоватого графа крепкое, как крепко пожатие его железной офицерской руки.

Можно сказать, что словами будущего автора «Войны и мира» на многие десятилетия вперед давала оценку «Обломову» вся читающая Россия.

И все же в новой своей славе Гончаров раз от разу улавливает горчащий привкус. Вполне ведь может статься, что многие из похвал, щедро расточаемых в его адрес, неискренни. Нельзя забывать, что он теперь во мнении публики не просто писатель, но писатель-цензор, то есть личность со сложной, неоднозначной репутацией.

В ноябре 1856 года Павел Анненков пишет Ивану Тургеневу: «Гончаров летает с брюшком от Норова к Щербатову, суетится, подчинил товарищей своему влиянию, хитрит с нашим братом, и в этих занятиях расцвел так, даже румянец начинает играть у него на щеках».

Пассаж Анненкова весьма характерен для настроения, которое царило в эти месяцы вокруг Гончарова.

Еще накануне своего перехода из Министерства финансов в Министерство народного просвещения он сообщал Елизавете Толстой, что ему предложено место старшего цензора «с тремя тысячами руб. жалования и с 10000 хлопот». (Здесь, кстати, можно вспомнить, что двадцать лет назад он начинал свою служебную карьеру в Петербурге с ежегодного оклада всего в пятьсот с лишним рублей.)

Поступить на службу в Петербургский цензурный комитет Гончарову предложил Александр Васильевич Никитенко, с которым писатель познакомился еще в пору печатания «Обыкновенной истории». С годами знакомство, поначалу отмеченное некоторым возрастным и служебным неравенством, развилось в приятельские отношения, а затем и в прочную дружбу Гончарова еще и с двумя дочерьми Александра Васильевича — Екатериной и особенно Софьей.

В 1855 году, когда перед писателем возник вопрос о перемене служебного положения, Никитенко уже имел за спиной внушительный опыт цензурной работы, репутацию склонного к либерализму общественного деятеля и достаточный авторитет в правительственных кругах. В частности, он был ближайшим доверенным лицом министра народного просвещения Авраама Норова. (Цензурный комитет находился в ведении последнего.)

24 ноября Никитенко записывает в дневнике: «Мне удалось, наконец, провести Гончарова в цензора. К первому января сменяют трех цензоров, наиболее нелепых. Гончаров заменит одного из них, конечно с тем, чтобы не быть похожим на него. Он умен, с большим тактом, будет честным и хорошим цензором».

Александр Никитенко на своем долгом цензорском веку испытал немало, в том числе и на гауптвахте сиживал, и считал, что цензор может быть «честным и хорошим», а главное, нужным

обществу лицом. Такой же взгляд на вещи он, надо полагать, постарался внушить и Гончарову. Обществу русскому, литературе русской как никогда потребны чуткие, тактичные посредники между интересами правительства и интересами писательско-журналистского мира. Необходимо снимать накопившиеся в прошлую эпоху элементы недоверия, подозрительности и страха, имеющиеся у той и у другой стороны. Но должно и следить со строгостью, чтобы безответственные болтуны и балагуры, которые при первом же цензурном послаблении обычно вылазят изо всех щелей, но превращали прессу в балаган, а тем паче в притон разбойников. В идеале всякому писателю полезно бы испытать себя в таком посредническом труде и тем самым как бы увидеть свое кровное занятие в иной общественной перспективе, оценить его не столько по замыслам и намерениям, сколько по результатам и последствиям… Цензор — не выдумка государства; естественный, стихийный, этический цензор в той или иной степени проявляется в каждом человеке: например, когда он в разговоре с другим человеком считает необходимым что-то недосказать, опустить ту или иную частную «правду». Всякое осмысленное умолчание в разговоре уже есть цензура. Недаром, должно быть, и древние называли паузу посредине стихотворной строки «цезурой»…

Гончаров, поступая на новую службу, испытывал, однако, вполне понятное волнение, а отчасти и неловкость. Как-то отнесутся коллеги-литераторы к его поступку? Всем ли будет внятен гражданский смысл такого шага? Глядишь, еще начнутся пересуды, станут за его спиной шептать, что-де позарился на высокий чиновничий пост, на оклад немалый.

Опасения не замедлили подтвердиться. Пересуды, правда, бродили вначале подспудно, чему свидетельство — приведенная выше едкая реплика Анненкова. Другой из литературных приятелей Гончарова, Дружинин, как-то записал в дневнике, имея в виду Ивана Александровича: «Одному из первых, русских писателей не следовало бы брать должность такого рода. Я не считаю ее позорною, но, во-первых, она отбивает время у литератора, а во-вторых, не нравится общественному мнению, а в-третьих… в-третьих то, что писателю не следует быть ценсором»[5].

Из сферы частной переписки или кулуарных разговоров отклики по поводу новой гончаровской деятельности стали выходить и наружу. Первым не пощадил писателя Александр Герцен. В номере 6-м «Колокола» он поместил собственную заметку под названием «Необыкновенная история о цензоре Гонча-ро из Шипан-ху» (то есть из Японии), в которой крайне

недоброжелательно отозвался о «Фрегате «Паллада», как о книге, якобы содержащей в основном лишь кулинарные впечатления автора от кругосветного плавания. «Мы долго думали, зачем Гончаров плавал в Японию…» На этот свой вопрос Герцен отвечает следующим образом: «…просто хотел добросовестно приготовиться к должности цензора; где же можно лучше усовершиться в цензурной хирургии, в искусстве заморения речи человеческой, как но в стране, не сказавшей ни одного слова с тех, пор, как она обсохла после потопа?»

Вывод убийствен: Гончаров начинает собою «школу китайски-японскую цензурного членовредительства».

В «Колоколе» № 17 вновь, но теперь лишь вскользь, упомянут «японский цензор». Это должно уже было действовать как кличка. Свободой уничижать противников Герцен, как видим, пользовался блестяще.

«Хотя в лондонском издании, — пишет Гончаров Краевскому 7 июля 1858 года, — как слышал, меня царапают, да и не меня, а будто всех русских литераторов, но я этим не смущаюсь, ибо знаю, что, если б написал черт знает что, и тогда бы пощады мне никакой не было за одно только мое звание и должность».

Не могли не дойти до Гончарова и слухи об эпиграмме Николая Щербины, которая в эти же времена была пущена автором по петербургским салонам. Эпиграмма называлась «Молитва современных русских писателей». Литераторы молятся о том, чтобы вышнее Слово избавило их от «похвалы позорной «Северной пчелы» и от цензуры Гончарова».

Как-то во время ужина у Алексея Феофилактовича Писемского в присутствии Гончарова Анненков заявил раздраженно:

— Цензор — это чиновник, который позволяет себе самоволие, самоуправство и так далее…

Гончаров насторожился: с чего бы это так распаляет себя почтенный Павел Васильевич? Неужели не чувствует, что совсем неуместно давать такие характеристики в его присутствии? Нет, должно быть, чувствует, да еще и намеренно старается зацепить хлестким словцом. И месяц назад, на обеде у Некрасова, разгоряченный Анненков тоже ораторствовал на эту тему, причем обращаясь прямо к нему, Гончарову.

И вот по двухдневном размышлении Иван Александрович счел необходимым письменно высказать своему земляку следующее: «Я не сомневаюсь, любезнейший Павел Васильевич, что в первом случае Вы не хотели сделать мне что-нибудь неприятное и сказанных слов, конечно, ко мне но относили, и что во втором случае, у Некрасова, неосторожное слово тоже сказано

было в виде приятельской шутки. Но и в тот, и в этот раз, особенно у Писемского, были совершенно посторонние нам обоим люди, которые ни о наших приятельских отношениях, ни о нежелании Вашем сказать мне что-нибудь грубое и резкое не знают и, следовательно, могут принять факт, как они его видели, как он случился, то есть что ругают наповал цензора в присутствии цензора, а последний молчит, как будто заслуживает того…»

Действительно, уж от Анненкова он такого никак не заслуживал: совсем ведь недавно, когда у Павла Васильевича возникли затруднения как у издателя Собрания сочинений Пушкина, именно он, Гончаров, помог ему — написал благожелательный цензорский отзыв и вообще приложил все старания к тому, чтобы седьмой, дополнительный том любимого поэта вышел в наиболее полном виде, с прибавлением неизданных стихотворений.

Да и одному ли Анненкову он так помогал? А Тургенев с его повестью «Муму», на которую в комитете косились еще с 1854 года, когда за ее публикацию было высказано неудовольствие цензору Бекетову? А тот же Писемский? Ведь именно Гончаров одобрил к печати его злободневный роман «Тысяча душ», за что, кстати, получил замечание от начальства. А Островский с его пьесой «Свои люди — сочтемся»? И за нее х. лопотал Иван Александрович. И на сборник стихотворений Некрасова написал одобрительный отзыв, порекомендовал ко второму изданию (первое в свое время подверглось сильным цензурным гонениям). Он же подал голос за публикацию запрещенных прежде романов Лажечникова «Ледяной дом» и «Последний Новик». И беспрепятственному прохождению в печати повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» также способствовал. И Полонского Якова, когда тот столкнулся с цензурными препятствиями при издании сборника своих стихотворений, советом поддержал… Вот вам и японско-китайское членовредительство!

А когда составлял отзыв о новом издании сочинений Лермонтова, предложил восстановить ранее отсутствовавшие в печатных текстах места из поэм «Демон» и «Боярин Орша», включить до сих пор не опубликованную поэму «Ангел смерти». Немного позже составил специальный доклад комитету о включении в лермонтовское собрание сочинений стихотворения «На смерть поэта» в полном его виде.

Гончарову приводилось прочитывать и соответствующим образом оценивать не только собственно литературные сочинения. При поступлении на новую службу ему были

поручены для рассмотрения журналы «Пантеон», «Вестник императорского Русского географического общества», «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений», «Журнал Министерства внутренних дел», «Журнал коннозаводства и охоты» и даже… «Мода». Позднее к этому прибавились еще и «Отечественные записки».

Сверх того на цензорский стол Гончарова из месяца в месяц ложились отдельные рукописи по политическим, историческим, экономическим вопросам, работы лингвистического, этнографического характера.

Хлопот у него оказалось не меньше, чем он предполагал: целые горы рукописей, писание отзывов, отчетов, докладных, участие в заседаниях комитета, устные и письменные переговоры с издателями и редакторами журналов, писателями и прочими авторами, составление объяснительных записок в связи с нареканиями, которые министр либо его ближайшие сотрудники раз от разу ниспосылают на головы цензорской братии. Так, в ноябре 1859 года автору «Обломова» пришлось писать рапорт председателю цензурного комитета по поводу допущенной им к печатанию критической рецензии на книгу сенатора Семенова. Рецензия была напечатана в «Отечественных раписках» и вызвала раздражение важного сановника. Гончаров, со своей стороны, заявил в рапорте, что не считает одобрение рецензии оплошностью: всякий автор независимо от его звания и чина может быть подвергнут наряду с другими суду критики, если для последней имеются объективные основания. На всякий случай и о своей предельной загруженности упомянул: прочитывать приходится так много, что не исключена возможность иногда и недоглядеть.

За первые три года цензорской деятельности Гончаров прочитал (по подсчету французского исследователя А. Мазона) 38248 страниц рукописей и 3369 листов печатных изданий. Вряд ли сам он считал этот труд благодарным. Тем более что намечавшиеся было во времена его перехода на новую службу цензурные послабления, как стало ясно к концу 50-х годов, не состоятся.

Ему бы сейчас насладиться в полную силу голосами устных и печатных похвал, которые он слышит в адрес «Обломова». Ему бы, вдохновись этими похвалами, разогнаться да столкнуть с мертвой точки своего Художника. А он вместо этого обязан с утра до ночи мозолить глаза чужими корректурами да рукописями.

Но, впрочем, Художника он не мог сейчас столкнуть с места еще и по другой причине. И эта причина вовсе не касалась его служебных дел.

История ссоры Гончарова с Тургеневым породила немалую литературу. Достаточно налипло к этой теме язвительности, острословия, всяческих толков. Потирали руки литературные приживальщики, оттачивали свои перья мемуаристы. Через многие годы после самых главных событий один из двух участников конфликта наконец собрался с дух, ом и изложил на бумаге все, что так долго мучило его память. Получилось по объему что-то около романа. Он и назвал эту исповедь «романно», с самоиронией — «Необыкновенной историей»: романов-де теперь писать некогда, все время съедено низменной тяжбой.

Всякие бывают ссоры и недоразумения между писателями, всегда бывали и бывают. Но эта история действительно в своем роде единственная.

Прошло около века с тех пор, и давно уже, кажется, надо было ее забыть, да вот никак не сложится у биографов, у исследователей литературы, просто у читателей однозначного о ней мнения. Кто все же прав, кто виноват? Гончаров вроде бы почти во всем — или даже совершенно во всем — не прав. С другой стороны, и Тургенев как будто подавал очевидные поводы для возмущения своему собрату по перу. Указывают как на причину на чрезмерную мнительность Гончарова. Хотя мнительность его была не столько причиной, сколько следствием разыгравшейся драмы. В море предположений, каким часто по первому впечатлению представляется «Необыкновенная история», какие-то островки и пяди реальных обоснований видны и невооруженным глазом.

Вообще следует заметить, что разборы и расследования, касающиеся этой книги, обычно доводятся лишь до так называемого «третейского суда», состоявшегося по просьбе Тургенева в марте 1860 года.

Почему-то упускается из виду, что наряду с описанием «третейского суда» в «Необыкновенной истории» имеются страницы, где писатель упорно взывает к вниманию и объективности какого-то иного, особого *суда*. Он обращается к тем, кому о случившемся станет известно после смерти участников и свидетелей конфликта, — к будущим поколениям. Если бы то, что произошло между ним и Тургеневым, говорит Гончаров, было рядовой писательской склокой, литературным вариантом ссоры гоголевских Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, он бы, конечно, ни за что не стал апеллировать к мнению неведомых ему поколений. Но «жалкая история», которую он описывает «с великим отвращением», вместе с тем далеко выходит за рамки двух писательских биографий, в ней

проглядывают, по глубокому убеждению Гончарова, нравы целой эпохи. И потому пусть будущие судьи не досадуют на него за обилие мелочей. «Разъяснение этих мелочей ведет к отысканию *правды*, а *правда*, где бы и в каком бы виде и маленьком деле ни явилась, вносит всегда свет, следовательно и улучшение, прогресс в дела человеческие!»

Но не выглядит ли эта писательская апелляция к «*суду третьей, беспристрастной и неприкосновенной к делу стороны*, следовательно, суду будущего поколения» некоторым риторическим общим местом, литературной метафорой?

Какое именно поколение взялось бы вершить подобный суд? И кого из своих, представителей оно бы на это уполномочило? И в чем бы видели судьи смысл прилагаемых ими усилий?

Еще раз перелистать старые, давно не листанные страницы нужно не с тем, чтобы замазать *неприятное* или, наоборот, выпятить его, а с тем лишь, чтобы без претензий на окончательность наших выводов попытаться разрешить в добрую сторону то, что при жизни двух писателей оказалось неразрешенным, чтобы извлечь поучающее, доброе зерно из столкновений, омрачивших две писательских судьбы. Действительно, возможен ли факт посмертного — но не формальпого и условного — примирения? Ведь для чего же тогда и ворошить «историю болезни», если не видится надежда на осознание природы давнишнего конфликта, а значит, и на его снятие?

«Необыкновенная история» писалась с 1875 по 1878 год. Но нам нужно будет вернуться на несколько десятилетий назад — к тому времени, когда познакомились молодые и многообещающие литераторы-тезки Иван Тургенев и Иван Гончаров.

Внешностью своей Тургенев поражал многих современников, не только мужчин, но и жепщин. Почти все отмечали странное несоответствие между его благородной, представительной наружностью и топким голосом. В молодости Иван Сергеевич был франтоват, любил щегольнуть как модным платьем, так и блестящей начитанностью, красным словцом. Круг столичных литераторов, среди которых тогда протекала его жизнь, объединяли не столько идеи, сколько заботы приятного времяпровождения.

Супруга беспутного и хлыщеватого Ивана Панаева, вводившего в этот круг, знаменитая Авдотья Яковлевна, — та Тургенева едва терпела. Именно из ее мемуаров вошли в литературу эпизоды, признанные позднее как плод ее чрезмерной пристрастности. Но похоже, что подобная же пристрастность по

мере знакомства с Тургеневым невольно возникала у самых разных людей. У того же Ивана Панаева, например, в мемуарах читаем: «Я встречал… довольно часто на Невском проспекте очень красивого и видного молодого человека с лорнетом в глазу, с джентльменскими манерами, слегка отзывавшимися фатовством».

Или у одного из наиболее близких к Тургеневу людей — Павла Васильевича Анненкова. По его мнению, Тургенев имел привычку составлять «весьма забавные эпиграммы на выдающихся людей своего времени, не стесняясь их репутацией и серьезностью задач, которые они преследовали и которым он сам сочувствовал. *Не удерживали его и дружеские отношения. Все это, конечно, не способствовало к уменьшению неблаговидного говора, раздававшегося вокруг его имени».*

Эта ли, иные ли причины, но в разные годы Тургенев ссорился, и весьма решительно, со Львом Толстым, с Достоевским, Добролюбовым, Фетом… Литература на эту тему, мемуарная и исследовательская, общеизвестна.

У пристрастной Панаевой есть такой эпизод, затрагивающий Тургенева. Для нас он особо важен, потому что на сей раз речь идет о Гончарове. «Тургенев объявил, — пишет Авдотья Яковлевна, что он со всех сторон «штудировал» Гончарова (они недавно познакомились. — *Ю. Л.*) и пришел к заключению, что он в душе чиновник, что его кругозор ограничивается мелкими интересами, что в натуре его нет никаких порывов, что он совершенно доволен своим мизерным миром… Такой человек далеко не пойдет!»

Делая поправку на субъективность мемуаристки, невозможно, однако, допустить, что это «штудирование» ею полностью придумано.

Мельком они могли видеться еще до «Обыкновенной истории», все у тех же Майковых, но с интересом приглядываться друг к другу стали с тех пор, когда Гончаров вдруг вырос на виду у литературной молодежи в романиста высокого класса. Немного позже и о Тургеневе заговорили как о литераторе с большим будущим. По словам автора «Необыкновенной истории», их знакомство состоялось на квартире у Белинского. «Он (Тургенев. — *Ю. Л.)* стоял спиной к двери, в которую я вошел, и рассматривал в лорнет гравюры или портреты на стене. Белинский назвал нас друг другу, Тургенев обернулся, подал мне руку, и опять начал внимательно рассматривать картинки. Потом опять обернулся, сказал мне несколько одобрительных слов о моем романе и опять — к картинкам».

Тогда Гончаров, может быть, лишь краем глаза отреагировал

на эту лорнетку, на этот легкий налет рисовки и позирования в поведении нового знакомого. Ведь кто из молодежи в те годы не позировал, не рисовался, не франтил, не надевал на себя модных литературных масок! Этот налет вовсе не расценивался как что-то главное, сущностное в человеке.

Главным же было то, что Тургенев пишет и печатает прекрасные рассказы из охотничьего, помещичьего и крестьянского быта. Гончарова эти рассказы искренне восхищали. Несколькими годами позже, когда они сложились в «Записки охотника» и вышли отдельной книгой, он взял ее с собою в кругосветное плавание. Может быть, никогда больше, ни до, ни после, Тургенев не читал такого драгоценного отзыва на свою книгу, с каким его должен был познакомить зимой 1854 года Михаил Языков, получивший накануне письмо от путешествующего писателя. «Иногда мне бывает просто лень писать, — признавался Гончаров Языкову, — тогда я беру — как вы думаете что? — книжку Ивана Сергеевича: она так разогревает меня, что лень и всякая другая подобная дрянь улетучивается во мне и рождается охота писать. Но тут другая беда: я зачитаюсь книги, и вечер мелькнет незаметно. И вчера, именно вчера, случилось это: как заходили передо мной эти русские люди, запестрели березовые рощи, нивы, поля, и — что всего приятнее — среди этого стоял сам Иван Сергеевич, как будто рассказывающий это своим детским голоском, и прощай Шанхай, камфарные и бамбуковые деревья и кусты, море, где я — все забыл. Орел, Курск, Жиздра, Бежин луг — так и ходят около. Кланяйтесь ему и скажите это от меня».

Надо думать, что Михаил Языков исполнил просьбу. И что Ивана Сергеевича строки письма, пришедшего из такого далека, не могли не взволновать до глубины души. Вот как он благородно-деликатен, этот милый Иван Александрович! Вот какой скромно-косвенный способ избрал, чтобы выразить похвалу полюбившейся книге и ее автору.

В этом письме просвечивало нечто большее, чем симпатия к литератору-современнику. Тут налицо было нежное чувство, своего рода влюбленность, в лучах которой даже голос Тургенева преображался в «детский голосок».

В присутствии этого чувства — пусть и не до конца взаимного — развивались их приятельские отношения во все первые десять лет после знакомства. Оба ценили друг в друге совершенный вкус, прямодушие и откровенность в литературных оценках, обоюдное внимание к писательским заботам. Так, во времена писания «Обломова» Тургенев постоянно пребывает в курсе творческих затруднений нерешительного Ивана Александровича,

то и дело подбадривает, подталкивает, тормошит его, горит искренним нетерпением поскорее услышать готовый роман.

Есть у литераторов такой секрет: почти всякая книга пишется, как правило, всего-навсего для какого-то одного — *единственного* — читателя. Пусть это происходит чаще всего бессознательно, но пишущий как бы заранее прикидывает: а вот это *ему* особо должно понравиться, а вот тут просто в восторг придет, а здесь вот запротестует, но поспорим, поспорим…

Так и Гончаров «Обломова» писал. Сначала таким единственным своим читателем избрал он, как помним, Елизавету Толстую. Но летом 1857 года, сидя в номера мариенбадского отеля, он в фантастическом гуле романных голосов, диалогов, реплик все чаще и явственнее слышал голос нового главного читателя. И это, безусловно, был «детский голосок» милого Ивана Сергеевича.

Не зря же так порывался Гончаров поскорее увезти свое детище в Париж. И примчался наконец, и на второй день разыскали Тургенева, и на третий засели слушать, и Тургенев то вскрикивал в восторге, то умолкал надолго, то откровенно морщился и досадовал, то вновь едва не заливался слезами радости за несомненный успех Ивана Александровича. А тот с равной доверчивостью внимал и похвалам и нареканиям. Если Тургенев разверзает объятия, значит, действительно есть за что. Если яростно пищит, браня за длинноты, значит, вправду надо сокращать…

Какое это все же счастье — иметь в литературе независтливого, нелицемерного, нелицеприятного товарища! Такого, который твою удачу переживает как собственную. Который с сочувственным вниманием следит 8а тем, как растет и совершенствуется в твоем сознании всякий новый замысел. И которому ты отвечаешь тем же.

Так было с «Обломовым». Так было и за два года до завершения «Обломова», когда Гончаров в одну из очередных встреч с Иваном Сергеевичем излил ему в пространном монологе развернутый план своего Художника — романа об артистически развитом, но безвольном молодом человеке по фамилии Райский… После нескольких лет рассеянной петербургской жизни, после кратковременных и неглубоких увлечений то скульптурой, то живописью Райский решает резко переменить обстановку и уезжает в имение своей двоюродной бабушки-помещицы, столбовой дворянки, живущей с двумя юными внучками — кузинами Райского — Верой и Марфинькой. По приезде он навещает старый, ныне пустующий барский дом, где в большой зале разглядывает портреты многочисленных маститых

предков. Тут, по замыслу романиста, должна будет следовать громадная глава исторического характера, в которой перед глазами читателя вереницей пройдут образы сановитых феодалов — людей страстного, крутого и порой деспотического нрава. Прадед — матерый властодержец елизаветинской формации, дед — вельможа времен Екатерины II, эпикуреец, поклонник энциклопедистов, развратник и самодур. Затем появится и отец Райского — утонченный мистик и масон, участник Отечественной войны и декабристского заговора…

А сам Райский?.. Увлекающийся, наделенный раздражительной фантазией, в некотором роде раб своего воображения, хотя по-своему и благородный, и чистый, и честный, — таких людей не так уж мало ходит по земле, чаще всего они мелькают в различных литературно-художественных компаниях, и теперь для них повсеместно усвоилось точное название — *дилетанты*. Словом, это вполне законченный общественный тип, которого давно уже следовало бы вывести в литературе. Что такое дилетант? Он немного пишет, немного поет, немного рисует, немного ваяет и немного при всем этом дурака валяет. Он чрезмеру влюбчив, но, как правило, неудачлив и непостоянен в любви, он добр, но размазня, легко загорается, но быстро гаснет. Если приглядеться, то в каждом художнике, в каждом писателе, даже вполне состоявшемся, есть что-то от дилетанта. Ведь художнику нужно знать и одно, и другое, и третье, и мильон вещей, он поневоле принужден скользить по их поверхности, он не может, подобно ученому, сосредоточиться на всю жизнь над чем-либо одним — будь то какие-нибудь минералы или какой-нибудь ограниченный исторический период. Художник — в погоне за тысячеликой, изменчивой жизнью. И когда он ее нагонит? И нагонит ли когда?.. Быть художником — это не такое уж и легкое бремя, это, по крайней мере, драма, хотя, может быть, и не нужная никому. Это почти постоянное томление, хроническая неприкаянность. Отношения окружающих к нему сплошь двусмысленны. Если он вошел в силу, его балуют, ему поют дифирамбы, но сколько фальши в голосах! Более того, он и теперь почти постоянно чувствует по отношению к себе какую-то общественную настороженность. А-а-а, вы художник, — как бы читает он в глазах, собеседников, — ну что же, очень похвально и лестно для общества, что вы художник. Но лучше вы художествуйте себе где-нибудь в стороне и нас не касайтесь… И обиднее всего, что его остерегаются не только официальные лица, но и женщины, причем именно те, которым он хотел бы себя в первую очередь посвятить. Есть, правда, и другие, они летят на пего, как мухи на мед, но этим-то он цену знает… Так и Райский.

Вначале у него возникает легкое увлечение Марфинькой. Но кузина — наивный младенец, она побаивается его, ее гораздо больше устраивает простодушный и пасторально-наивный юноша Викентьев.

Затем внимание Райского привлекает Вера. О, это совсем иная натура! В Вере угадывается сила будущей властной женственности. За такими идут по одному лишь мановению руки, по одному лишь слабому движению брови. Увлечение Райского Верой грозит перерасти в настоящую страсть. Но обнаруживается, что у девушки существуют довольно сложные и напряженные отношения с неким молодым человеком, который в здешних краях оказался недавно и не по своей воле. Эта фигура пока не очень ясна: скорее всего вольнодумец, присланный в отдаленную губернию на поселение. Он поминает в разговорах какие-то книги иноземных авторов, высказывает какие-то дерзкие идеи. Вера явно увлечена новизной и исключительностью того, что ей внушает молодой проповедник и изгой, хотя и страшится многих его мнений.

Такою видел Гончаров основную линию своего Художника. Есть уже в плане и масса второстепенных лиц, сюжетных ходов, наконец, просто пейзажей, реплик, сравнений, словечек. Есть, к примеру, провинциальный ученый Козлов, приятель Райского, который над каким-то милым его сердцу закоулком мировой истории дрожит как над грудой несметных сокровищ. Есть и жена простака Козлова — ветреная Улинька, подбивающая Райского на легкую интрижку. Есть всевозможные персонажи губернского города, живущего в самозабвенном и сладостном, поистине обломовском оцепенении.

Выслушав это излияние творческой фантазии Ивана Александровича, Тургенев мог бы ни слова и не говорить. Уже по его лицу рассказчик видел, что замысел произвел на Ивана Сергеевича впечатление.

— Вот если б я умер, Вы можете найти тут много для себя! Но пока я жив, я сделаю сам!

Этими словами, как вспоминает Гончаров в «Необыкновенной истории», закончился его рассказ о Художнике.

Тогда в литературной среде подобные исповедания о сокровенных замыслах были делом распространенным. Иван Александрович не одному Тургеневу таким образом исповедовался. Вскоре тот же сюжет он рассказал и Дудышкину, снова в присутствии Тургенева.

В свою очередь, и Иван Сергеевич не раз и не два поверял Гончарову свои литературные планы. Глядишь, собеседник и подскажет что-нибудь здравое или просто подбодрит, укрепит

столь легко теряемую и столь трудно обретаемую уверенность в собственных силах.

Когда Тургенев наезжал в Петербург, они виделись чуть ли не ежедневно. Так было и осенью 1838 года. Иван Сергеевич обосновался на Большой Конюшенное. В столицу он приехал с новой — на сей раз крупной — вещью, романом «Дворянское гнездо», который написал нынче летом и осенью в Спасском и собирался печатать теперь в «Современнике», а перед печатанием хотел почитать друзьям. Но чтение все откладывалось: автор захворал. «Мы теперь ходим каждый день к Тургеневу: у него «бронхит» — и не шутя. Он кашляет и хранит невольное молчание, чтоб не першило в горле», — сообщает Гончаров Льву Толстому в письме от 4 декабря.

Тургенев прохворал почти весь декабрь. Наконец чтение назначили на 28-е число. Поскольку накануне Иван Сергеевич или забыл, или слишком невнятно пригласил Гончарова к обеду, тот явился на Большую Конюшенную в послеобеденное время, ближе к вечеру. Гости — а тут были Некрасов, Писемский, Никитенко, Дружинин, Анненков и другие — набросились на опоздавшего: отчего он проманкировал общую трапезу?..

Иван Александрович не мог скрыть некоторой обиды:

— Меня не звали к обеду, я и не пришел.

— Я вас звал, — удивился хозяин квартиры. — Как же, я вас звал!

— Нет, — решительно заметил гость, — вы меня не звали!..

Произошла некоторая заминка, но тут вспомнили о чтении. Поскольку у автора все еще был бронхит, читать поручили Павлу Васильевичу Анненкову.

Итак, «Дворянское гнездо»… Событие отделено от нас более чем столетней давностью, и — нужно сделать над собой немалое усилие, чтобы постичь смысл переживаний, которые вечером 28 декабря и на следующий день, 29 декабря (роман слушался в два приема), обуревали Ивана Александровича Гончарова.

По ходу чтения он вдруг стал ловить себя на странной, почти нелепой мысли: то, что он сейчас слышит, ему уже известно…

Хотя бы этот тургеневский Лаврецкий… Да ведь это же… Райский из замышляемого им, Гончаровым, Художника! Безвольный и разочарованный, он так же приезжает в провинциальный город и затем в деревню, и так же появляются тут две сестры, и так же есть пространное описание предков Райского (то бишь Лаврецкого), и свидание ночью в саду, и объяснение бабушки с внучкой (то бишь тетки с племянницей)… Правда, в Лаврецком как будто нет ничего от дилетанта, но, впрочем, его дилетантизм передан другому персонажу —

Паншину, который безуспешно ухаживает за религиозной Верой (то бишь Лизой)… Нет, наяву ли все это происходит? И если наяву, то что же все это такое? Теперь понятно, почему он, Гончаров, не был позван к обеду: авось и на чтение пе явится.

Гончаров не стал ждать, «когда напечатается». В тот же самый вечер, после того, как были произнесены все похвалы, выговорены все мнения и гости разошлись, он остался с Тургеневым один на один и попросил Ивана Сергеевича объяснить возникшее недоумение: в связи с чем только что прослушанный роман глядится причудливым слепком с Райского?

— Как, что, что вы говорите, — смутился Тургенев. — Неправда, нет! Я брошу в печку!

— Нет, не бросайте, — сказал Гончаров. — Я вам отдал это — я еще могу что-нибудь сделать. У меня много!

Так выглядит это тягостное объяснение в «Необыкновенной истории». Через двое суток — Новый год. Еще накануне оба писатели заглядывали в наступающий год с самыми лучшими надеждами: у одного вот-вот выйдет «Обломов», у другого «Дворянское гнездо». И вдруг предпраздничное волнение обернулось треволнениями совсем иного рода.

Легко было Гончарову в тот злополучный вечер бросить: «Я вам отдал это!» Но как «отдать», если Художник уже прикипел к нему, стал частью его существа? Нет, «отдавать» было невозможно. В одну из очередных встреч — а каждая из них неизбежно касалась теперь все той же темы очевидного для Гончарова заимствования — Иван Сергеевич согласился изъять из подготовленного к печатанию текста своего романа сцену с объяснением тетки и племянницы, которая действительно, как он признал, несколько перекликается с тем, что рассказывал ему в свое время Иван Александрович. Что ж, какие-то сходные мотивы и правда можно теперь усмотреть, но ведь все это случилось совершенно нечаянно, невольно. Видимо, объяснял Тургенев, эти мотивы почему-либо особенно запечатлелись, а затем по рассеянности усвоились его собственной художнической фантазией. Но чтобы он что-либо гончаровское включил в свой роман намеренно, сознательно, с умыслом, — нет, нет и нет!

Может быть, и так, рассуждал Иван Александрович, может быть, и так — и ненамеренно, и бессознательно, но ведь ему-то, Гончарову, от этого не легче, ему теперь придется вполне намеренно и сознательно исключать из своего романа всю главу о предках Райского, а то ведь, чего доброго, будущие критики и читатели придут к выводу, что глава эта сюда поступила прямиком из «Дворянского гнезда», да еще и намеренно и сознательно.

Словом, много вдруг объявилось хлопот и у того и у другого. В их отношениях в эти месяцы возникает тягостная двойственность. С внешней стороны все еще выглядит вполне благополучно: они встречаются на литературных обедах; оба участвуют в чествовании актера Мартынова; как цензор Гончаров одобряет к печати второе издание «Записок охотника». Но ближайшие приятели уже посвящены в тайну их конфликта. Гончаров начинает вслух раздражаться некоторыми личными свойствами Ивана Сергеевича, на которые прежде он смотрел сквозь пальцы. Так, в письме к Василию Боткину он сообщает не без сарказма: «Сегодня мы обедали у Тургенева и наелись ужасно по обыкновению. Вспоминали Вас и бранили, что Вы не здесь. Он все по княгиням да по графиням, то есть Тургенев: если не побывает в один вечер в трех, домах, то печален».

20 марта 1859 года Иван Сергеевич отбывал из Петербурга в Спасское. Гончаров приехал на вокзал проводить его. Даже и здесь, на перроне, до самого паровозного свистка, они, словно в каком-то колдовском оцепенении, продолжали препираться по поводу общих мест в двух, романах. Опять вспомнили предков Райского, старинные портреты в барском доме… На квартиру Иван Александрович вернулся с тяжелым сердцем. А вечером еще и с Анненковым был разговор. Странный все же человек этот Павел Васильевич. Когда покойный Гоголь жил в Риме, Анненков состоял при Гоголе — что-то там переписывал. А когда покойный Белинский собрался писать свое эпохальное письмо Гоголю, Анненков опять проявился, но теперь уже он состоял при Белинском. Нынче же любезнейший Павел Васильевич состоит при Тургеневе. При каждом удобном случае адвокатствует в пользу своего очередного кумира. В литературе, мол, но исключены совпадения отдельных мотивов и деталей, поскольку почва перед всеми одна и та же…

Почва-то одна, да каждый по-своему ее пашет. Та самая тема, на осмысление которой один затрачивает долгие годы кропотливого и напряженного подготовительного труда, другому дается с лету, с воздуха, и он норовит выразить ее несколькими изящными росчерками пера. «У меня есть упорство, — пишет Гончаров Тургеневу через неделю после расставания, — потому что я обречен труду давно, я моложе Вас тронут был жизнью и оттого затрагиваю ее глубже, оттого служу искусству, как запряженный вол, а Вы хотите добывать призы, как на course au clocher[6]».

Из этих слов нельзя не заметить, что дело, оказывается, уже не просто в плагиате, явном или мнимом. Тут заявляет о себе претензия иного рода и масштаба. Развивая свое откровенное

сопоставление, Гончаров хочет убедить Тургенева в том, что тому вообще противопоказано писать крупные вещи — это вовсе не его жанр. «Скажу очень смелую вещь: сколько Вы не пишите еще повестей и драм, Вы не опередите Вашей «Илиады», Ваших «Записок охотника»: там нет ошибок; там Вы просты, высоки, классичны, там лежат перлы Вашей музы: рисунки и звуки во всем их блистательном совершенстве! А «Фауст», а «Дворянское гнездо», а «Ася» и т. д.? И там радужно горят Ваши линии и раздаются звуки. Зато остальное, зато создание — его нет, или оно скудно, призрачно, лишено крепкой связи и стройности, потому что для зодчества нужно упорство, спокойное, объективное обозревание и постоянный труд, терпение, а этого ничего нет в Вашем характере, следовательно и в таланте».

В этом суровом приговоре Тургеневу-романисту Гончаров не поколеблется никогда, даже и после того, как будут написаны и опубликованы все тургеневские романы. Не только не поколеблется, но, наоборот, еще более укрепится в правоте своего жесткого вывода.

Не зависть ли двигала в этих строках пером Гончарова? Вопрос вовсе не надуманный, если иметь в виду, что миф о «завидующем Гончарове» кулуарно оформлялся уже при его жизни, а в 20-х годах нынешнего века увидел свет и в академическом варианте — в исследовании Б. Энгельгардта «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев». Энгельгардт склонен был причину все возраставшего рас «хождения между писателями наводить не в самом факте проблематического плагиата, а в том, что, по его словам, на долю Гончарова «достается гораздо меньше успеха и оваций, нежели на долю «обаятельного» Ивана Сергеевича». В такой трактовке и впрямь можно усмотреть «сальеризм» Гончарова.

Вопиющие образцы литературного завистничества вроде бы содержатся и на многих страницах «Необыкновенной истории», относящихся к более поздним годам: Гончаров, например, раздражается тем, что Тургенев назойливо выставляет себя в Европе русским писателем первой величины, что французские издатели только его и переводят и т. д.

Но при всем том аналогия хромает, да еще и на обе ноги. Достаточно вспомнить, что пушкинский Сальери, как бы худо он ни рассуждал о ненавистном гении, уж в плагиате-то упрекнуть его никак не может. Стоит лишь допустить, что у Сальери вдруг появляется подобный аргумент, как трагизм ситуации сразу несколько поблекнет. Действительно, совместимо ли: гений, ниспосланный «свыше», — и нечист на руку?!

К тому же говорить о «моцартианстве» Тургенева-романиста

было бы не меньшей натяжкой, чем утверждать, что романист Гончаров хотя бы отчасти напоминает бескрылого ремесленника от искусства.

В ответном письме из Спасского «завистнику» Гончарову Тургенев так объясняет свое желание и дальше работать в романном жанре: «Не могу же я повторять «Записки охотника» ad infinitum![7] А бросить писать тоже не хочется. Остается сочинять такие повести, в которых, не претендуя ни на цельность, ни на крепость характеров, ни на глубокое и всестороннее проникновение в жизнь, я бы мог высказать, что мне приходит в голову. Будут прорехи, сшитые белыми нитками и т. п. Как этому горю помочь? Кому нужен роман в эпическом значении этого слова, тому я не нужен; но я столько же думаю о создании романа, как о хождении на голове: что бы я ни писал, у меня выйдет ряд эскизов».

Правда, с годами эта самооценка, видимо, подзабылась. Но на то имелись и внешние причины: разительный успех у читающей публики почти каждого нового тургеневского романа, широкий интерес к ним критиков всех направлений, а затем и популярность на Западе.

Летом 59-го года, находясь в Спасском, Тургенев, взбодренный успехом «Дворянского гнезда», принимается за новую большую вещь. И пишет ее быстро — всего за четыре месяца.

Роман «Накануне» появился зимой 1860 года в первом номере катковского «Русского вестника». Выход романа послужил поводом к еще одному столкновению недавних друзей. Столкновению, за которым последовал и разрыв.

Читая «Накануне», Гончаров, уже соответственно настроенный, опять усмотрел заимствования из программы своего Художника. Снова здесь фигурировал какой-то дилетант, теперь по фамилии Шубин, и живописец, и скульптор одновременно, личность разглагольствующая и раздраженно-чувственная. Этот Шубин вхож в дом, где его внимание привлекают две девицы. Одна, по имени Зоя, смазливая и глупенькая, — карикатура на Марфиньку. Другая — ее зовут Еленой — что-то среднеарифметическое между Верой из Художника и Лизой из «Дворянского гнезда». И конечно, Шубину не удаются ни его интрижки с Зоей, ни тем более с Еленой, потому что вот-вот должен объявиться в романе герой-вольнодумец (для разнообразия он болгарин по национальности), его-то, разумеется, Елена и полюбит. Тут же фигурирует и копия с гончаровского ученого Козлова — молодой ученый Берсенев…

Раздражение и обида с новой силой вспыхнули в душе Ивана

Александровича. Прочитав первые страниц сорок романа, он в досаде захлопнул журнал (номер прислал ему для ознакомления сам автор). Сколько еще может продолжаться эта прямая эксплуатация его замысла? Теперь доказывай, кто у кого что позаимствовал! Хорошо еще, что о своем Художнике он говорил не одному Тургеневу, что есть и другие свидетели, хотя бы тот же Семен Дудышкин. Уже после «Дворянского гнезда» Дудышкин вполне солидаризовался с ним, что Тургенев внимательно изучил программу Райского.

Именно Дудышкин создал в эти дни прецедент для прямого разрыва между писателями. Вскоре после своего беглого ознакомления с «Накануне» Гончаров повстречал его на Невском и, узнав, что тот направляется к Тургеневу на обед по случаю опубликования романа, желчно пошутил:

— Это на мои деньги обедать будете.

Дудышкин — какой уж его бес за язык дернул? — на обеде, при свидетелях, гласно помянул злополучную фразу о деньгах. На следующий день Тургенев вместе с Анненковым пришел на квартиру Ивана Александровича с намерением решительно объясниться. Но хозяина дома не застали.

Все вдруг приобрело нешуточный оборот. В «Необыкновенной истории» Гончаров пишет: «Тургенев был прижат к стене: ему оставалось или сознаться, чего, конечно, он не сделает никогда, или вступиться за себя». Но в еще более трудном положении неожиданно оказался и сам Иван Александрович. 27 марта 1860 года он получает резкое письмо Тургенева с обвинением в клевете, с требованием немедленно разобрать всю историю в присутствии одного или нескольких свидетелей и с намеком на другие, более серьезные *меры*. Гончаров в тот же день отвечает согласием на выставленные условия суда, а относительно намека на иные меры пишет: «Я готов на все меры, которые употребительны между порядочными людьми…»

В течение следующего дня ведется подготовка к встрече. Свидетелями решено пригласить четырех человек — Анненкова, Дружинина, Дудышкина и Никитенко. На кандидатуре последнего Гончаров настоял, зная, что первые два наверняка займут сторону Тургенева, и не будучи уверен в Дудышкине, которого оборот событий сильно испугал.

В этот же день он достает номер журнала с «Накануне» (тургеневский экземпляр давно отослан хозяину), чтобы ознакомиться с недочитанной большей частью романа. Что ж, дилетант Шубин, как он и прежде отчетливо видел, сильно смахивает на Райского. Налицо и иные тождественные ситуации. Но доказать что-либо положительно — он только сейчас это

начинает до конца понимать — будет почти невозможно. Слишком неравны условия, в которых, оказались он и его противник. Романы Тургенева читали все члены третейского суда, а программа Художника в ее пространном устном изложении, кроме заинтересованных лиц, известна лишь ненадежному Дудышкину.

То, в чем он глубоко убежден, для недоброжелательно настроенных лиц может показаться проявлением его капризной субъективности, образчиком раздутого литературного самомнения. Словом, третейский суд как форма установления справедливости к их случаю вовсе не подходит. Но деваться уже некуда.

Суд состоялся 29 марта. К назначенному часу все собрались на квартире у Гончарова. Первым с изложением своих обид и недоумений выступил Тургенев. По свидетельству Никитенко, который занес события этого дня в дневник, Тургенев был «взволнован, однако весьма ясно, просто и без малейших порывов гнева, хотя и не без прискорбия, изложил весь ход дела, на что Гончаров отвечал как-то смутно и неудовлетворительно». Оценивая встречу, Никитенко замечает: «Вообще надобно признаться, что мой друг Иван Александрович в этой истории играл роль не очень завидную; он показал себя каким-то раздражительным, крайне необстоятельным и грубым человеком, тогда как Тургенев вообще, особенно во время этого объяснения, без сомнения для него тягостного, вел себя с большим достоинством, тактом, изяществом и какой-то особенной грацией, свойственной людям порядочным высокообразованного общества».

Таково впечатление человека, которого Гончаров считал своим другом и на сочувствие которого вправе был рассчитывать в первую очередь. Что же говорить о других судьях.? «Я понимал, — вспоминает автор «Необыкновенной истории», — что всем им, как равнодушным людям, только скучно от всего этого и что привлечь их к мелочному участию (т. е. к вхождению в мелкие детали заимствований. — *Ю. Л.)* я не могу».

Когда речь коснулась «Накануне», Иван Александрович совсем потерялся и, вместо того чтобы ясно обозначить все примеры заимствований, стал вдруг отступать: романа он толком не читал, и вообще тут многое, видимо, следует объяснить его мнительным характером.

В итоге судьи, отведя обвинение в плагиате, а реплику Гончарова о «деньгах», произнесенную в крайнем раздражении, признав «как бы не существовавшей», предложили примирительную формулу. Она гласила, что совпадения между

романами одного и «программой» другого вполне естественны, ибо «произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях,».

Как мы помним, у Ивана Александровича уже было свое четкое мнение насчет «почвы». Так что последняя формулировка вряд ли могла его удовлетворить. Ведь если руководствоваться подобным силлогизмом, то «случайные совпадения» мы должны будем обнаружить буквально у всех авторов, работающих на одной и той же «русской почве».

Но судей, а также Тургенева подобное заключение как будто вполне устраивало. Все поднялись. Иван Александрович, скрывая огорчение, стал благодарить участников. Но тут Тургенев, взяв шляпу, произнес своим высоким голосом: «Прощайте, Иван Александрович, мы видимся в последний раз!»

Кажется, никто из присутствующих не ожидал подобной сцены. Все как-то растерялись. Не нашлось волевого и расторопного миротворца, который бы топнул ногой, прикрикнул на обоих, распек их как следует… Но, похоже, и самый расторопный миротворец тут ничего бы уже не успел… Минута была упущена, и, по сути, навсегда.

Выше уже говорилось, что гончаровская мнительность, которую не обошел ни один из биографов, ни один из исследователей конфликта, на которую ссылался и сам писатель, была не столько причиной, сколько тяжким последствием ссоры. Сегодня мы можем совершенно отчетливо разглядеть то крошечное семя, из которого с годами непомерно разрослось угрюмое древо этой мнительности.

Незаметно для себя Гончаров начинает подозревать в несамостоятельности буквально всякую новую вещь Тургенева. Правда, отмечает он, чем больше тот пишет, тем искуснее вставляет в свои сочинения чужие разработки, так что сразу не все и углядишь. Но стоит лишь присмотреться, и сходства проступают наружу.

Кое-какие мотивы Художника он улавливает в «Отцах и детях», затем в «Дыме». А в «Вешних водах», как ему кажется, автор вдруг обратился к сюжету первой части «Обыкновенной истории», благо этот роман уже подзабыт публикой.

Мнительности лишь дай волю. И вот уже она распространилась на личности и сочинения литературных коллег. Тургенева. Началось с того, что Гончарову подозрительными показались хлопоты Тургенева о переводе и печатании в

«Вестнике Европы» романа немецкого автора Ауэрбаха «Дача на Рейне».

По иронии судьбы Иван Александрович и сам оказался подключен к этим хлопотам. Дело происходило после того, как в январе 1864 года писатели формально примирились на похоронах одного из «третейских судей» — Дружинина. Поначалу Гончаров даже лично по просьбе Тургенева содействует скорейшему переводу «Дачи на Рейне». В качестве переводчицы он рекомендует свою добрую знакомую Софью Никитенко.

Насторожил и обидел Ивана Александровича уже тот факт, что редактор «Вестника Европы» «пропустил» часть романа Ауэрбаха в своем журнале непосредственно перед «Обрывом» — многострадальным Художником Гончарова. Переводному сочинению было предпослано предисловие Тургенева, в котором автор «Дачи на Рейне» ставился ни много ни мало на одну ступень с самим Диккенсом.

Но когда Иван Александрович пролистал роман, вся интрига для него легко объяснилась: оказывается, уже и Аузрбаху известен план его «Обрыва», и он им широко пользуется в своей «Даче»! И ведь кто, кроме Тургенева — они давно приятели, — мог высказать этот план Ауэрбаху? Больше некому.

А что, если его литературный обидчик не только Ауэрбаху угодил? Что, если он теперь по всей Европе разбазаривает достояния русской письменности? Ведь как, должно быть, приятно прослыть среди зарубежных сочинителей ходячим кладезем сюжетов и тем!

Прочитав в одной из статей, что из современных французских прозаиков Тургенев особо нахваливает Флобера, Иван Александрович и последнего начал изучать с пристрастием. И что же! Взять хотя бы пресловутую «Госпожу Бовари». В этом безмерно разрекламированном сочинении то и дело мелькают мотивы, коллизии и образы, словно надерганные из программы Художника.

Но «Бовари» никнет и тускнеет рядом с «Воспитанием чувств» того же автора. Тут уж целые большие куски как бы сведены через папиросную бумагу с «Обрыва». Особенно поразился Гончаров, когда, читая в «Вестнике Европы» редакционное предисловие к фрагментам из «Воспитания чувств», он наткнулся на следующие строки: «Не знаем, приходили ли нашим читателям на мысль некоторые сравнения между лицами романа Флобера и лицами наших, русских известных романов, но нам многие из них напомнили родное, особенно Фредерик… Он напоминает хорошо знакомого нашим читателям Райского с тем различием, что Флобер отнесся еще объективнее к своему герою, чем наш

почтенный романист».

Вот уже где, кажется, и читателю «Необыкновенной истории», доныне вполне убежденному в болезненной мнительности Гончарова, настает пора смутиться. Как же так? Ну ясно, совпадения и общие мотивы могут быть у авторов, живущих на одной, отечественной почве. Но ведь у Гончарова и Флобера почвы совершенно разные! А что, если Гончаров действительно прав? Что, если действительно в течение нескольких десятилетий вокруг несчастного Ивана Александровича строилась, причем с помощью множества лиц, чудовищно продуманная интрига? Подсылались к нему ловкие соглядатаи, с сочувствием расспрашивали об отношениях с Тургеневым, интересовались, как продвигается его Художник, то бишь «Обрыв», упрашивали прочитать новые главы, поддакивали, когда он жаловался, льстили ему изо всех сил, воздыхали и закатывали глаза, но ничего, кроме хищного любопытства, не мог он прочитать на дне их глаз. Он знал их поименно. Некоторые приходили непосредственно от Тургенева, как парламентеры и устроители литературного благополучия. А затем, когда при встрече он спрашивал о них у Тургенева, тот страшно удивлялся и клялся, что никого не уполномочивал. Другие появлялись как бы сами по себе, из собственного интереса. Но и эти, он ясно видел, болтаются на ниточке. Они надоедали ему не только в Петербурге, но и за границей, в те дни и недели, когда он особенно нуждался в уединении и сосредоточенности. Они вселялись в соседние номера отелей, где он работал над «Обрывом», так что, уходя из номера, ему приходилось с особой тщательностью прятать рукопись…Реальное и фантастическое и «Необыкновенной истории» тесно соседствуют. Толпа «интересующихся» начинает двоиться не только в восприятии Гончарова, но и читателя его исповеди, и это обстоятельство требует от последнего особого внимания и такта. Трудно не поддаться магии гончаровской убежденности… Какие-то баронессы, какие-то офицеры и чиновники, какие-то самозванцы-литераторы… Шушукаются о нем, когда он идет мимо по аллее, высовывают гадкие свои рожи из-за деревьев, из-за углов, обгоняют его, чтобы еще разок пройти навстречу с подлой ухмылкой: ну что, мол, ты еще не совсем спятил? погоди же, скоро мы тебя доведем…

О, эта окололитературная сволочь! Вот уж сущие бесы!.. Они летят на запах всякого скандала, всякой сплетни и навета. Еще бы, это им как манна небесная… О, эта вечная как мир, изогнутая фигура существа, которое из-за спины художника пялится на его работу! Ну, что там у тебя? Опять не получается? Опять одна

грязь вместо божественных линий и красок? И не получится никогда, сколько ни старайся. У других еще получится, у тебя же — ни за что!..

Лето 1869 года. Только что в «Вестнике Европы» опубликован наконец «Обрыв». Но нет на душе у автора вожделенной тишины. Слишком большим, избыточным напряжением далось ему превращение давнишней программы Художника в романное полотно. Слишком много издержек, непоправимых душевных утрат, психических потрясений.

И никогда уже, до самой смерти Тургенева, никто и ничто по-настоящему не примирит двух писателей.

В предисловии к сборнику своих басен отечественный мыслитель XVIII века Григорий Сковорода обратился когда-то к читателям с таким признанием: «Не мои сип мысли и не я оные вымыслил: истина безначальна. Но люблю — тем мои, люби — и будут твои».

И эта мысль, можно сказать, тоже не его, Сковороды. Ее выражали устно и письменно и представители других, более ранних эпох. Таков был веками складывавшийся принцип творческого поведения: «свое» — это «общее», по близко принятое к сердцу.

Так, например, в древнерусской письменности никогда не существовало понятия «литературного вора», заимствователя и присвоителя чужих идей, сюжетов и образов. Письменность понималась почти так же, как понимается фольклор. То есть как общее, коллективное, соборное, протяженное на памяти поколений творчество, завещаемое к усвоению и обновлению потомкам. Невозможно представить себе, допустим, чтобы автор «Слова о полку Игореве» обвинялся современниками в подражании Бонну, а автор «Задонщины» в том, что он корыстно использовал для своих нужд мотивы и метафоры, взятые из «Слова». Не было частной собственности на замысел, на сюжет, на сравнение.

Примерно та же картина наблюдается и в средневековой культуре Запада. Произведения Шекспира, во многом ещч наследующие средневековым традициям, буквально кишат заимствованиями из самых разных авторов. Баснописцы, вплоть до новейших времен, постоянно упражняются на сюжетах, Эзопа. Гёте пропускает через фильтры своего «Фауста» целую библиотеку легенд о знаменитом алхимике, колдуне и шарлатане Фаустусе.

Отношение к литературным накоплениям предшественников и современников как к общему достоянию в большой степени

характерно для Пушкина, а литературная бескорыстность его известна по хрестоматийному примеру с Гоголем, которому он сообщает сюжет «Мертвых душ». Примеры можно было бы и умножить.

Но параллельно с этим в европейской культуре уже давно действовали совсем иные каноны и принципы литературного поведения. Они изводятся от времен Возрождения, когда сложилась идеология гуманизма с ее особыми понятиями о личности человека и, в частности, личности художника, писателя. В декларациях новой идеологии всемерно возвеличивалась фигура художника как существа суверенного, неповторимого, причем гуманизм усиленно подчеркивал в нем функцию самоценного, независимого и полноправного творца, создателя особых, единственных в своем роде миров.

Так закреплялась частная собственность на созданное, будь то картина или литературное произведение. Так постепенно складывалось понятие об авторском праве, представление о «своем» и «чужом», о заимствовании, компиляции, плагиате, литературном мошенничестве и т. п. С таких позиций стихийно-коллективное народное творчество начинает трактоваться как примитив, как топчущаяся на месте полукультура.

С особым напряженном идея авторского права стала переживаться в эпоху создания новоевропейского психологического романа — детища буржуазной эры. Из всех других жанров литературы роман в наибольшей степени соответствовал идеалу суверенного художественного мира, сотворенного индивидуальным усилием автора-демиурга. Этот мир обладает своим временем и пространством, своим населением, подчиненным только воле создателя, облеченного властью порождать и убивать, казнить и миловать. Попрать границы такого мира, похитить кого-либо из населяющих его персонажей или что-нибудь из реквизита этих персонажей — это было уже нарушением литературного кодекса, общественным проступком.

Повышенная, гипертрофированная авторская чувствительность к «своему» и «чужому» — горький плод возрожденческого гуманизма. Личность художника в неограниченном стремлении к самопроявлению и самоутверждению преодолевает все разумные барьеры и в конце концов заражается нестерпимым индивидуализмом. Исторически такой разрушительно-плачевный финал совпал с оформлением декадентства, когда забота художника о своем «лице», своей «манере», своем «мастерстве», своем «стиле» стала почти единственным содержанием искусства. Но как бы в отместку за

эту крайность художник обречен утратить свою драгоценную человеческую ипостась — вся она рассыпается на отдельные плоскости и частности, на груду деталей. Тут уже нет и намека на «свое», то есть на сердечное и духовное.

Гончаров не случайно писал в «Необыкновенной истории», что его распря с Тургеневым обнажает нравы целой литературной эпохи.

Издержки гуманистического подхода к искусству в его конфликте с Тургеневым налицо. Болезнь малозаметна в хилом составе. Но с особой силой она цепляется за здоровые организмы.

Так, нежданно для самих себя, двум писателям-современникам суждено было стать жертвами жестких правил и догм, которые создавались не ими, не по их мерке, по обрушились на них как соблазн и испытание.

Ни один, ни другой не были подготовлены к тому, что между ними случится, ни собственным писательским опытом, ни опытом предыдущих литературных поколений. Их друзья и советователи, как правило, вели себя далеко но лучшим образом: вместо того чтобы притушить разгорающуюся вражду, еще сильнее подстрекали к ней. Из сферы частной переписки злословие вышло на печатные страницы. Есть особого рода сладострастие: судить о писателе, о художнике и о том, что им создано, по неблаговидностям его личной жизни. Сладострастие это прикрывается неотразимым доводом: да он ханжа! он нас учит чему-то идеальному, а сам — гадкий! Отсюда и вожделенная цель: показать, что всякий учащий несостоятелен, а следовательно, и идеальное не нужно воспринимать как необходимость.

С учетом этой цели «Необыкновенная история» — документ великой разоблачительной силы: легион литературных бесов проносится по ее страницам с хохотком, взвизгом и ужимками. Перед нами не столько стенограмма душевного недуга писателя Гончарова, как, к сожалению, еще до сих пор судят о «Необыкновенной истории», сколько диагноз болезней окололитературной среды, извечно паразитирующей на больших именах.

То, что изложено в «Необыкновенной истории», по глубокому убеждению ее автора, «необходимо для истории беллетристики». Еще нигде и никогда в мировой литературе ее внутренние противоречия не изображались в такой открытой форме, не вскрывались с такой степенью покаянного чувства, как в исповеди Ивана Гончарова.

В открытости этой исповеди, в ее постоянной обращенности к голосу и мнению будущего читателя-судьи уже содержится

возможность снятия конфликта, не снятого, к сожалению, при жизни его участников. Вот почему мы можем представить себе возможный диалог писателей, один из которых произнес бы примерно следующее.

Да, я использовал в своих книгах некоторые идеи и образы и сюжетные ходы, сходные с вашими, или, по крайней мере, развил нечто им параллельное и не стыжусь в этом признаться, потому что в мире, как я разумею, всегда существовал самый минимум коренных идей, сюжетов и образов, так же как и в жизни существует определенный минимум общественных типов и ситуаций, из которых мы, литераторы, вынуждены отбирать наиболее, на наш взгляд, характерное. Ведь и про вас можно сказать, что ваши Марфинька и Вера отчасти напоминают пушкинских Ольгу и Татьяну, а ваш Райский — Онегина, а ваши Обломов и Захар в какие-то моменты схожи с Дон-Кихотом и Санчо Пансой, а в иные моменты те же Обломов и Штольц напоминают Фауста и Мефистофеля… Тут уж ничего не поделаешь: в истории, а затем и в литературе то и дело повторяются сходные ситуации, то и дело мелькают похожие друг на друга типы и характеры. Иное лишь прикинется никогда не бывалым, а приглядишься к нему — старый знакомец. Наш брат литератор по слабости людской, по самолюбию своему склонен поражать публику всякой новью и небывальщиной, да еще норовит посоревноваться с коллегами, всех обскакать. Тут и мой грех имеется, не скрою. За всякое вольное и невольное огорчение, за все, что вспомнил и не вспомнил, простите великодушно…

Да, вы действительно правы, — ответил бы ему второй. — Наш брат литератор — существо весьма несовершенное. Сладость быть на виду у публики не дается ему даром. Тяжелый груз раздраженного самолюбия, детской какой-то обидчивости, недоверчивости и неуверенности в себе приходится влачить через всю жизнь. Дорого бы я заплатил тому литератору, который взялся бы за труд написать правдивую книгу против писательства как профессии. Но поскольку профессия такая все же существует и мы даже исповедуем некоторое гражданское значение нисходящего через нас, грешных, «божественного глагола», то повлечем свое бремя и далее, заботясь хотя бы о том, чтоб обрывать с этой ноши всякие репьи и волчцы… Бог с ними, с заимствованиями. Сознательные они или бессознательные, им действительно несть числа в литературе. Все мы, в конце концов, живем у бога взаймы, и никто не в состоянии вернуть долг. Но огорчительно среди литераторов другое: когда что-то берется тишком, тайно и тут же выдается за свое. Когда действует умысел выставиться перед другими, прокатившись за чей-то счет. Без

соревнования писателям не прожить, этим и литература движется, лишь бы все условия соблюдались честно. А раз я теперь уверился, что вы ничего такого против меня не предпринимали, то пусть и делу выйдет конец — и вашим на меня справедливым обидам, и моим грешным подозрениям. Как постыдную обузу, сбрасываю с себя мнительность, потому что нет болезни страшной и мучительней. Пусть же и нас простят другие, как прощаем мы теперь друг другу. Мир вам и моя рука.

СТАРУШКА И СТАРИК

Работа над «Обрывом» растянулась почти на двадцать лет не только потому, что слишком много времени и сил ушло у Гончарова на распрю с Тургеневым. Это была лишь одна из целого ряда причин, хотя, может быть, и наиболее важная. Среди других причин промедления в первую очередь нужно назвать следующие:

а) кругосветное плавание и затем писание «Фрегата «Паллада»;

б) работа над «Обломовым»;

в) государственная служба;

г) наконец, необходимость видоизменения, уточнения, дошлифовки многочисленных частностей чернового корпуса романа.

Когда Гончаров рассказывал Тургеневу программу Художника, в ней еще очень неотчетливой выглядела фигура одного из главных персонажей — молодого человека, которым увлечена Вера. Ивану Александровичу ясно было лишь, что этот его герой явится носителем социально опасных взглядов. Но каких именно? В первоначальном наброске плана писатель предполагал, что герой его будет сослан в Сибирь, и Вера, подобно женам декабристов, последует за ним. Но такой сюжетный ход (даже без оглядки на несколько похожую ситуацию в тургеневском «Накануне») выглядел бы теперь анахронизмом. Ассоциации с декабристской эпохой невольно отодвинут вспять время повествования, а автор все-таки не исторический роман собрался писать.

Следовательно, ссылку в Сибирь надо аргументировать какими-то реалиями из русской действительности середины века. Такая необходимость создала бы для писателя дополнительные сложности — на сей раз идеологического порядка: в литературе 50-х годов тема социального протестантства была еще наглухо закрыта.

Итак, бездействовал основной движитель романного конфликта. Похоже, само время просило писателя обождать еще несколько лет, пока не назреют и не выйдут наружу иные общественные тенденции и настроения.

Как бывало у него и прежде, ему не понадобилось специально изучать и добывать на манер рудокопа эту новую общественную явь. *Жизнь* — вспомним любимое присловье Обломова — *трогала.* Причем трогала глубоко, а иногда и больно.

Кто бы мог предположить, что решительную подсказку для

своего «Обрыва» он получит как свидетель непредвиденной семейной драмы, разыгравшейся в доме его друзей Владимира Майкова (Старика) и его жены Екатерины Павловны?

С Катенькой Калитой, худощавой, болезненного вида и маленького роста шестнадцатилетней девушкой, Гончаров познакомился незадолго до кругосветного плавания. Накануне своего отплытия он присутствовал на свадьбе: его новая знакомая выходила замуж за юношу, которого он знал сызмлада. Скорые на выдумывание прозвищ Майковы и ей дали шуточное имя — Старушка. Прозвище вполне подходило: есть лица, на которых уже в юности отчетливо написано, какими они сделаются в пожилом возрасте, какие именно черты резко проступят на первый план. Что-то старушечье было и в ее тщедушной фигурке, и в характере, вспыльчивом, переменчиво-капризном, хотя открытом и безунывном.

В конце 50-х годов Гончаров особенно близко сошелся со Стариками. Супруги жили отдельно от родственников, на Лиговке. После возвращения из плавания писатель стал здесь бывать много чаще, чем на Садовой. У Стариков подрастала дочь Женечка, любимица Ивана Александровича. В 1858 году Екатерина Павловна родила мальчика, названного Валерием.

Владимир Майков Души не чаял в своей Котиньке. Он не уставал с годами обнаруживать в ней все новые и новые достоинства и таланты. Под стать всем Майковым, Старушка действительно была разнообразно одарена: она неплохо пела народные песни, арии из современных опер; недурно разбиралась в живописи; были у нее и вполне очевидные литературно-критические способности.

Существо порывистое, энергичное, Екатерина Павловна вовсе не собиралась ограничить себя на всю жизнь ролью жены-няньки. Дети детьми, но у нее должна быть и своя жизнь. Она хочет постоянно находиться в курсе литературных событий. Даже во время частых болезней Старушка требует, чтобы ей приносили свежие журналы, только что вышедшие книги. С утра до вечера шелестит в своей постельке страницами. И сердится, когда скажут ей, что такое напряженное чтение может повредить здоровью.

Как-то вдруг осенила ее мысль: почему воспитание детей считается делом сугубо домашним, частным, не пора ли посмотреть на него шире? И вот вместе со Стариком она начинает хлопотать об открытии специального журнала для детского чтения. Журнал разрешают, и его официальным редактором становится Владимир Майков. Но душой всего зачинания, — конечно, она. Название для журнала искали недолго. Вспомнился давнишний рукописный «Подснежник», которым так славно

открылся когда-то майковский салон.

Первый номер нового «Подснежника» выходит в 1858 году. Издание печатается на прекрасной бумаге. Не жалея денег, заказывают клише для иллюстраций за границей, у лейпцигских мастеров.

Редакторы поставили себе целью, чтобы в «Подснежнике» в первую очередь сотрудничали наиболее известные современные литераторы. Обращаются за материалами к Льву Толстому, к Тургеневу, к собирателю русских народных сказок Александру Афанасьеву, к поэту Михаилу Михайлову и многим другим.

Естественно, не обойден вниманием и Гончаров — ветеран майковских «Подснежников». Что значит: у него нет ничего «детского»? А «Фрегат «Паллада»? Разве из этой книги нельзя выбрать несколько отрывков, которые с благодарностью будут восприняты всяким ребенком, подростком, мечтающим о странствиях? Русские дети должны воспитываться на классических образцах родного слова.

И Иван Александрович принимается за работу. Невозможно ему устоять под напором этих ретивых редакторов, а особенно Старушки! Уж она-то на своем всегда настоит. Как коготками, вопьется в тебя своими тонкими хищными пальчиками — и пропал. Вон даже у неприступного Толстого выцыганила для приложения к журналу военные рассказы.

После того как Гончаров отдал в «Подснежник» специально обработанные фрагменты из «Фрегата», аппетит у Стариков разыгрался еще пуще. Теперь они требуют, чтобы он написал что-нибудь собственно для детей. Он долго отнекивается, тянет время. Но наконец вынужден сочинить целое письменное обоснование своего отказа — маленький эпистолярный трактат, в котором высказывает очень здравые и, кстати, много раз потом подтвердившиеся в практике других русских писателей соображения.

«Как скоро садишься писать с мыслию, что это для детей, — замечает Гончаров, — не пишется да и только. Надо забыть это обстоятельство, а как его забудешь? Можно писать для них ненарочно, не думая о том. Например, Тургенев, не стараясь и не подозревая ничего, написал свой «Бежин луг» и некоторые другие вещи — для детей; я тоже нечаянно написал книгу для юношества «Палладу»; Григорович весь (за исключением какого-нибудь Накатова) детский писатель, и тоже ненарочно. Дети не любят, чтобы их считали детьми, и это весьма справедливая мысль, что для детей литература уже готова и что ее надо выбирать из взрослой литературы… Гёте, Шиллер, Жан Поль, Ламартин — и многие, многие, а наши: Пушкин, Лермонтов, Гоголь etc. —

писали ли для детей? Нет, не слыхать. Словом, это — если не невозможно, то очень трудно, и я полагаю, что писать для детей собственно нельзя, а можно помещать в журнал детский что-нибудь уже готовое, что написано и лежит в портфеле, путешествие, рассказ, история — все, что годится и для взрослых и что не имеет в себе ничего, что бы только могло повредить детскому уму и воображению».

Видимо, лишь таким способом удалось Ивану Александровичу отговориться от дальнейшего участия в «Подснежнике».

Год от года его отношения со Стариками становились все более прочными, доверительными. В доме на Лиговке как бы воскрешается атмосфера, царившая некогда в салоне Майковых, с тою лишь разницей, что теперь не Гончарову покровительствуют и пригревают его, но сам он выступает в роли мягкого и деликатного наставника еще не во всем опытной супружеской четы. Но, конечно, дело вовсе не в каких-то педагогических обязанностях с его стороны. Прежде всего он часто бывает тут потому, что ему легко, весело, отдохновенно в их доме. Он с удовольствием возится с детишками, с удовольствием улаживает маленькие ссоры мужа и жены, с удовольствием сам препирается по всякому поводу со Старушкой. Ему нравится наблюдать этот выразительнейший женский характер, эту редкостную по тонкости ума, прямодушию, отзывчивости и бескомпромиссности натуру. Екатерина Павловна, будто вечный подросток, не терпит ни в ком фальши. Она способна стремглав, в одну минуту, навсегда разочароваться в своем кумире или же громко восхититься человеком, которым еще вчера пренебрегала как скучнейшей посредственностью.

Следить за таким существом, как Старушка, — что может быть поучительней и благодатней для писателя — общепризнанного знатока женской души?

Право, он по-своему даже несколько влюблен в Екатерину Павловну, хотя, конечно, эта его влюбленность — самого эфирно-зыбкого, неоскорбительного свойства. Он готов без устали слушать ее всегда неожиданные, цепкие и пронзительные суждения о литературе, будь то его собственные вещи либо сочинения братьев-литераторов. А как подчас остроумны и задиристы ее замечания о самих сочинителях! То вдруг в нескольких фразах отхлещет женолюбивого Григоровича, то отпустит словесную затрещину в адрес мужиковатого Писемского.

Создает же природа такие организмы! Годами не может

выкарабкаться Старушка из обложных болезней, то и дело призывают к ней докторов, то и дело переводят ее на постельный режим, а энергии в ней как в маленьком вулкане — даже завидно.

Неоценимую поддержку оказала она Ивану Александровичу в годы, когда после длительного перерыва попробовал он было вернуться к «Обрыву». Это ведь было для него поистине пыткой — сдвинуть с места скрипучую колымагу своей многострадальной «программы». И тут она приходит на помощь, просит, чтобы он доверил ей для переписывания все свои черновики.

Черновики?! Это, пожалуй, чересчур красиво сказано. Вместо черновиков у него — разбухший портфель бумажных клочков и обрывков. Кое-где среди них, правда, вдруг и промелькнут фрагменты почище — даже целые главы попадутся невзначай, но в остальном — никакого порядка. Тут и сам черт ногу сломит. Куда уж ей, с ее-то легкими, зарываться в пыльную сию ветошь!

Но, должно быть, не зря сам он в шутку зовет Екатерину Павловну «ангелом-чертенком»: сопротивляться ей бесполезно — отдайте, и все тут!.. Расчет Старушки хитр: Иван Александрович поглядит, как рьяно взялась она за работу, и сам перестанет киснуть, встряхнется. Главное сейчас — снова пробудить в нем интерес к своему роману. Переписывая начисто главы второй части, она не устает их нахваливать, причем делает это безо всякой натуги. Бабушка, Райский, его кузины, быт помещичьей Малиновки — все это взято автором так крепко, так свежо, как в лучших страницах обожаемого ею «Обломова». Грех бросать подобные сокровища на полдороге. Тут нечем будет ему оправдаться: ни занятостью по службе, ни хандрой, ни плутнями Ивана Сергеича.

И кажется, внушения Старушки доходят до цели. С весны 1859 года Гончаров все чаще поговаривает о Мариенбаде. Пожалуй, в мае он возьмет заграничный отпуск и снова отправится на воды. А вдруг, как и летом позапрошлого года, произойдет с ним там невероятное?

Но, оказывается, Старик и Старушка тоже давно мечтают о заграничном путешествии. Так что пусть Иван Александрович возьмет и их с собой. Они не станут мешать ему в Мариенбаде. Они поселятся в каком-нибудь ином курорте, более подходящем для ее лечения. А потом, когда он всласть наработается в одиночестве, опять съедутся, он будет им гидом по Рейну, по Парижу, они подышат атлантическим ветром Булони.

Он, конечно, счастлив от одной мысли совершить подобное путешествие совместно со Стариками. Но выдержит ли ее хрупкий организм дорогу? Только от Петербурга до Варшавы шестеро суток. Даже он, помнится, прибыв в польскую столицу, с

трудом ступил ногами на землю.

Но попробуй отговори теперь Старушку. Ну и характерец! В каком-то восторженном негодовании она доказывает, что запугивать се дорогой гадко, что теперь только дорога — единственное настоящее для нее лекарство, а не месяцы лежания в провонявшей медикаментами комнате.

Поразительно, но в конце концов все так и происходит, как хотела того строптивая Старушка! И до Варшавы они вместе едут, причем у нее никаких признаков ухудшения, наоборот, даже посвежела. Затем, по прибытии в Дрезден, спутники разделяются: он — в Мариенбад, они — в Швальбах. А через пять недель — снова вместе. Едут в Париж, где Гончаров показывает Майковым наиболее колоритные уголки города. В этом ему помогает и нежданно объявившийся Григорович, который, оказывается, живет у Дюма и, как всегда, в своей тарелке, то есть у него очередное приключение, на сей раз с какой-то французской девицей.

После посещения Булони, в самом начале сентября, они через Брюссель опять попадают в Дрезден. Тут застают нескольких русских, в том числе молодую малороссийскую писательницу Марию Вилинскую, уже известную в Петербурге под псевдонимом Марко Вовчок. Этот мужской псевдоним она, видимо, избрала в подражание Жорж Санд. Но повести и рассказы пишет оригинальные, неподражательные, из народного малороссийского быта и сама хоть некрасива, но жива, энергична, с приятным сочным голосом и неотразимо женственна.

Екатерина Павловна на знаменитую своим эмансипированным поведением хохлушку поглядывала со смешанно-смутным чувством: восхищения и пронзительной тревоги. Чего все же больше в этой незаурядной личности: свободолюбия или неуправляемой страстности, которая способна все разметать на своем пути?

Впрочем, они уговорились с новой знакомой, что она будет сотрудничать в «Подснежнике». Марко Вовчок пообещала вскоре прислать что-нибудь в журнал.

Единственный пункт, который хромал в летнем плане, так счастливо осуществившемся, — это то, что Ивану Александровичу над романом поработать как следует но удалось. Он объяснял это тем, что сидячий режим, который он себе сразу завел в Мариенбаде, тут же худо сказался на его общем состоянии. «Сделались приливы», — как пожаловался он в письме старшим Майковым. Но вряд ли самого его такое объяснение устраивало. Ведь позапрошлым годом здесь же он обошелся безо всяких приливов. Просто роман застопорился на чем-то коренном, и тут

одной лишь усидчивостью ничего нельзя было взять. Наоборот, прилежанием и терпежом сейчас еще больше можно навредить делу — распалить в себе к роману самую настоящую ненависть. И он в очередной раз смирился и заключил про себя, что и сейчас обождет переть против рожна. Райский, который годами казался ему ясным как божий день, теперь расплывался перед глазами и был противен автору, как противна бывает медуза в теплой воде. А удачливый соперник Райского? С тем было еще неопределеннее. Ссылают ли его все же в Сибирь и едет ли за ним самоотверженная Вера?

Наконец Гончаров окончательно отступился от «сибирского» варианта. Но, отступившись от одного, он пока нисколько не продвинулся к чему-нибудь иному. Иван Александрович вообще что-то сильно заколебался в своем вольнодумце. А должен ли в принципе такой тип служить в его романе неким притягательным полюсом, по крайней мере для героини? Слов нет, в судьбах многих декабристов, с которыми Гончаров в свое время познакомился в Иркутске, он находил эту притягательность жестокого жизненного испытания, превращавшего вчерашних пылких мечтателей в истинных мужей подвига. Их подвиг виделся теперь, пожалуй, вовсе не в дерзости замыслов, не в хмельном всемирном замахе двадцать пятого года, но в том, как они десятилетиями несли свои кандальные вериги, как переживали в своей вечной мерзлоте верховную кару, в том, как умели они *претерпеть*.

Но увы, что-то не встречаются ему среди новых поколений люди подобного закала. Напротив, после недавних свободолюбивых жестов правительства на поверхности политической и гражданской жизни стали появляться какие-то странные, совершенно непредвиденные формы вольнодумства. На глазах Гончарова Россию будто погружали в какой-то неизвестный химический реактив: вдруг стало мутно в атмосфере, даже хлопья полетели.

Ладно бы одни пресловутые петербургские пожары, о которых в лето 1862 года не утихала по всей стране молва. Иван Александрович о пожарах услышал в Симбирске, куда приехал повидаться с родными; известие производит на него крайне удручающее впечатление. «Что за ужас, что за безобразие! — тревожно вопрошает он в письме к А. В. Никитенко. — Хотелось бы послушать правды, узнать, в чем дело, кто, что, как? А здесь узнать нельзя: газеты на что-то намекают и недоговаривают, изустная молва городит такие чудеса, что береги только уши». Александр Никитенко, очевидец петербургских пожаров, тогда же записывает для себя: «Бедное мое отечество! Видно, придется тебе

сильно пострадать. Темные силы становятся в тебе все отважнее, а честные люди все трусливее».

Ладно бы одни эти пожары, истинная причина которых для большинства столичных обывателей так и осталась тогда неясной. На стихийное бедствие не походило: пожары вспыхивали в разные дни в совершенно разных частях города и кварталах. Ясно было лишь, что действуют не грабители: пожары нигде не сопровождались хищениями. Но кто же все-таки?.. Испуганный размерами беды, оцепенением властей, темными слухами, Никитенко заносит в дневник: «Очевидно, существует какой-то заговор, ветви которого распространены далеко. Бедная Россия! Каким хаосом тебе угрожают!»

В правительственных кругах утверждали, что поджоги находятся в прямой связи с недавно разбросанной по городу прокламацией «Молодая Россия». Дыма, мол, без огня не бывает.

А с другой стороны, все настойчивей стали расползаться слухи, что пожары эти едва ли не санкционированы сверху, чтобы набросить тень на студенчество, резко повернуть общественное мнение вправо. И сухо зашелестело в прогорклом воздухе еще непривычное, режущее слух слово: *провокация*… Полиция, мол, сама баловалась с огнем… Но тогда выходило, что и всевозможные подметные воззвания, и привозные тиражи «Колокола», и некоторые номера «Современника», и нападки на правительство справа, со стороны катковского «Вестника» или аксамовского «Дня», — словом, все-все, хотя бы слегка припахивающее гарью, следовало бы посчитать гигантской интригой властей против невинной младости.

Пожары потушили, и молва приутихла. На Руси не в диковинку гореть всем миром. Диковиной для людей гончаровского поколения было иное. Если в прежние времена тайные общества в Российском государстве пополнялись за счет представителей высших классов, то теперь пошли по земле совсем иные трещины. Кто б мог подумать лет, к примеру, еще с десяток назад, что невиданной рассадой вольнодумцев снабдит нивы отечественного просвещения российский поп — сей извечный молитвенник и утешитель вседержавной паствы?

Но именно так и получалось. Почему-то как раз из длинноволосых семинаристов-поповичей выходили самые бойкие общественные заводилы, самые рьяные потрошители лягушек и отрицатели «бессмертной души». Попутно с ними появились и представители иных низших сословий, званий и чинов — какие-то купеческие и почтмейстерские, унтер-офицерские и мещанские сынки и дочки. Это ватажище под именем разночинства с каждым годом все гуще и гуще заполняло дешевые столичные

комнатенки, скамьи аудиторий и анатомических театров. И ладно бы занимались они с толком собственным делом медициной или математикой, химией или инженерией. Нет, они явно желали наложить отпечаток своих не очень пока понятных убеждений на жизнь общества, взятого в целом.

В притязаниях нынешней молодежи, которые ею преподносились как чуть ли не небесное откровение, никого еще до сих пор не осенявшее, Гончаров с досадой видел повторение уже бывших на его веку либо на веку его предков ошибок и заблуждений. Снова замелькали девизы, которые некогда были потоплены в крови французской революции. Снова стали входить в обиход книжки Фурье и других утопистов. Правда, в придачу к ним объявились и новые апостолы — какой-то Прудон, какие-то Бюхнер и Молешотт, — кое-что из их сочинений и ему по служебной надобности приходилось проглядывать. Но, надо сказать, кроме нескольких хитроумных и неожиданных обоснований атеизма, немного он тут нашел оригинального. Как правило, все сводилось в конце концов к тому, что человек-де сам со страху выдумал себе богов и понятия о душе, совести, грехе, и пора всю эту историческую рухлядь свалить в кучу и поджечь.

Философствование такого рода было, на его взгляд, занятием неглубоким и не стоящим того, чтобы его серьезно оспаривать. Но именно легковесные поделки и служат всегда лучшей приманкой для неустоявшихся умов. Разглагольствования какого-нибудь французского или германского профессоришки о том, что пресловутая душа на самом деле есть лишь комбинация химических элементов и животных энергий, — такие разглагольствования в силу своей примитивности скорее всего и усваиваются нестойкими юнцами. И вот уже слышны отовсюду крики о том, что старшие поколения их обманывали, кормили какими-то сказками и баснями, какими-то идеальными понятиями, за которыми в натуре ровно ничего не стоит.

С великим огорчением обнаружил однажды Иван Александрович, что прилипчивые откровения европейских учителей способны, оказывается, смутить и кое-кого из людей близкого ему круга. Дошли до него слухи, что младший сын его сестры, Александры Кирмаловой, Владимир, которого он ей в свое время посоветовал определить в Московский университет, стал рьяным почитателем вульгарных теорий, молится на «Stoff und Kraft»[8] Бюхнера. А вот учится из рук вон плохо, прочно увяз в «вечных студентах», с каждым годом все настойчивей тянет с матери деньги, а у той и без него хлопот полон рот. Но раз доказано, что совесть — выдумка, то отчего бы и ему не покуражиться?

Сколько раз уже Иван Александрович в письмах к сестре высказывал беспокойство за будущее Владимира: времена подступают такие, что легче всего сбиться с круга. Он, признаться, и за старшего отпрыска Кирмаловых, Виктора, в первые годы, как тот приехал в Петербург, сильно побаивался. Очень уж ленивым и неосновательным показался ему племянник. Чтобы хоть как-то дисциплинировать родича, Гончаров даже поручил ему однажды переписать набело несколько глав «Обрыва». Слава богу, Виктор постепенно выправлялся: поступил на службу, на должность хотя и незначительную, но позволявшую жить безбедно. Понимал, что более всего надо надеяться на себя, на свои способности, а не на материн кошелек и не на дядины редкие гонорары. Когда племянник сообщил Гончарову, что познакомился в одном столичном доме с девушкой и хотел бы предложить ей руку, тот пожелал повстречаться с невестой, отписал подробно сестре: на его взгляд, выбор безупречен.

С Виктором, кажется, и дальше все будет ладно. Но вот о Владимире вести поступали все хуже и хуже. Учебу совсем забросил. Когда дядя через одного своего московского приятеля попробовал было устроить его куда-нибудь на службу — на крайний случай хоть в купеческую контору, — обиделся. Ну как же, станет он служить этому косному византийско-азиатскому государству, над которым давно уже посмеиваются все просвещенные умы Европы. Гражданский долг он понимает вовсе не так, как понимают его квасные патриоты жандармского отечества. Он тоже гражданин, но целого мира…

А потом — нелепая женитьба, жизнь на средства супруги, дети, кормить и воспитывать которых он тоже не считал своей обязанностью. В обществе будущего воспитанием детей станут заниматься в особом фаланстере. Тогда-то, после всеобщего переустройства, и он поработает засучив рукава. Сейчас же — ни-ни! Сейчас надо расчищать почву под громадные стеклянные дворцы, а не корпеть в какой-то там конторе, провонявшей «Домостроем».

Но еще большие огорчения принесли Ивану Александровичу перемены, которые он с некоторых пор стал замечать, и все чаще с совершенно непредвиденной стороны — а именно, в образе мыслей, а затем и в поведении… Старушки. Ну ладно юнцы и юницы! Но почему Екатерина Павловна, с ее безукоризненным, будто самой природой отшлифованным вкусом, нет-нет да и выскажет что-нибудь звучащее в ее устах просто-таки несуразно?

В 1863 году, когда весь Петербург читал «Что делать?» Чернышевского, на нее будто затмение нашло. Эту, по мнению

Гончарова, нехудожественную, белыми нитками сшитую агитационную вещь она чуть не до небес превознесла.

А потом с Екатериной Павловной стали твориться и вообще невероятные вещи. Летом следующего года она, возвращаясь на пароходе по Волге с кумысного лечения, познакомилась с каким-то студентом. Вскоре этот студент стал появляться в их доме на Лиговке. Сердобольная Старушка рекомендовала его как очень способного молодого человека, которому нужно хоть немножко помочь: у него почти нет средств к существованию, родители люди бедные, да и живут за тысячи верст отсюда, в Сибири. И вот Федору Любимову — так звали студента — доверено быть домашним учителем в семье Майковых.

Малый этот на ревнивого Ивана Александровича не мог произвести приятного впечатления. Во-первых, как-то неясно было, почему люди с подобным телосложением — а юноша словно был наспех выделан топором из громадной еловой кокоры — не умеют изыскать средств к существованию. Да на одном таскании мешков этот силач смог бы сколотить за год порядочный капиталец. Не совсем ясно было и другое: почему потянуло его к наукам? Достаточно было короткого разговора с новым домашним учителем, чтобы убедиться: звезд с неба парень этот не хватает. Его самого еще нужно школить и школить, прежде чем допускать наставником к детям в хороший дом, Впрочем, все недоумения Ивана Александровича разрешились сами собой, когда выяснилось, что Любимов — сын священника и недоучившийся семинарист. Можно было пари держать: попович, следовательно, уже напичкан Молешоттом.

Поселившись в доме Майковых, Любимов на гвоздях не спал. Мало того, что он жил на всем готовом, вяло занимался с детьми и с прохладцей готовился к поступлению в университет, — этот юноша с каждым днем все упорнее стал поглядывать в сторону хозяйки. Очарованный своей идеальной Котинькой, Владимир Николаевич, кажется, ничего не замечал, но нервная и чуткая Екатерина Павловна быстро расслышала упорный тук любимовского сердца. Конечно, ей нужно было, улучив минутку, как следует отчитать новоявленного воздыхателя: но стыдно ли ему компрометировать ее, которая… и так далее. Но что-то она медлила с подобным разговором.

Не так-то просто было Ивану Александровичу решить про себя окончательно: что же все-таки явилось главным побудительным толчком для ее неслыханного шага? Видимо, и он и все вокруг долгие годы обманывались внешним благополучием семейной жизни Стариков, их редкостным душевным соответствием друг другу. Старики жили так согласно, будто за

спиной у них многие десятилетия совместного кропотливо-любовного домостроительства. Но теперь выходит, что это впечатление совсем неверно. Возможно, тут есть и вина Владимира Майкова: не слишком ли он сахарничал и раболепствовал перед нею? Екатерина Павловна могла сносить все это безбольно и легко, пока не обнаружила однажды, что существуют мужчины совсем иного склада. В них сначала что-то ошарашивает и возмущает, но затем исподволь все более начинает восхищать деспотически-грубая агрессивность, давящая неумолимая сила. А поскольку такой силы неотесанному Любимову было не занимать, то вроде бы объяснением своим Иван Александрович вполне мог удовлетвориться.

Но иногда как бы совестно становилось ему за подобное чисто физиологическое, чисто, так сказать, молешоттовское объяснение. Нет, за годы их дружбы он привык лучше думать о Старушке. Да и налицо было к тому же иное, *идейное* обоснование ее дерзкого поступка. Она словно поторопилась родиться лет эдак на десяток, потому что по духу своему была как раз *этого* поколения, к которому принадлежали нынешние курсистки. Потому так быстро и западают ей в ум летучие идеи, коими кормится вольнодумная молодежь. Не успокоившись на «Что делать?», Екатерина Павловна спешно принялась подправлять свое образование за счет расхожей научной литературы. Ее вдруг до глубины души взволновали проблемы физиологии, политэкономии, теории утопистов. Причем взволновали не просто как проблемы, по как некие планы, нуждающиеся в скорейшей реализации.

«Ужели все целиком, — пытается вразумить ее Гончаров в одном из многочисленных писем середины 60-х годов, — надо сию минуту нести в жизнь, то, что взойдет в виде зеленого всхода на почве более или менее остроумного мышления? Ведь Прудоны, Милли, Роберты Свены, Сен-Симоны, а затем Бюхнеры и Молешотты etc., etc — посеяли семена, всходов мы не видали и пока только ослеплены блеском и смелостью идей. Хорошо в мечте устроить человеческое общество из каких-то автоматов без страстей, водворить в нем отправление жизненной машинации, уравнять все социальные и нравственные неровности можно даже писать об этом статьи и книги — но делаться сейчас же Исааками остроумной и блистательной доктрины, в практической состоятельности которой не убеждены и сами творцы ее — это уже и — малодушие и малоумие. Сегодня Сеченов скажет, что только мясная пища питательна, а через пять лет другой Сеченов *докажет,* что питательное начало только в молоке, а там следующие Сеченовы опровергнут и это, между тем я навалюсь на

мясо (что я, сознаюсь Вам, немного и попробовал, да и нажил было себе беду) — и потом не знаю, какими водами отпиться от тяжести и удушья. Я взял грубый пример, но ведь и другие негрубые примеры — религиозного, умственного и нравственного питания подходят под этот».

Однако Старушка уже просто невменяема. Она и раньше-то его далеко не во всем и не всегда слушалась. А теперь и подавно. И не мудрено: у нее новый наставник, куда более авторитетный. Правда, в университет он два года подряд поступить не смог, а когда наконец поступил, то проучился там совсем недолго, всего около месяца, а затем был уволен с переводом в Медико-хирургическую академию.

Впрочем, как о Любимове, так и о Екатерине Павловне Гончаров получал теперь самые обрывочные сведения: летом 1866 года Майкова, оставив на попечение мужа троих детей, навсегда ушла из дому. Видимо, посчитала, что другого выхода у нее быть не может: Екатерина Павловна была беременна от Любимова.

Владимира Николаевича случившееся потрясло. Старшие Майковы ходили как в трауре. Ни советы многочисленных родственников, ни увещевания друзей, ни мольбы мужа не могли поколебать отступницу. А между тем ее ожидали испытания, на которые слабый организм вряд ли был рассчитан.

После рождения ребенка его под именем Константина Иванова отдают на воспитание посторонней женщине. Видимо, это событие родители подкидыша старались держать в глубочайшей тайне. Можно догадываться, какое удручающее впечатление на родственников и петербургских знакомцев Екатерины Павловны произвело бы известие о том, что она уже и четвертого ребенка «сбыла с рук».

Но чуткий Иван Александрович о многом, похоже, догадывался, а то и наперед знал, как все выйдет. Недаром в том самом письме, написанном за несколько месяцев до ухода Майковой из дому, где он предостерегает ее от увлечения новомодными учениями, он косвенно намекает и на возможность с ее стороны непоправимого действия, ведущего к распаду семьи.

«Жизнь трудна и *требует жертв,* — подчеркивает Гончаров. — А их, по новому учению, *приносить не нужно».* Нравственную жертву нынешние мудрецы начинают рассматривать как ветхий догмат, наподобие греха, совести.

Конечно, замечает Гончаров, *«от жертв* отлынивали и старые поколения, но только не возводили этого в принцип, не говорили: «у меня вот больная жена и шестеро детей, да я хочу пожить для себя, а Вы, черти, как хотите».

Жили для себя и не приносили жертв, но зато и не говорили,

что надо честно (главное, честно) и откровенно сказать, что я не могу «притворяться, у меня любовь вся вышла и я должен вас всех, ребята, бросить, да и тебя тоже, матушка, хотя я и любил Вас когда-то, но люди созданы эгоистами, я еще силен, здоров и потому — прощайте. Я Вас не обманываю, не скрываю, а *отношусь честно».*

Новейшее вольномыслие в делах любви, какими бы звучными словами ни украшалось, по сути, ничем не отличается от разврата предыдущих поколений. Какая, собственно, разница между шалостями болтливого Григоровича и бурными жорж-сандовскими связями той же самой Марко Вовчок? Да никакой! Лишь в том, пожалуй, и есть несходство, что Григорович весь на виду со своими намерениями, а адепты новейшей «свободной любви» пестро обряжают ее в оперение «идейности».

Так опять возвращался Иван Александрович к тому, что в поступке Майковой нет ничего, кроме заурядного вожделения.

Между тем Екатерина Павловна, достигнув наконец решительной свободы от обязанностей «жены-няньки», спешила полностью посвятить себя общественным делам. Стала посещать петербургские коммуны, записалась на женские курсы. Однако проучилась на них недолго. У Любимова случилась очередная неприятность в академии: завалил «препарирование».

Вскоре они вдвоем покидают Петербург и устраиваются в одной из только что созданных коммун на Северном Кавказе.

В мечтах все было более стройно, чем оказалось наяву. Коммуна составилась в основном из людей, не приученных ни к физической работе, ни к отсутствию городских удобств. Жизнь по заветам великолепной Веры Павловны — на средства от собственного труда — не очень-то клеилась. В кустарном огородном хозяйстве не было и намека на производство фурьеристского типа. А работать под пение песен и вовсе не получалось. Правда, иногда музицировали на рояле, который, как нелепый обрубок прежней жизни, торчал посреди диковатого быта коммуны.

Вскоре многие заскучали. Приелось однообразное овощное меню, одни и те же книги, разговоры, фортепианные мелодии. Свободы с непривычки оказалось так много, что некуда было себя девать. Пошли какие-то мелкие раздоры, стычки.

Крайне неприятно подействовало на Майкову известие о младшем сыне. Одна из ее новых знакомых по фаланстерии, оказывается, недавно нашла его — о чем и сообщала теперь с возмущением — в петербургских трущобах, в совершенно запущенном виде. Кое-как ей удалось приодеть ребенка, определить его на учебу…

Любимова, как к тому и клонилось, отчислили из академии. Он и раньше был грубоват в обращении с окружающими, а здесь, в коммуне, и вовсе стал распускаться. Начал пить, на увещевания Екатерины Павловны отвечал резкостями, а то и бранью.

Доходили до нее слухи из Петербурга, что и Владимир Николаевич совсем плох. Слабохарактерный от природы, он тоже не нашел ничего лучшего, как методически залечивать свои душевные раны вином.

Но ей-то характеру было не занимать! Если новая жизнь сразу не получается, это не значит, что нужно с повинной головой возвращаться к старой. Да и невозможно уже вернуться — слишком многое внутри опалено и перестало реагировать на болезненные прикосновения.

Екатерина Павловна выходит из коммуны и навсегда поселяется в окрестностях Сочи, чтобы вести скромную незаметную жизнь интеллигентки-отшельницы. Она проживет тут долго, сначала одна, а потом вдвоем с младшим сыном. К удивлению всех, кто знал ее как существо болезненно-хрупкое, Майкова почти на сорок лет переживет своего оставленного мужа. Она увидит события нового века, дойдут до нее вести и о революции. И до конца дней своих Екатерина Павловна пребудет в глубокой уверенности, что лишь 60-е годы возродили ее к истинному существованию. И что, сколько бы потом темная молва ни преследовала ее назойливой тенью, она была до конца права и честна — перед собой и перед всеми.

В книге «Создание двух романов», посвященной творческой истории «Обломова» и «Обрыва», современная советская исследовательница О. М. Чемена на основании большого фактического материала доказывает, что личность Екатерины Павловны Майковой послужила писателю прототипом при создании образов Ольги Ильинской, а позднее и Веры.

Вопрос о прототипах гончаровских героев и героинь, как уже отчасти указывалось, достаточно запутан. И но только потому, что в мемуарной «гончаровиане» накопилось немало кандидатур, претендующих на возможность их отождествления с Ольгой, Верой, Марфинькой, Адуевыми, Обломовым, Райским и другими героинями и героями трех романов писателя. Дело еще и в том, что сам он не раз высказывался против попыток подобного отождествления, подчеркивая, что созданные им фигуры — типы собирательные.

О. М. Чемена, предприняв попытку идентификации Майковой с двумя самыми выдающимися женскими образами гончаровской прозы, добилась, однако, почти безупречных результатов. Пусть

далеко пе все ее доказательства равно убедительны (особенно относительно Ольги Ильинской), но Екатерина Павловна — и это в книге выявлено — действительно была в жизни и творчестве Гончарова событием, в высшей степени впечатляющим.

От их когда-то немалой переписки осталось всего пять писем Гончарова к Майковой (одно из них адресовано обоим супругам). Видимо, самим писателем, как и в случае с большинством его других корреспондентов, уничтожены письма Майковой к нему.

Пропала (но не по его вине) и так называемая «ниццкая переписка» 1863–1864 годов, состоявшая из более чем десяти писем Гончарова к находившейся на лечении в Ницце Екатерине Павловне.

В количественно громадном эпистолярном наследии писателя это, конечно, крупица. Но крупица, которая, судя по всему, имела особую цену. Так можно заключить из того хотя бы, что двумя годами позже Иван Александрович, как бы извиняясь перед своей корреспонденткой, признавал: «ниццкие письма» могли сильно взволновать и огорчить ее. Из этого признания следует, что письма пришлись на время наиболее жарких идейных споров между Гончаровым и Майковой. И что теперь он особенно упорно и настойчиво боролся за «свою» Старушку.

К счастью, следы этой борьбы не пропали навсегда вместе с «ниццкой перепиской». Личная драма семьи молодых Майковых так сильно подействовала на писателя, что он предпринимает коренную ломку программы своего «Обрыва». Гончарову вдруг становится ясно, каким именно содержанием обязан он заполнить аморфную фигуру «отщепенца». Никакой Сибири! Никакого намека на героизм, жертвенность! Фальшивый кумир должен быть низвергнут с пьедестала!

Итак, на сцену выходит новый Марк Волохов — нигилист и похититель яблок из чужих садов, апологет «свободной любви» и мастер брать в долг без возврата. Пусть он покажет все семинаристские замашки своего развинченного поколения. Пусть в чужие дома забирается через окна. Пусть вырывает целые страницы из старинных собраний сочинений на закрутку табака.

Нет, автор и здесь не поступится своим всегдашним принципом sine ira (без гнева). В его Марке Волохове проявятся не только мрачно-волчьи черты. Видимо, ость у этих лиц и какое-то своеобразное обаяние, если даже чистые, безгрешные существа способны беззаветно увлечься ими.

Так и Вера. Пусть ей, воспитанной в духе традиционной религиозности, представляются кощунством рассуждения Марка Волохова о мнимой святости семейных уз. Но при всем том есть для нее и какая-то магическая привлекательность в воззрениях

необычного молодого человека. В ней увядает способность на великий подвиг любви. И вот Вера ввергается в самую настоящую духовную катастрофу: смело, даже отчаянно идя навстречу своему чувству, она в то же время осознает его как наваждение, отказ от всего святого. В конце концов спасет ее не безвольно-ревнивый свидетель «грехопадения») Райский. Веру спасет ее бабушка — носительница вековых нравственных заветов, способная не только строго судить, но и от души миловать. Лишь ей удастся понять и принять, и, наконец, вывести «грешницу» из внутренней смуты. В финале романа образ бабушки вырастает в своего рода символ старой, но не стареющей сердцем России…

В ноябрьском номере «Вестника Европы» за 1868 год появилось объявление о предстоящем печатании в журнале романа Гончарова «Обрыв». А вскоре Иван Александрович получил записку с волнующе знакомым почерком. Неужели это она, Старушка, вспомнила о нем? Судя по конверту, она здесь, в Петербурге. Бросила насовсем свою фаланстеру? Или приехала навестить детей? В записке Екатерина Павловна дружески сочувствует его трудам, предсказывает успех так давно ожидаемому всеми его знакомыми роману, благодарит за то, что он «остался тверд и не искал популярности в литературе…».

Сколько воспоминаний всколыхнула в нем эта записка! Он и не ожидал, что когда-нибудь их отношения возобновятся — хоть и в такой форме. Хотя, впрочем, почему только в такой? На ее письме нет обратного адреса. У кого она могла остановиться? Иван Александрович рассчитал, что скорее всего в доме их общей знакомой Бутурлиной. В тот же день он побывал у Бутурлиной. Но о Екатерине Павловне там ничего не слыхали. Ответное письмо он решает передать ей через Старика.

«Я знал, что Вы скажете мне когда-нибудь то, что сказали теперь, то есть, что я прав, что остался при своих убеждениях и не поддался временному движению в литературе. В пылу охватившей всех какой-то суматохи Вы могли счесть меня отсталым, отупевшим, но я был покоен, предвидя, что и Вы и некоторые другие замените со временем эти эпитеты другими. Вашему уму, часто уступающему воображению и, следовательно, поминутно увлекающемуся, свойственно, однако, сознание, а всей Вашей натуре — чувство правды».

Однако не преувеличивает ли он? На всякий случай Гончаров просит ее подождать с предсказаниями успеха «Обрыву». «Вот когда все кончу (если ничто не помешает) и впечатление будет благоприятное, тогда обороните еще несколько слов на мою плешивую голову.

А может быть, Вы и побраните меня за одну личность: это за *Марка».*

Когда-то, лет уже с десять назад, она помогала ему с главами, где эта личность только-только заявляла о себе. С тех пор в Марке в громадной мере усилены свойства, которые могут и ее задеть *лично*.

И что же, в предчувствии своем он не обманулся. Прочитав роман, Екатерина Павловна присылает ему еще письмо, на этот раз большое. Хотя не в столь резкой форме, как мог он ожидать, но она все же укоряет его за образ Волохова, называя его «пародией на молодых новых людей».

Пародия?! Пусть так, оправдываться он не намерен. Он изобразил Марка таким, каким увидел этот тип людей в жизни. «Произведение искусства не есть ни защитительная, ни обвинительная речь и не математическое доказательство. Оно не обвиняет, не оправдывает и не доказывает, а изображает».

Чтобы Майкова не подумала, что он так много пишет ей с целью выгородить себя как автора, он добавляет в самом конце: «Я так охотно говорю только потому, Екатерина Павловна, что я говорю с Вами. Мое влечение к Вам не есть влечение к хорошенькой женщине — Вы это знаете… Вы помните, как охотно я спешил к Вам и предпочитал Вашу комнату в Вашей семье *аристократическим будуарам* (как Вы говорите) и Вашу беседу беседе с *раздушенными барынями* — отчего же? Ведь у меня «любовных» видов на Вас не было и никакой такой благодати от Вас я не ждал? Следовательно, в женском Вашем уме и честном характере находил большие красоты, нежели на красивых лицах и плечах «раздушенных барынь».

И еще одно письмо он ей напишет по поводу «Обрыва». Тут речь уже пойдет не о Марке, а о Вере. То есть Гончаров решится поддержать разговор, еще более близкий к *личному* Екатерины Павловны. Его корреспондентка, видимо, далеко не удовлетворена и образом главной героини романа. Куда, за кем пойдет Вера? Автору ясно, что не за Марком. Потому что там — тупик. «Дальше Вере идти некуда — Вы сами сознаетесь, что *ничего еще не выработалось».*

А вот что касается ее, Екатерины Павловны, будущности, то тут он обязан, долгом своим считает, писательским и человеческим, еще раз вслух и категорически сказать, пусть эти слова и малоприятны ей:

«…какие бы противные и неприятные ни были стороны в Вашем прежнем быту, но все же… у Вас с Вашим прошедшим столь четкая живая связь — (трое детей) — что мне казалось — и натура, и ум… все должно было бы влечь обе стороны одна к

другой — и если этого нет, то остается предположить некоторую заглушенность, то ли неразвитость той стороны, которую относят к понятию о сердце. Вот какие долги и обязанности признаю я неизбежными, т. е.: те, которые налагает эта связь или… порывами сердца особенно у женщин. Вы нужны Женчуше, не за тем, чтобы *вывозить* девочку, *искать* женихов, а приготовить ее быть женщиной, а Варю — мужчиной — Вы обладаете огромными качествами и естественно, думал я, прежде всего употребить их на произведенное Вами на свет поколение»[9].

Невозможно сказать, когда именно (да и так ли уж важно), но всю эту фразу гончаровского письма Екатерина Павловна мучительно долго, кружевными линиями слабого перышка зачеркивала, зачеркивала, затемняла, пока не стало видно, как ей казалось, ни слова из обвинения, против которого не было у ней, у *матери*, оправданий.

После этого письма их переписка прекратилась навсегда.

НА ПОДСТУПАХ К «ОБРЫВУ»

В биографическом повествовании, если говорить о нем как об особом жанре, наиболее специфичным, пожалуй, носителем жанрового своеобразия является фактор времени. Нужды биографии то и дело заставляют отрываться от медленно становящейся линии судьбы — то забегать на несколько или на много лет вперед, то отступать на несколько или на много лет назад. Биографическое время снует, как челпок в ткацком станке, сопрягая далеко отстоящие, но внутренне близкие события и состояния. Такая пульсация времени тем заметнее, чем длительнее жизнь героя биографии, чем богаче эта жизнь внешними, а особенно внутренними событиями. Хронологические скачки вступают в соответствие с самосознанием героя, ибо самосознание тоже сплошь да рядом «живет» в иных временах, порою резко не совпадающих с тою сиюминутной данностью, в которой находится человек. Он то погружается в воспоминания, то забредает фантазией далеко вперед.

Уже дважды в этой книге мы приближались к рубежу, когда Гончаров завершил наконец работу над «Обрывом». А из названия новой главы явствует, что нужно опять отойти на некоторое расстояние от неподатливого рубежа.

Но так ведь бывало и у автора «Обрыва». В мыслях, в сокровенных чаяниях, в удачливых творческих снах он, может быть, уже видел роман готовым, завершенным, а себя — счастливо свободным от многолетнего гнета. Но всякий раз, возвращаясь к действительности, приходилось остужать разогнавшееся воображение: книги еще нет.

Свой последний роман писатель поистине выстрадал. Мало того, что ему неимоверно трудно оказалось *взять*ся за осуществление своей «программы». Еще труднее оказалось удержать взятое в руках. За последние, самые напряженные восемь лет работы над «Обрывом» Гончаров несколько раз был близок к тому, чтобы вообще насовсем отказаться от начатого. Были месяцы, когда он дорабатывался до явного психического истощения. Были отдельные минуты, когда он, по-видимому, впадал в галлюцинаторные состояния, и они потрясали его организм примерно так же, как припадки эпилепсии психику Достоевского. Было, наконец, состояние такой опустошенности и оставленности, что его соблазняла мысль о самоубийстве.

Еще в дореволюционной биографической литературе, посвященной Гончарову, начал складываться канон, исходя из которого этого писателя принято было изображать едва ли не

самым «благополучным» из русских классиков XIX века. В его облике на первое место выставлялись черты невозмутимости и горацианской уравновешенности. (Ю. Айхенвальд в «Силуэтах русских писателей» эффектно изрек: «Гораций с Поволжья…») Говорили о тихой мечтательности, о неизменном внешнем и внутреннем спокойствии Гончарова, граничащем едва ли не с равнодушием. От такого канона веет чем-то прохладно-мраморным, стилизованным под расхожую «антику» буржуазных салонов. В писателе хотели видеть законченного джентльмена, воспитавшего в себе умение не волноваться ни по какому поводу.

Между тем «благополучного» Гончарова никогда не существовало, и тем более не могло его существовать в 60-е годы, на подступах к «Обрыву». Против мифа о тихом, уравновешенном Гончарове вопиет почти каждая страница его писем этих лет, касающихся работы над романом.

Ничто не дается человеку даром — это порядком уже примелькавшаяся аксиома в истории написания «Обрыва» обнаруживает свой изначально суровый смысл. Роман буквально поглотил своего автора, как библейский кит поглотил пророка Иону. «Обрыв» выпил из писателя по капле почти все творческие соки. После этого романа что-то оборвалось внутри Гончарова. Причем он как будто заранее догадывался, что так и будет. И все-таки пошел навстречу уготованному, имея множество возможностей уклониться.

Очень часто писательство начинается с веселой игры, с завлекательного быта, с патоки, которой услужливые зазывалы усердно обмазывают фасад литературы. Нельзя сказать, чтоб именно так начиналось у Гончарова. Его первому роману предшествовали годы упорного литературного ученичества. Со временем у него выработалась сноровка человека, который по писательской борозде ступает тяжелой поступью пахаря. Но полный вес бремени художества ему суждено было ощутить позже, когда замаячил впереди «Обрыв». Тем, кто хоть краем глаза хочет увидеть, что такое кровавый пот писательства, нужно бы знать несколько раскрытых в своих подробностях примеров. Пример Льва Толстого, десятки раз перемарывающего одни и те же заклятые страницы. Пример Достоевского, для которого писание каждого нового романа уподоблялось работе с каторжным кайлом. И пример Гончарова, так долго, так мучительно медленно идущего к своему «Обрыву».

«Не могу, устал!..» «Не выплыть мне, а разве только *сплыть* полегче!..» «Тяжесть, скука, уныние и отвращение к труду, к людям, к самому себе и более всего к жизни!..» «Ум, воображение, память — все спряталось и молчит, все онемело…» «Зачем я

поехал за границу?..» «Пропащее дело! И не такие мыльные пузыри лопаются, как я…» «Вот три дни, как я ничего не пишу, садился всякий раз с утра и ничего не выходило…» «Я сделал большую ошибку, что поселился около моря — оно очень шумит, а мне нужна тишина…» «Вчера еще я коверкал какую-то уродливую сцену и возился с характером, который не покоряется, но теперь это все надо оставить…»

И так из письма в письмо: бесконечные жалобы, стоны и мольбы, признания в беспомощности, самообвинения и самооправдания. Не переписка, а лазарет какой-то. Сестры Никитенко, Екатерина и Софья, к которым летом 1860 года Гончаров с болезненной частотой шлет свои письма из Мариенбада, а потом из Парижа и Булони, в этом нешуточном лазарете — сторона сочувствующая, поддерживающая, утешающая; они и вправду как бы сестры милосердия при своем разнемогшемся старшем друге. Особенно достается Софье. К ней обращена львиная доля сетований писателя. Она моложе своей сестры на три года. Она вообще совсем еще молода (двадцать лет всего-то), а он буквально исповедуется ей и, как мальчик, оправдывается в ответ на ее укоры. Видно, так ей написано на роду — быть духовной нянькой этого беззащитного, а часто и капризного, но все-таки бесконечно ей дорогого Ивана Александровича.

Евгения Петровна Майкова, Юнечка Гусятникова (Ефремова), Екатерина Майкова… В ряду женщин, которые в большей или меньшей степени — словом ли одобрения, советами, понуканиями, возней ли с черновиками — в разные годы помогали Гончарову в его писательских и житейских затруднениях, Софья Никитенко по времени последняя, а по роли своей, может быть, первая.

С годами эта некрасивая, несколько замкнутая, повышенно требовательная к себе и к другим девушка станет для него самым духовно близким существом; в отношении к стареющему писателю будут прибавляться у нее все новые и новые заботы; он же будет благодарно именовать ее своею «Мудростью Александровной».

Сейчас, в 1860-м, их дружба только завязывается, только проверяется: справится ли она с потоком его жалоб, воздыханий, а иногда и слез? Не прискучит ли девушке (у которой и собственная-то жизнь не очень весело складывается) этот постоянно унылый тон его писем, упорная его сосредоточенность на личных литературных невзгодах? Жаловаться кто не умеет? Но как мало умеющих пожалеть! Не потому ли они у всех на виду! Они как бы сами напрашиваются на то, чтобы к ним обращались

люди со своим слезным, наболевшим… Говорят, жалеть другого — занятие избыточное, жалость, мол, унижает. Но гордые и не жалуются, не унижаются. Если кто и жалуется, так люди, которым действительно уже не до гордости. Которым совсем тяжело. И тогда нужно принять на себя хоть долю их тяжести. Тогда уж не уберечься: жало чужой боли обязательно вопьется и в твое сердце. Так, может быть, жалость — это и есть совершенная любовь? Недаром в русских деревнях не услышишь: мой любимый, а говорят: мой жалостный… А Софья — мать любви, надежды и веры. Вот и ей, Софье Никитенко, так написано на роду: жалеть Ивана Александровича, надеяться, что одолеет он душевные хвори, верить, что нынче летом довершит наконец третий свой роман.

Ничего, что в прошлом году совсем ему в Мариенбаде не писалось. А теперь — сам увидит! — все будет иначе, как в то чудесное «обломовское» лето. Ведь теперь он свободен от цензорских своих уз (полгода назад удовлетворена его просьба об увольнении со службы), свободен и от забот о хлебе насущном: гонорары за публикации последних лет были, как никогда прежде, обильными; вслед за журнальным «Обломовым» вышло отдельное издание романа, а тут еще подоспели вторые издания «Фрегата» и «Обыкновенной истории». Словом, сейчас только писать и писать.

И вот в самое утро приезда в Мариенбад его будто окатило с головы до ног живою водой, и, лихорадочно возбужденный, он спешит сообщить об этом Софье Александровне: «никогда я не чувствовал себя так здоровым — и вообще вчерашнее утро принадлежит к лучшим утрам моей жизни. Я чувствовал бодрость, молодость, свежесть, был в таком необыкновенном настроении, чувствовал такой прилив производительной силы, такую страсть выразиться, какого не чувствовал с 57 года. Разумеется, это не пропало даром для будущего (если только будет) романа: он весь развернулся передо мной часа на два готовый и я увидал так много такого, чего мне и не грезилось никогда».

Вот и славно! Дай-то бог, чтобы во всякое утро брался он за дело с подобным настроением…

Но сколько раз она уже замечала про себя, что доверять настроениям Ивана Александровича нельзя. К концу письма от его радостного самочувствия не остается и следа: то ли свирепая ночная гроза до предела раздражила нервы, то ли оттого, что не смог сразу подыскать приличное жилье, но за тетради он, оказывается, еще не принимался. «Кажется, вчерашнее утро было только луч единый, за которым опять настали потемки. Не

казните, Софья Александровна, не лень, нет, а ожесточение и холод ко всему делают и самые цели, к которым надо стремиться, бесцветными».

Первое его мариенбадское письмо — как бы увертюра к переписке этого лета: тут уже присутствуют в концентрированном виде все ее темы, все настроения писателя, а главное, тут зафиксирован сбивчивый, тревожный ритм смены его состояний — от повышенной работоспособности до упадка сил, угнетенности, тоски.

Софья Александровна «не казнила». Но в своих ответах была выдержанно строга, наставительна, иногда даже аскетически сурова. Лень не лень, а все-таки Иван Александрович пока недостаточно собран, чересчур чутко реагирует на непогоду, на разные мелкие неурядицы. Кстати, соблюдает ли он диету? Не увлекается ли пивом и шампанским, как недавно в Дрездене?

Пусть не забывает, что она с нетерпением ждет от пего работу: ведь условились, что осенью она примется набело переписывать роман. Главное же, о чем ему необходимо теперь помнить, — это о том, что писание книги — его великий долг перед читателями, в том числе и будущими…

Ох уж этот долг! — воздыхает Иван Александрович. «Вы вся — религия, но какая религия, чему поклоняетесь — я не знаю. Богу ли живому: но в той религии — не одно созерцание, там есть страстность чувства, а как скоро есть страстность, есть и борьба с искушениями: нет, у Вас идеал — долг — и Вы поклоняетесь долгу».

Как бы в порядке отчета он сообщает: за полмесяца написал 15 листов, по шести часов в день сидит за столом. Скорость работы иногда даже приближается ко временам «мариенбадского чуда». Но такого полного, через край плещущего чувства вдохновенности и удачи, как тогда, нынче нет и в помине. Да он и боится теперь радоваться приливам вдохновения и здоровья, потому что в любую минуту может найти на голову какой-то сумрак, и ясные, воздушные перспективы романа, уже было светившиеся впереди, подергиваются гнусной наволочью.

Долг, служение искусству и человечеству?! В такие вот минуты и часы ему не видится совершенно никакого положительного смысла в этих понятиях. Жизнь человечества удручающе громадна и непостижима в своих путях. Надеяться на то, что художник способен наложить на нее заметный отпечаток, что-то в ней существенно упорядочить, очистить, — какая наивность, какая гордыня!.. Людских страданий не отвратить и не исцелить, они так и будут из века в век накатываться своим чередом. «Я смеюсь, когда воображаю, что я делаю дело,

«исполняю долг», потому что пишу романы, которые другими читаются, ставятся на полку и забываются, или много-много, что не забудут лет десяток-другой, а потом все-таки забудут».

…Но проходят над Мариенбадом худые, дырявые тучи, и он снова как ни в чем не бывало бодро принимается за работу. Где давешние мрачные рассуждения о «долге»? Их и след простыл. Может быть, в этом все же не только беда, но одновременно и счастье художника, что даны ему природой такие легко возбудимые и так легко перестраиваемые с тоскливого на веселый лад нервы?

И ему уже стыдно, что накануне так досаждал Софье Александровне мелочной своей подноготной. Это он обязан бы ее, молоденькую, учить уму-разуму, подавать ей толковые советы, помочь ей обрести уверенность в себе, бесстрашие перед вереницей испытаний, которых чем дальше, тем больше.

Но где там! День, другой — и он опять сорвался в хандру, в отчаяние, будто запил… Мужа пожалеет жена, в теплой тьме ночной погладит отягченную невезением голову. Любимого своего пожалеет невеста, поцелуем высушит закипевшие под ресницами слезы. Ребенка пожалеет мать, грешника — пастырь. А кто пожалеет его, скитальца по холодным европейским отелям?

Кое-как, кое-как ползет романище, взбухает бумажно… «Толщина моя уходит в тетради». Но с каждым новым листом, с каждою главой новой сколько проблем! Все куски глядятся разрозненно, сцеплений между ними почти никаких, герои тянут всяк в свою сторону. Хаос страшенный! Где оно, событие, которое заставит их сгрудиться, заговорить, заспорить разом?

Но он даже не позволяет себе думать сейчас о таких проблемах. Ладно уж: он докончит все насыро, хоть бы этак-то писалось! — а там, на другой год — ибо теперь ни за что не управиться — еще раз перепишет, заботясь в первую очередь о сшивании расползающихся швов, об увязывании узлов, налаживании скреп.

Иногда глянет на себя как бы со стороны: господи, да кто же приневоливает, кто заставляет вымучивать страницу за страницей? Если сам он так редко радуется, сочиняя, то неоткуда будет и читателю почерпнуть радости. Может, Все-таки бросить? Попроситься снова на службу — вот там-то истинно «долг», там-то прямое и очевидное «служение обществу».

Но он тянет а тянет саднящую лямку.

«Здоровью своему я, конечно, врежу тем, что много пишу, но я умею иногда и не щадить себя». Но ради кого, спрашивается, ради чего «не щадить»? Об этом лучше и не думать… Может быть, в итоге лишь ради нее, Софьи Александровны, которая так на

него надеется, так с ним возится.

Лекари, как всегда, велят ему закончить сезон процедурой морских купаний в Булони. По дороге сделал остановку в Париже, но больше недели тут не высидел. Эта роскошь, эта беспечная толкотня, эта головокружительная близость и легкодоступность утонченных удовольствий ему не по возрасту, не по настроению. Его раздражает галдеж туристов всех стран и народов, стандартные восклицания на каждом углу, перед каждой витриной: «О, этот Париж, о прекрасная Франция! Как это красиво, Париж! Ах, какая прелесть эти Елисейские поля!.. О, эти парижские красавицы, о, как тут вкусно едят… А магазины, архитектура! О, о!..»

«А знаете ли, как мне опротивело все чужое: я с какой-то враждой смотрю на иностранцев и их нравы, обычаи. Французы особенно претят мне своими претензиями, то наглостью без конца, то приторной сладостью».

Он мельком видел Наполеона III — кумира французской буржуазии. Париж методично, как и три лета назад, ломал старые романтические кварталы.

Эту ломку и спешную новую застройку он еще тогда, три лета назад, воспринял как мрачное знамение надвигающейся всеевропейской болезни. «На нашей памяти сколько старых домов исчезло в Морской, и на их место воздвиглись ряды новых, высоких, как горы, прямых, однообразных чудовищ, заслоняющих небо и солнце. Это не мы выдумали эти дома: они в Лондоне и здесь сжили со свету старые стены и дома и как будто лагерем заставили все улицы, едва оставив место церквам. За Сеной я видел целые кварталы, обращенные в груды развалин: это все старое, на их месте начинают вырастать такие же дома, как в Морской. Во Франкфурте, в Дрездене, даже в Нюренберге, все то же делается, и вскоре вся Европа сделается одним Парижем или Лондоном, и на городах надо будет написать, как на домах, нумера и стереть имена».

Он видит, как обезличивается повсюду жизнь, как мертвенно-скучно шествие промышленной эпохи, как глубоко погрязает Европа в меркантильности, в финансовых интригах, в безвкусной роскоши буржуазных гостиных, в зловонии дешевых многоэтажных кварталов[10]. Эта чуждая, серая, враждебная ему действительность движется по какой-то своей уклонной дороге. А куда? — он не может, да, откровенно говоря, и не хочет уже разглядывать. Подумать только, всего десять лет прошло со времен плавания на «Палладе», а ему уже совершенно неинтересно разглядывать. Такой действительности оп как писатель не нужен, да она и не оглянется на него никогда. О

великолепный Париж! О-ля-ля, как тут вкусно кормят!..

Плохо работалось ему и в Булони. Самодовольная, чувственно грассирующая толпа преследует везде — за обеденным столом, на улице, на морском берегу. Скорей бы домой… Но, впрочем, что дома, в Петербурге, не та же ли самая картина?.. Давно уже пора *домой*, в Симбирск, съездить.

Но в Симбирск он и на следующее лето не собрался. Суеверен ли стал с годами, привычка ли брала свое, только опять очутился в Мариенбаде. И что же? Не только никакого «чуда», но даже и прошлогоднего «борзописания» не получилось! Кажется, чего недостает? Те же прогулочные маршруты, тот же химический состав воды и грязей, тот же лиственный омут за окном отеля. А роман — ни с места!

И еще бесплодная, тягостная зима. И еще лето. Тенерь-то уж твердо настроился он ехать домой, на Волгу. Но каким, однако, грустным вышло это позднее — догадывался ли, что последнее? — свидание с родиной! Начать с того, что *дома* теперь у него и у его родных в Симбирске не было. То есть дом гончаровский стоял кряжисто и упористо на своем привычном, можно сказать, первозданном месте, в дворянской части города, на Большой Саратовской, и никто не собирался его сносить (силенок бы, пожалуй, не хватило!), только хозяева теперь у него иные. Чужие занавеси на окнах, другие цветы. Даже проходить мимо было неприятно, будто совершать утайкой что-то запретное.

У брата на новой его квартире жить тесно, шумно, к тому же с нервной его супругой Иван Александрович не сошелся, да и Николай, с годами обрюзгший, но по-прежнему многоречивый преподаватель гимназии, утомлял своим неуемным желанием сознакомить его со всеми местными ценителями изящной словесности.

Иван Александрович поселился на квартире у младшей сестры Анны, в замужестве Музалевской. Вызвал из деревни сестру Александру со всеми чадами да попросил, чтобы и старую Аннушку привезла с собой. Слепенькая няня стала для пего самой большой отрадой в эти недели. Своим бессрочным существованием она как бы оправдывала и освящала недвижность, вековую остановленность симбирского житья-бытья.

Не странно ли, что хотя сам он об этой недвижности иногда думал и писал с улыбкой снисхождения либо грусти, но когда другие вокруг начинали по его следам посмеиваться, а то и громко хохотать над беззащитной в своей стародавности провинциальной тишью и гладью, ему делалось обидно. Откуда у них это право судить о чужом? Пускай не трогают того, что им

недорого, неблизко! Разве можно, к примеру, судить Андреюшку блаженного за его богатырскую убогость, а Аннушку за наивность ее сказок? Стоит только вжиться, вслушаться в любое из ее сказаний, и оно окажется богаче смыслом, чем какой-нибудь толстый современный роман… Так, может быть, это справедливо, что Художник мертв, а Аннушка до сих пор жива? Россия просуществует без одного, двух, даже десятка прекрасных романов, а вот без Аннушки ей беда.

От такой думы и на душе покойней. И опять он шалит с детьми, уходит с ними в поля, на Волгу, добредает один до овражистой Киндяковской рощи, за которой открывается на взгорке усадьба старая и деревня напротив, крутой береговой срез и внизу — та самая деревянная беседка, которая уже столько лет не дает ему покоя, ни в Петербурге, ни в Мариенбаде…

Почему все же так бешено несется время — мимо Аннушки, мимо берега этого величавого, мимо него, Гончарова, в обгон полувекового его возраста?.. Нет, видно, не будет пи беседки, ни бабушки, ни Райского с Волоховым! «Уж я теперь окончательно решил, — это он с Волги Александру Васильевичу Никитенко, — что для меня опять настает пора тяжелого, служебного труда, если только с Вашею ли или иною помощью найду случай пристроиться как-нибудь».

И под конец, почти уже на выкрике: «Пиши» — твердят, когда нельзя писать, когда на носу бури и пожары, от которых искусство робко прячется, когда надо писать грязью или вовсе не писать; пиши, твердят, когда все опротивело, на душе стоят слезы, когда чувствуешь, что пережил годы писанья, как пережил годы страстей и завял. Нельзя писать и не стану, разве только придется писать доклад или записку».

И как бы в отместку самому себе, с отчаянья, бросается он вновь в бесконечный коридор государственной службы… Осенью в Петербурге его принял министр внутренних дел Валуев — один из самых маститых вождей и вершителей пореформенной политики.

Валуев был женат на дочери князя Петра Андреевича Вяземского (под началом князя Гончаров совершал первые шаги на цензурном поприще). Когда-то в доме у Вяземских Валуев, говорят, часто попадался на глаза Пушкину, и автор «Капитанской дочки» якобы списал своего Гринева с симпатичного, открытого и речистого юноши. Теперь Валуев был на вид не столь уж симпатичен, но открытость в общении и задатки оратора довел в себе до уровня высокого искусства. В политических кругах его считали безусловно «левым», но, ревниво поддерживая эту репутацию, умел он при случае бывать

всяким. Федор Достоевский, передавали, скаламбурил по его поводу: не Валуев — Виляев.

Речь между Гончаровым и министром зашла о редактировании правительственной газеты «Северная почта». Валуев надеялся, что фамилия известного писателя, к тому же недавно избранного членом-корреспондентом Российской Академии наук по отделению языка и словесности, прибавит органу министерства многих новых подписчиков. Ему хотелось иметь редактора, что называется, «с эстетикой».

Так автор «Обломова» почти нежданно-негаданно для себя оказался в числе привилегированных журналистов. Поступок, явно отдающий авантюрой, даже если учитывать чрезвычайность обстоятельств писателя, у которого хронически «не пишется».

Через месяц после зачисления на должность редактора Гончаров подает министру докладную записку «О способах издания «Северной почты». Тон записки сугубо деловой, как бы мы теперь сказали, конструктивный. Какова бы ни была личная подоплека его поступления на службу, новый редактор вовсе не намерен быть, судя по этому тону, пассивным орудием чужой воли. Уже потому хотя бы, что собирается, в частности, «удовлетворить собственному желанию — ознакомиться ближе, из верных официальных источников, с внутреннею жизнью России».

Как сделать, чтобы эти источники были достаточно надежными? Необходим, по его убеждению, целый ряд мер, касающихся ведения газетного дела. В приснопамятные времена Булгарина и Греча в печати то и дело допускалась лесть в адрес правительства, похвалы его «мудрости», «правосудию»… «Излишек ревности писателей простирался до фабрикации похвал, которые приписывались иностранцам или будто извлекались из присланных по почте писем и т. п. Все знали и смеялись над этим».

Не приводила к хорошим последствиям и политика умалчивания событий, которые часто совершались у всех на глазах, или же намеренное искажение фактов. «Показывали не то число умерших от холеры, погибших на пожарах, скрывали настоящую цифру убытков, случаи неурожая, голода и проч.».

Упомянул Гончаров и о долго господствовавшем «цензурном страхе», и о забвении гласности и как общественной реакции на это — о недоверии к распоряжениям администрации. Он считает, что правительство должно бы несколько более доверять читающему большинству и снисходительно посвящать его «в свои виды». Вместе с тем, по его убеждению, нововведения в «Северной почте» нужно проводить «постепенно и осторожно», чтобы не дать

другим органам печати соблазнительный повод уйти в разговоре с публикой «далее возможных у нас пределов».

…Трудно сказать, возымела ли эта записка действие на министра. С первых же месяцев своего редакторства Гончаров оказался по рукам и ногам опутан неотлагательными административными заботами, о существовании которых накануне и не подозревал. Что до содержания газеты, то, как сразу выяснилось, оно будет целиком и полностью диктоваться нуждами министерства, а не его, редактора, волей и вкусом. Иван Александрович попытался для начала изменить хотя бы внешний облик газеты, улучшить литературный уровень ее материалов. Нужно было подыскивать новых способных сотрудников. Кое-что он в этом направлении быстро предпринял. Но тем временем накапливались другие срочные дела. От Валуева беспрерывно следуют материалы для публикаций, один другого неотлагательней. Редактор видится с министром почти ежеденно. А ведь и корректуры надо прочитывать ему самому. И самому править статьи сотрудников. И… словом, он завертелся и втайне даже был рад этому. «Работа поглощает меня всего, — признание из письма к старшей сестре, — а это имеет именно ту хорошую сторону, что не дает замечать времени, жизни. Равнодушие ко всему делает меня до того прилежным, что министр третьего дня выразил удивление, сказав, что он не ожидал от меня или что ожидал всего, кроме трудолюбия, считая за Обломова».

Однако зияющая пустота будущего, не заполненного любимым творчеством, не позволяла писателю надолго забыться опиумом официозной журналистики. Все чаще он ропщет — в беседах с друзьями, в письмах, наедине с самим собой. Все чаще осознает, что поступил опрометчиво, впопыхах. Не проработав в газете и года, Гончаров слагает с себя обязанности редактора. Вскоре ему предлагают другую службу, более спокойную, более привычную — цензорскую, да еще и с повышением в должности и окладе.

Пожалуй, при иных условиях он бы еще подумал как следует, прежде чем соглашаться. Но сейчас воля его парализована. Надежды на завершение «Обрыва» нет. Других литературных заработков также не предвидится, следовательно, прожить ему без службы никак нельзя. Одинокая болезненная старость уже не за горами.

Ну что ж, он, как и прежде, будет служить честно, не делая себе поблажек и послаблений, но, как и прежде, с сердцем, до краев переполненным горьким чувством жизненной неудачи… Действительный статский советник! Шутка ли, гражданский генерал! Но если он и генерал, то потерпевший поражение в

литературной баталии с целым войском враждебных обстоятельств. Генерал с застарелой раной, которая в дурную погоду ноет и кровоточит. А погоды дурной Петербургу не занимать.

Так проходят еще два года. В истории написания «Обрыва» они самые, пожалуй, глухие. Гончаров прекращает печатать отрывки из романа. Перестает читать отдельные главы в домах своих петербургских друзей и знакомых. В его письмах этих лет тема незавершенного романа обходится упорным молчанием. Все переживания по поводу горемычной книги запрятаны глубоко внутрь. Но, видимо, оттуда, изнутри, они все же дают о себе знать — тем хотя бы, что в характере писателя появляются новые, прежде неизвестные или малоизвестные свойства: раздражительность, резкость в суждениях, характеристиках. В общественном поведении цензора Гончарова эти свойства заявляют о себе все большей жесткостью исповедуемых им идеологических принципов. Не случайно именно с этими годами принято связывать мнение о реакционности социальных воззрений «позднего» Гончарова.

Так, его отрицательное отношение к нигилизму (об этом мы до сих пор знали лишь из переписки с Екатериной Майковой) находит теперь воплощение не только на страницах романа, но и многократно фиксируется в цензорских отзывах, предупреждениях.

В нигилизме Гончаров видит прежде всего силу абсолютного разрушения, силу слепую, самонадеянную, циничную и завистливую, существующую лишь постольку, поскольку есть что разрушать, от чего отказываться.

Кто-нибудь, пожалуй, скажет, что это у него старческое брюзжание. Но разве он один из писателей возмущен и оскорблен? А более молодые? Тот же Писемский, тот же Лесков? Про них ведь не скажешь, что они науськаны против нигилизма правительством, — люди самостоятельные. А Алексей Константинович Толстой, которому принадлежит меткое: «Нигилизм будет отрицать все на свете, но его самого никто не смей отрицать»? А Тургенев, наконец? Ведь его Базарова симпатичной личностью никак не назовешь, недаром и в печати такой шум вокруг «Отцов и детей».

Шум же потому, что нигилизм и в печати успел закрепиться, снискать себе поддержку кое-кого из редакторов. Но до чего же несерьезны, до чего же хвастливы публичные высказывания отрицателей! Дым и галдеж, будто в гимназической курилке.

Особенно раздражают Гончарова — и как цензора, и как литератора — критик Писарев и печатающий его журнал «Русское

слово». Что за безответственность в высказываниях о Пушкине, вообще о русской литературе недавних десятилетий! И какая заносчивость по прочтении всего нескольких заграничных книжек… В конце концов именно он, Гончаров, становится инициатором запрещения этого журнала, находящегося под его цензорским надзором. Вывод, сформулированный им в письме Валуеву, неумолим: «Направление журнала «Русское слово» вредно и безнравственно с самого начала его издания»[11]…

Пусть рассудит его с Писаревым сама история. Но пусть не забудут строгие судьи: он защищал Пушкина, защищал святая святых родной культуры.

Летом 1865 года, после большого перерыва — что значит верность привычкам! — Гончаров снова оказался в Мариенбаде. И снова налаживается у него переписка с Софьей Никитенко; сообщает ей о том, что начал было перебирать старые свои тетради, кое-что в них царапать «и нацарапал две-три главы»…

Неизвестно, как восприняла это сообщение его корреспондентка. Достаточно ли она была уже опытна, что-бы понять, что радоваться пока особенно нечему? Да, Иван Александрович как будто все же откопал свой заживо погребенный роман и даже потихоньку отряхает его от праха. Но надолго ли нынче хватит у него азарта? Сам он признается: «Может быть, сделаю еще шага три, а там опять оставить надо на год, на два!»

Вот когда месяц спустя он сообщил ей из Булони, что в мариенбадском своем закуте «написал добрый том», — вот тогда лишь, пожалуй, появилось у нее осязаемое основание для новой веры и новой надежды. Тут уж при наличии «целого тома» можно было ей не обращать внимания на это неизменное «нытье» Ивана Александровича (опять скука, да плохая погода, да отсутствие тишины). Так он, видать, устроен, Иван Александрович, кто без слабостей? А потом, вполне возможно, что это его «нытье» всего-навсего защитный маневр, предостережение от «сглазу»; пусть, мол, лучше они думают, что у него ничегошеньки не выходит, он же тем временем тихо, но уверенно будет продвигаться к цели.

Летом следующего года мариенбадские горы в который уж раз примагнитили к себе Гончарова. О том, что романист вновь стал увереннее глядеть вдаль, свидетельствовало то хотя бы, что начал он опять кое-кому почитывать вслух большие куски из «Обрыва». Так, в сентябре, во время пребывания в Париже, два утра подряд с неослабевающим интересом слушал Ивана Александровича его старинный приятель Василий Боткин.

Но год на год не приходится. В 1867-м он выехал за границу даже на месяц ранее обычного, еще в мае. И остановился, прибыв

в Мариенбад, все в том же суеверно облюбованном, знакомом до последней половицы, до последней царапины на штукатурке отеле «Stadt Brüssel», в котором давно уже предпочитал останавливаться. Но не ладилось у него сейчас с романом до такой угнетающей степени, что в письме Александру Васильевичу Никитенко объявил с мрачной торжественностью: «Ни здоровье, ни труд не удались, и вопрос о труде решается отрицательно навсегда. Бросаю перо».

«Навсегда»! Это сказать легко, но куда девать себя, в каком занятии, с помощью какого забвения растворить закаменелое чувство неудачи? Гончаров приезжает в Баден-Баден. Этот курорт имеет совсем иную репутацию, нежели уединенно-провинциальный Мариенбад. Баден-Баден лечит своих гостей от тоски с помощью острых, рискованных ощущений, которые способна доставить игра в рулетку. В течение тех двух недель, которые проводит здесь Гончаров, он несколько раз видится с Достоевским и Тургеневым. Федор Михайлович в это время — постоянный посетитель игорного зала, и играет он отчаянно, запойно, на износ, не забывая, однако, трезвенным взглядом художника пристально следить за своими переживаниями, за поведением партнеров, здешней публики. Пробует играть и Гончаров, с непривычки то и дело проигрывая, хотя и понемногу. В противоположность Достоевскому, который внутренне сосредоточивается для новой литературной работы, автор «Обломова» диковинными впечатлениями старается заглушить в себе неутихающую боль и надсаду литературного пораженца. Но как заглушишь, когда близкое присутствие Тургенева вновь и вновь настраивает его на мысль об оскорбительной эксплуатации последним «Обрыва»?

Кажется, никогда еще он не возвращался после летнего отпуска в Петербург таким измученным, разбитым морально и физически, как этой осенью. Снова брать в руки красный цензорский карандаш? Нет, он и так уже слишком много времени отдал делу, которое не доставляло ему ничего, кроме насмешек и хулы. Гончаров составляет последний бюрократический документ в своей жизни — прошение об освобождении от службы. Причина — расстроенное здоровье. Его просьба удовлетворена в самом конце 1867 года. Бывшему члену Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания назначается пенсия — менее чем половина суммы его последнего годового оклада. Теперь уж как будто все у него позади — и слава, и бесславье писательское, и тридцать с лишком лет медленного, скучноватого — с зевотцей полубезразличия — подъема по плоским ступеням чиновничьей лестницы. «Карьера, фортуна!» — восклицал некогда

преуспевающий герой его первого романа, Петр Адуев, а он, Гончаров, уже тогда знал про себя: «Какая тщета!»

«Какая тщета!» — думает он и сейчас, оглядываясь на пройденные ступени, которые, теряя очертания, сливаются в белесую затоптанную полосу… Ему пятьдесят пять с половиной лет. Петербург насупливается в ранних декабрьских сумерках. Теперь ему можно подолгу сумерничать в своей квартире на Моховой — нет надобности зажигать свечи настольного шандала: впервые за многие годы его широкий рабочий стол пуст от груды чужих рукописей, корректур, оттисков…

А месяцем позже, во время обеда в доме у Алексея Константиновича Толстого и супруги его Софьи Андреевны, хозяева представляют Гончарову обходительного, деликатного господина, который, оказывается, давно уже жаждет встречи и делового разговора со знаменитым романистом. Зовут его Михаил Матвеевич Стасюлевич, он из обрусевших поляков, профессорствовал в столичном университете, но в числе других либералов-протестантов публично отказался от кафедры во время гонений на студенчество в 1861 году; а теперь редактирует вновь выходящий журнал «Вестник Европы» (когда-то журнал с таким же названием издавал Карамзин).

Стасюлевич от разных лиц слышал самые лестные отзывы о последнем сочинении Ивана Александровича. Правда ли, что роман почти уже завершен? Для «Вестника Европы» было бы великой честью предоставить свои страницы произведению, которое принадлежит перу одного из крупнейших современных романистов.

Иногда и опытная, сторожкая птица попадается в силок. Существенно то обстоятельство, что разговор происходил в доме у Толстых. Уже несколько лет как между графом с графиней и Гончаровым утвердились дружеские отношения. Одним из первых он высоко оценил «Князя Серебряного», а драму «Смерть Иоанна Грозного» ставил в ряд с пушкинским «Годуновым». Двух писателей сближала схожесть литературных симпатий и антипатий. По общественным воззрениям Алексей Константинович тяготел к славянофильству, хотя и не разделял многих установок «московской партии». Он был славянофилом, так сказать, петербургского толка: резко высмеивая старомосковскую «азиатчину» и «татарщину», выставлял в качестве идеала древнейшие времена русской государственности — Русь Киевскую, когда страна находилась, по его мнению, в гораздо более тесном культурном контакте с Европой, нежели в эпоху Московской Руси. «Гнусная палка Петра Алексеевича, — оправдывал Толстой строителя северной столицы, — была

найдена не им. Он получил ее в наследство, но употреблял ее, чтобы вогнать Россию в ее *прежнюю, родную* колею». При всем том Алексей Толстой старался держаться в стороне от литературной борьбы, был подчеркнуто безразличен к тому, где и у кого печататься, и потому отдавал свои новые вещи то «Московским ведомостям» Каткова, то сориентированному на Запад журналу Стасюлевича.

Сейчас, когда во время обеда в узком кругу речь зашла о гончаровском романе, Толстые поддержали инициативу молодого редактора: действительно, о последнем произведении Ивана Александровича столько уже отовсюду слышно, что грех ему и дальше томить читательскую публику, в том числе и друзей своих.

«Заговорщики» действовали умно, тонко: пусть он посвятит в содержание романа только их троих, никого больше. Так и получилось, что спустя несколько недель здесь же, на квартире Толстых, он начал читать вслух роман, причем впервые за годы писания порешил огласить не отрывки, а все подряд, до последних готовых глав.

28 марта разволнованный Стасюлевич пишет супруге: «Чтобы никто нам не мог помешать, роман читался в спальне графини… Прочли несколько глав, но, выслушав такую вещь, нет возможности ничего больше помещать в журнале по беллетристике… Высоко прыгнет «В. Е.», если ему удастся забрать в свои руки «Марфиньку».

Чтение было продолжено через день, там же и в том же составе слушателей. Всего собирались пять раз. Наконец Гончаров объявил, что дальше ничего пока нет.

Но сгорающий от нетерпения Стасюлевич уже видел весь роман на страницах своего ежемесячника. Журнал выходит всего третий год, никто из литературных тузов и светил в нем покамест по-настоящему не сотрудничает. Если сейчас заполучить гончаровскую рукопись, событие это может стать переломным для «Вестника» — резко Подскочит число его подписчиков. Лишь бы не перешел Дорогу Некрасов, который, слыхать, предлагает отставному цензору услуги «Отечественных записок».

Напористый журналист в эти дни буквально осаждал Дом на Моховой, с разных сторон приступаясь к уклончивому, несговорчивому писателю. Наконец за обедом у тех Же Толстых Гончаров все же выдавил из себя «да». Атмосфера многоденного чтения вслух — с лестными репликами Стасюлевича, с аристократически сдержанными, но вескими похвалами Толстого, а особенно же с удивительно чуткой реакцией графини: «И. А., тут надо, чтоб *бабушка* не скинула, а надела чепец», — скажет

она, или: «Зачем эта *горошина в носу,* или *не надо табачку понюхала»,* или просто сморщится — и всем этим Поправляет целую картину, даст другой оборот мысли», — словом, атмосфера такая раз от разу будто мягким весенним светом обдавала все душевные чувствилища автора, и вот какое-то особое настроение, звонкое, радостно-тревожное, просящееся на волю, к солнцу, стало расти в нем, прибывая, будоража, учащая пульс.

Да, наконец-то, кажется, подступает для него решающий час! Или теперь, или никогда уже! Право, почему бы и не успеть ему за лето со всеми доделками? Надо только не раздумывать больше, не топтаться на месте, а немедленно паковать тетради в чемодан и… «Во мне теперь все кипит, будто в бутылке шампанского, все развивается, яснеет во мне, все легче, дальше, и я почти не выдерживаю, один, рыдаю, как ребенок, и измученной рукой спешу отмечать кое-как, в беспорядке… во мне просыпается все прежнее, что я считал умершим», — это Стасюлевичу накануне отъезда за границу.

Мариенбаду — отставка! Даже вопреки суеверной привычке. В Киссингене воды почти того же свойства. Да будет теперь «киссингенское чудо»! Нигде так свежо не пишется, как на новом месте. Да и всего-то осталось несколько глав. Вперед же, за дело!..

Из Берлина он шлет весточку «няньке» своей, Софье Александровне. Скоро, скоро будет и ей работа. Она — его «Агафья Матвеевна», то бишь Пшеницына. Он ожил, он готов теперь любить всех и вся на свете: «Во мне рядом с уродливой недоверчивостью уживается обломовская вера в добро».

Он уговорился со Стасюлевичем, что редакция журнала лишь ее единственную имеет право пригласить к сотрудничеству по приготовлению его тетрадей в печать. Но он решится обременить ее этим кропотливым трудом только при условии, что она не откажется от соответствующего гонорара. «Вы сидите там без гроша — и чванитесь (извините) перед человеком, от которого, при честности и чистоте нашей дружбы, могли бы, не краснея, принять помощь и безо всякого труда. А Вы хотите работать для меня даром: и я скажу Вам, Вы не имеете на это права. Я брат, Вы сестра мне…»

Благодаря обилию эпистолярного материала (более 30 писем к Стасюлевичу, 7 — к Софье Никитенко) последние месяцы работы Гончарова над «Обрывом» под» даются рассмотрению крупным планом, если не в масштабе каждого дня, то каждой недели.

Уже первоначальные самоощущения Ивана Александровича по прибытии в Киссинген начинают заметно поляризоваться: в

общем настроение пока держится на высокой и бодрой ноте, по дороге сюда исчеркал заметками три записные книжки, место понравилось, да и жилье тоже; вот только шумновато, с улицы целый день колесный стукот слышен, а из противоположных окон — звук фортепьянных упражнений.

О том, что нервы Гончарова напряжены сейчас до предела, свидетельствует содержание его следующих писем. Сторонние звуки буквально терзают его своей дикой какофонией. Мало того, что фортепьяно беспрерывно бренчит, тут еще и певица какая-то объявилась, «воет», «дерет горло» с утра до вечера, а какой-то мальчик безжалостно повторяет одни и те же ноты на дудке. (Вспомним: чужая, слышимая в окно музыка и Райского в «Обрыве» доводит до исступления.) «А мне необходима тишина, — стенает Иван Александрович, — чтоб чутко вслушиваться в музыку, играющую внутри меня, и поспешно класть ее на ноты. Не тут-то было!»

Достаточно нескольких таких дней подряд — под аккомпанемент фортепьяно и садистской колоратуры, — чтобы привезенная им из Петербурга энергия бездарно вышла из него, по крайней мере, ему так кажется, что вышла. Отчего же тогда по утрам, в часы наибольшей работоспособности, его то и дело одолевают приступы сонливости, голова валится на стол, на бумагу, и он, чтобы справиться с этими приливами крови, позволяет себе ненадолго прилечь на кушетку. А просыпается с чувством отчаяния. Опять упущено лучшее время. Теперь уже до обеда не распишешься. Остается разве только помарать готовые листы.

Но между тем, как бы он ни отчаивался, работа все же движется: к концу июня у него готово еще 18 листов, а к 10 июля — 21. Кажись, и хватит бы! А роман все раскатывается, каждому герою нужно высказаться предельно. А тем самым и он хочет высказаться предельно — это теперь единственная стоящая цель его убывающего существования — высказаться о своем, родимом, материнском и отеческом, волжском, русском. Потому что, как бы слабо ни прозвучало его слово, но *так* уже никто никогда не скажет вместо него, ни в какой иной земле, ни в каком еще тысячелетии… О, только бы еще немного ясного, искрящегося, как вода в стакане, сознания да тишины немного, благословенной мертвой тишины…

Со Стасюлевичем уговорились, что летом свидятся в курортном городке Швальбахе, где Гончаров отдаст ему готовую часть романа. С натугой и скрипом, но события все же кое-как укладываются в этот план: в начале июля Иван Александрович прибыл в Швальбах, встретился с Михаилом Матвеевичем и

супругой его Любовью Исаковной. Она так ласкова к писателю, Любовь Исаковна, дщерь известного на всю Россию винного откупщика Исака Утина. Михаил Матвеевич — что и говорить! — молодец не промах: имея такого тестя за спиной, можно вести в журналистике линию, достаточно независимую от официальной. Редакция «Вестника» и находится на «утинской» территории — в громадном, простирающемся на целый квартал доходном доме с пышными лепными фасадами на Конногвардейский бульвар и на Галерную улицу. Почти рядом — купол Исаакия, Адмиралтейство, Николаевский дворец, Сенат и Синод, Всадник, и перед ним Нева. Европа! Дом этот построил Утин на свои деньги, верней, не на свои, а на медные гроши крестьянской да фабричной России, которую научился он спаивать широко, с перспективой. В «доме Утина», кроме многочисленных чад и родственников откупщика, живут всё именитые люди, из близких ко двору кругов, из стародавних дворянских фамилий. С последними соседствует и знать новой формации — к примеру, банкир Гораций Гинцбург, барон гессен-дармштадтский, золотопромышленник же ленский, забайкальский, березовский, алтайский и так далее. Родитель его, Осип Гинцбург, живет постоянно в Париже, а сын пустил цепкие корни в русской столице, благо почва оказалась податливой.

Утины с Гинцбургами не только сами дружат, но и друзей стараются заводить общих. Под вывеской «Вестника Европы» в доме на Галерной завязывается кокон будущего литературно-художественно-музыкального салона либерально-космополитической ориентации, в котором меценатствующий Гораций Гинцбург норовит играть роль первой скрипки. Сюда будут приглашать адвоката Спасовича и публициста Кавелина, критика Стасова и скульптора Антокольского, композитора Антона Рубинштейна и философа Владимира Соловьева. А из писателей есть виды на Тургенева, на Салтыкова-Щедрина, на того же Гончарова — «обличителя обломовщины». Ничего, что в слышанных Стасюлевичем главах «Обрыва» автор то и дело выглядит этаким «русопетом» и «ортодоксом», главное, на первых порах — заполучить громкое имя, приманное для публики…

Надо полагать, Иван Александрович смекал, отчего так ласковы с ним Стасюлевичи.

Не успел обосноваться в Швальбахе, как новое накатило на Гончарова наваждение. На сей раз в лице некой Аграфены Николаевны С. Имя это мелькает полуанонимно на нескольких страницах его переписки, относящейся к изнурительному для романиста лету 1868 года. Кто она, Аграфена Николаевна, почему

вдруг объявилась на аллеях курортного городка?

Из нескольких реплик писателя явствует, что даму эту он знал еще по Петербургу (знали ее и Никитенки) и что она имела на Ивана Александровича какие-то «виды».

Что же, в свои пятьдесят шесть он не настолько еще черств сердцем, чтобы не поддаться, хотя ненадолго, опасным, гипнотическим внушениям женской красоты. В письме к Софье Никитенко от 12 июля Гончаров признается: «Я думал, что мне до А. Н. никакого уже дела нет да и не было, я ее и забывал уже совсем — а теперь является опять привычка видеть ее на бульваре, на известном месте под деревьями».

Но почти тут же он и спохватывается: «работа моя может пострадать и остановиться. Сегодня, например, ее почему-то на месте не было, где я привык видеть ее, — и мне вдруг стало скучно, и я написал меньше и хуже. Скверный знак!»

Видимо, эти несколько встреч, всколыхнув старые воспоминания, все же внесли какие-то перебои в отлаженный холостяцкий быт писателя, смутили его до такой степени, что он в том же письме начинает вслух примерять к себе свойства полутаинственной Аграфены Николаевны: «она жива, разнообразна, недурна и могла бы быть самой подходящей Агафьей Матвеевной для такого Обломова как я». Но, будто испугавшись соблазнительной мысли о «союзе», одергивает себя: «из нас с ней не выйдет *мы,* или если и выйдет, так не в двойственном, а в тройственном, и даже во множественном числе».

В конце концов присутствие экспансивной петербургской приятельницы в Швальбахе стало настолько сильной помехой его писательской работе, что Иван Александрович быстро-быстро упаковал свои тетрадка и отбыл в Париж. Хотя, видимо, и там, на расстоянии, швальбахская встреча некоторое время еще крепко беспокоила его. «…Жениться нельзя. Я ей никогда не поверю, как она ни гримасничай», — убеждает он Софью Никитенко (а прежде всего и себя самого) в правоте решительной ретировки: «если не напасусь осторожности, сделаю промах, немного увлекусь, то и опомнюсь опять и у порога церкви остановлюсь, не смея ругаться для шутовства над обрядом».

Или действительно дама эта интриговала одного шутовства ради, или его психика до того уже была надорвана, что кажущееся явно вытесняло реальное, подсовывало на каждом шагу фантасмагории? Уже не пригрезилась ли ему и сама она и кавалькада ее спутников и спутниц?

А впрочем, таких и в Париже хоть пруд пруди! О, как он великолепен, Париж!.. «Парижа я видеть не могу: все французы,

от министров до дворников, кажутся мне хозяевами мелочных лавок, смотрящие на все человечество как на субъект для собирания грошей…»

В Париже ему во всех отношениях делается настолько худо, что он шлет Стасюлевичу просьбу: не объявлять в печати о романе — «о печатании и думать нельзя». А знает ли Михаил Матвеевич, о чем он сейчас думает? Он вчера приценялся к… пистолету. Вот так-то! Конечно, день спустя об этом примеривании к огнестрельному оружию можно писать как бы шутя. Но как знать: через день-другой не подступит ли еще приступ предельного отчаяния? Полярные настроения сменяют друг друга в учащенном ритме. Иногда по нескольку раз в сутки его мечет то в жар творческого исступления, то в холод всеравнодушия, отвращения к своему делу, к себе, к людскому месиву парижского вавилона.

То он сообщает Стасюлевичу, что пишет уже «Лесничего», то есть главу о Тушине, а то вдруг обещает вернуть «забранный вперед гонорарий». Если все это агония, почему «Обрыв» все же написан? Если не агония, а обычная, заурядная тяжба писателя с материалом, то сколько же надо иметь здоровья, прежде всего духовного, чтобы его и к последним срокам оставался хоть малый излишек? Так не в этом ли тайна и разгадка ее, что, несмотря на изнурительную борьбу Гончарова за свой последний роман, перед нами вместе с тем проходит личность, наделенная удивительным, поистине олимпийским *здоровьем*? Этим невозмутимым спокойствием здорового организма дышат все поры «Обрыва». Автор отдал, сообщил роману все, что мог и что имел. Он поистине пожертвовал собой ради собственного детища.

БРЕМЯ ХУДОЖЕСТВА («Обрыв»)

Кажется, я взял на себя невозможную задачу изобразить внутренность, потрохи, кулисы художника и искусства.

И. Гончаров — Е. П. и В. Н. Майковым

…ползет теперь мимо ее этот «удав», по выражению Райского, еще недавно душивший ее страшными кольцами, и сверкание чешуи не ослепляет ее больше.

И. Гончаров. Обрыв

«Обрыв» — это не просто роман о художнике по фамилии Райский и окружающих его людях. В гончаровском повествовании речь идет еще об одном романе — его собирается писать и даже отчасти пишет, хотя так и не завершает, сам Борис Райский. Причем пишет он не на какую-то постороннюю тему, а о тех же лицах, о которых пишет и автор «Обрыва». Таким образом, перед нами как бы роман в квадрате. Роман, зеркально отраженный в другом романе. Подобный композиционный принцип в истории мировой литературы, насколько нам известно, впервые встречается именно у Гончарова. (В русской литературе XX века тот же принцип использован и дополнен Леонидом Леоновым в романе «Вор».)

Попробуем лишь на миг представить «Обрыв» без… Райского. Роман тут же начнет разваливаться на отдельные куски и глыбы. Прежде всего отпадет громадная «петербургская» часть, которая с остальным повествованием связана лишь сквозным присутствием нашего дилетанта. Но мало того. Немедленно даст трещины и центральный массив романа. Райский почему-то удивительно «держит» основные линии сюжета. Более того, лишь его присутствие позволяет максимально «проявиться» остальным героям. Почти каждого из них он по-своему «раздражает», вызывает на обмен мнениями, спор, противостояние, интригу. Без него бы все остальные сильно и навсегда заскучали.

Что тут за секрет? Странной сюжетодержащей функцией

Райского Гончаров напоминает об одном из главных свойств художника как личности. А именно: в идеале всякий творческий человек (в данном случае и Райский) становится в жизни других людей своеобразным скрепляющим, объединяющим началом.

Кажется, никто из современников Гончарова, русских и зарубежных писателей, и никто из его предшественников в искусстве новоевропейского романа еще не присматривался в художественном произведении так пристально и подробно, так заинтересованно и — тут же — беспристрастно к личности творческого человека. К житейскому поведению художника. К его моральному статусу.

Русская литература самим фактом существования «Обрыва» как бы объявила: пришло время художнику *познать самого себя*. Строго говоря, Гончаров не первооткрыватель этой темы. Ее тезисное выражение мы находим все у того же Пушкина — в нескольких его стихотворениях о художнике и художестве. Но наполнить плотью эти тезисы суждено было Гончарову. Пушкинский запев подхвачен романистом и развит в целую партитуру, как композитор придает симфоническую форму народной попевке.

Итак, художник — это тот, кто *связует*.

Он — как евангельское зерно, которое обречено погибнуть ради того, чтобы из него появился на свет целый колос. И не зря в истории это почти заурядное событие: имя художника напрочь забыто, но творения его существуют тысячелетиями.

Заключенная в тщедушную плоть какой-нибудь книжицы, которую проще простого разодрать, сжечь или кинуть в подвал на съедение мышам и плесени, сила эта оказывается вполне достаточной, чтобы пробудить сходные чувства любви и гнева, сострадания или восторга в тысячах и миллионах современников, разделенных пространством, предрассудками, государственными и языковыми барьерами. Она связывает не только современников, но и людей других поколений. Никогда в этом мире не имевшие и не имеющие возможности встретиться, отстоящие друг от друга на расстоянии в сотни и тысячи лет, эти люди тем не менее чудесным образом встречаются в *духе* — через сходное отношение к живому творческому преданию, заключенному в одной какой-нибудь книжице. Это ли не дивная награда художнику!

Посвятив себя подвигу скрепления распадающегося, ежедневно умирающего мира, художник воинствует за гармонию, против хаоса, за жизнь, против распада. И воинствует насмерть. Он связывает мир и сам связан с миром. И потому может сказать о себе словами поэта XX столетия:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Скреплять настоящее с прошлым и будущим, соединять в единое целое всю человеческую историю и в дух единый все человеческое сознание — для художника это, можно сказать, обычное, заурядное, каждодневное дело. Он, как жнец, связывает человечество в снопы, и в этом его труде есть что-то поистине религиозное, ибо religo — вспомним — и означает «связывать».

Но не слишком ли далеко возносит нас от грешной земли такой ход размышлений? Нет, все сказанное выше доступно, как пример, как возможность каждому художнику, в том числе и Райскому. Почему бы и ему не взять за образец для подражания одного из великих *гениев связи*? Ведь каждый художник в потенции — догадывается он об этом или нет — может свернуть горы. Райский кое о чем догадывается. Он немало размышляет о красоте, о гармонии, об идеале. И даже собирается в своем будущем романе найти конкретные воплощения для этих высоких понятий… Но тут Гончаров предлагает нам обратиться к ущербно-драматическому моменту в личности художника. Собираться-то Райский собирается, но когда-то еще соберется. А пока что в обыденной жизни он таков, что почти и совестно было бы ему зваться художником; словом, «средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

Это заметно со стороны, но это в первую очередь самоочевидно и для художника. Уже в одной из первых глав романа Райский заявляет о себе: «Я урод… я больной, ненормальный человек…» Его самого, больше чем кого бы то ни было, удручают внутренние и внешние обстоятельства жизни, которую приходится вести художнику. Еще в детские и отроческие годы при первых же попытках Райского посвятить себя поприщу свободного артиста, музыканта, живописца или писателя благоразумные люди усердно отговаривали его: художники-де и артисты — парии общества, свою свободу завоевывают они страшной ценой нравственной порчи. Это люди безвольные, непостоянные в привязанностях, неприкаянные и распущенные, без роду и племени, лентяи и сластены, притворщики и болтуны, среди них чаще всего попадаются самоубийцы и сумасшедшие… «Это те хваты, что в каких-то фантастических костюмах собираются по вечерам лежать на диванах, курят трубки, несут чепуху, читают стихи и пьют много

водки, а потом объявляют, что они артисты».

G годами Райскому самому приходится на собственном опыте убедиться в том, как много правды высказано ему благожелателями. Ладно бы уж одно несоответствие между высотой идеалов художника и его человеческими слабостями. И помимо этого, он весь будто из прорех, так что не знаешь, какую из них вперед зашивать. Бывает, например, находят на него помрачения, и он начинает работать не на сплочение мира, а на его распад, с чудовищной энергией потворствует силам зла. Бывает, возомнит себя едва ли не богом, гордым, одиноким и оскорбленным; он противостоит темной толпе, он ее презирает, но и требует, чтобы она молилась на него.

Покаянное признание художника в «Обрыве» не просто выплеск угнетенного, нуждающегося в самоочищении духа. Гончаров как бы фиксирует тревожный сигнал, исходящий от самой современной ему литературы. Пройдет несколько десятилетий, и европейское искусство будет охвачено моровым поветрием модернизма. Восторжествуют силы распада, и десятки самозванцев объявят себя богами от искусства, тоном диктаторов потребуют от толпы безусловного поклонения.

Голосом Райского Гончаров предупреждает о близости этого поветрия. И одновременно в образе своего дилетанта писатель пробует выявить классические, «вечные» свойства художника, привносящего в мир силу связи, скрепления, любви. Именно на путях создания этого сложного, противоречивого образа писатель вновь настойчиво обращается к мотивам, которые уже прозвучали в двух предыдущих романах и отчасти во «Фрегате «Паллада». Это прежде всего мотив деревенского, природного рая, существующего где-то на отшибе капиталистической цивилизации.

Начать с того, что название деревни, в которую приезжает художник с символической фамилией — Райский, — *Малиновка.* Название явно (в еще большей степени, чем Обломовка) мифоносное: в переводе на разговорно-бытовой уровень Малиновка означает место, где жизнь — малина. Словом, сладкое местечко, лакомый кус.

Раз уж речь снова зашла о топонимических реалиях, можно напомнить, что в России XVIII–XIX веков «райские» наименования для сельских мест вообще были в большом ходу. Вот лишь несколько из сохранившихся до сих пор названий такого рода: Рай-Александровка, Рай-Еленовка, Райское, Райки, Раевщина, Райновка, Рай-озеро, Райполе, Раево, Раевка, Раевское… Названий, так сказать, косвенно-райских, типа Малиновки, было, естественно, еще больше…

«Какой эдем распахнулся ему в этом уголке, откуда его увезли в детстве…» — таково впечатление юноши Райского при новом посещении Малиновки. «Подле сада, ближе к дому, лежали огороды. Там капуста, репа, морковь, петрушка, огурцы, потом громадные тыквы, а в парнике арбузы и дыни. Подсолнечники и мак, в этой массе зелени, делали яркие, бросавшиеся в глаза, пятна; около тычинок вились турецкие бобы».

Этот рай только немного пообветшал:

«Подле огромного развесистого вяза, с сгнившей скамьей, толпились вишни и яблони; там рябина; там шла куча лип, хотела было образовать аллею, да вдруг ушла в лес и братски перепуталась с ельником, березником…»

Под стать флоре и здешняя фауна:

«Около дома вились ласточки, свившие гнезда на кровле; в саду и роще водились малиновки, иволги, чижи и щеглы, а по ночам щелкали соловьи.

Двор был полон всякой домашней птицы, разношерстных собак. Утром уходили в поле и возвращались к вечеру коровы и козел с двумя подругами. Несколько лошадей стояли почти праздно в конюшнях».

Какой счастливый безгрешный сонм одушевленных и неодушевленных тварей! Кажется, человек здесь вовсе и не прикасается ни к чему: скамья догнивает сама по себе, овощи растут беспризорно, коровы и козы сами уходят в поле и возвращаются домой, лошади не знают упряжи.

И в довершение картины:

«Над цветами около дома реяли пчелы, шмели, стрекозы, трепетали на солнышке крыльями бабочки, по уголкам жались, греясь на солнышке, кошки, котята».

Как всегда, от изображаемого Гончаровым райского уголка веет чем-то наивно-детским, будто увиденным глазами ребенка. (Да разве «взрослый» взгляд заметил бы всех этих стрекоз и шмелей, кошек с котятами?)

В уже цитированном «прощальном» письме к Екатерине Павловне Майковой (Старушке) Гончаров подчеркивал: прежде всего при работе над «Обрывом» его занимал «анализ так называемого *падения*». По опыту «Обыкновенной истории» и «Обломова» читателю уже известно, что если автор вводит по ходу действия мифологический мотив «деревенского рая», то ему непременно должен воспоследовать и мотив «искушения».

В тексте «Обрыва» этот второй мотив обнаруживается следующим красноречивым образом: Марк Волохов тайком проникает в бабушкин сад и лакомится поспевшими яблоками. Увидев, что мимо проходит Вера, Волохов, сидящий на ограде,

протягивает плод девушке, к которой неравнодушен.

Странно, но современники Гончарова не обратили внимания на эту мифологему, казалось бы, предельно открытую. Курьезный факт: кто-то из первых критиков «Обрыва» даже обиделся за Волохова: зачем-де автор изобразил героя-нигилиста мелким воришкой, лазающим в чужой сад за яблоками?..

«Анализ падения», заявленный Гончаровым как одна из главных тем романа, раскрыт на материале любви-вражды, сердечной и духовной распри Волохова и Веры.

Распря завязывается вокруг вопроса: существовал ли когда-нибудь, существует ли в природе грех как таковой или за этим словом нет никакого содержания? Поскольку религиозная Вера убеждена, что всякая любовная связь мужчины и женщины, не освященная таинством брака, греховна, и поскольку Волохов, наоборот, убежден, что «грех» — лишь фантастическая выдумка приверженцев старины, спор приобретает даже некоторый богословско-философский оттенок. Аргументация Марка носит, так сказать, «естественнонаучный» характер… Птички небесные греха не знают. Звери и животные тоже над этим понятием голову напрасно не ломают. Пестики и тычинки живут 60–80 всяких покровов. Весь животный мир плодится и размножается без угрызений совести, только люди зачем-то придумали стыд и грех. Эти понятия — по Волохову — лишь «драпировка, те листья, которыми, говорят, прикрывались люди еще в раю…».

В вопросе любви для Марка главный авторитет — голубки, которые «сделают свое дело, выведут детей, а потом воротят носы в разные стороны». На этом вот голубином опыте зиждется и волоховская «теория любви на срок». Именно такую «срочную» любовь и предлагает он Вере, гордясь тем, что поступает без обмана.

Теория Волохова, какой бы легковесно-примитивной ни казалась она с первого взгляда, на самом деле не так уж проста.

Всякий разговор о родовом, семейном для Волохова — «глупость», «бабушкины убеждения». Семейно-родовые связи — страшные путы, препятствующие «свободной», «срочной» любви.

И Марк и Вера одинаково понимают, что семья — великая скрепляющая сила. Но Марку эта сила ненавистна. Пробуждающийся в Вере материнский инстинкт подсказывает ей противоположное убеждение: семья — благие узы. Брак, семья, дети — все это не менее естественно и «природно», чем стоящая у их истока страсть.

«Мысль семейная» (известные слова Л. Толстого о романе «Анна Каренина») серьезнейшим образом испытывается в любви-вражде Волохова и Веры — через столкновение двух воль и двух

мировоззрений. Испытывается сразу в двух временных измерениях: как проблема исторического «сегодня» с его новыми концепциями и теориями любви и как «вечная» история соблазна и следующего за ним «падения».

«Пойдем вместе туда, на гору, в сад», — зовет Вера своего искусителя. Совершенно ясно, что значит для нее гора, сад. Там — твердыня традиционного быта, там нерушимые заветы бабушки, там, наконец, церковь, куда Вера ходит молиться и где хотела бы венчаться со своим любимым.

Но все-таки не вверх они идут, но Волохов, как зверь добычу, увлекает Веру на дно обрыва. Верин грех — это скорее грех мысли, чем тела: стоя на страже любви древней, вечной, она поддается голосу любви «сегодняшней», «срочной».

Как на месте недавнего оползня виден срез земли со множеством слоев, так многосложно в романе переживание Вериного «греха» ею самою и ее близкими. К этим главам автором стянуты все драматургические ресурсы «Обрыва». Напомним основные события всего лишь одного дня. «Падение» приходится на канун идиллической помолвки Марфиньки с Викентьевым. Сказавшаяся больной и действительно находящаяся на грани психического потрясения, Вера отказывается участвовать в торжествах. Но как бы помимо своей воли она все же вынуждена выйти на люди. Словно что-то подталкивает ее признаться всем и каждому. Сначала Райскому, почти обезумевшему от ревности, сострадания и предчувствия «бабушкиной грозы». Потом Тушину, который именно в этот день также собрался было признаться Вере в своем к ней чувстве. Бабушка узнает о «падении» в последнюю очередь, через Райского.

Наконец, истинные размеры события автор подчеркивает с помощью двух параллельных «любовных» сценок, окрашенных в откровенно пародийные тона. На краю обрыва Райский, только что проводивший Веру на свидание с «тем», подвергается бурной атаке известной городской кокотки Полины Крицкой. В эту же ночь согрешает с приезжим лакеем Викентьевых любвеобильная дворовая баба Марина, которую затем ее супруг Савелий наказывает попеременно вожжой и поленом.

Обе эти пародийные сценки разрешаются хохотом: в одном случае Райский истерически хохочет над Крицкой; в другом — дворня смеется над бедовой Мариной и ее незадачливым мужем.

Только то, что случилось с Верой, заслуживает серьезного отношения. Бабушку нежданное известие повергает в самое настоящее безумие. В течение нескольких дней, голодная, оборванная, невменяемая, Татьяна Марковна бродит по

окрестностям Малиновки и только шепчет исступленно: «Мой грех!»

Что же за грех такой у нее? Придя наконец в себя, в ответном признании Вере бабушка поясняет: «Я думала, грех мой забыт, прощен. Я молчала и казалась праведной людям: неправда! Я была как «окрашенный гроб» среди вас, а внутри таился неомытый грех! Вот он вышел наружу — в твоем грехе!..» С точки зрения житейского здравомыслия это покаяние представляется образцом какой-то запутанной мистической риторики.

Однако в словах столбовой дворянки Татьяны Марковны Бережковой есть своя нерушимая логика. То понятие о «первородном грехе», которое высмеивает Волохов, называя его «драпировкой» первобытных людей, для нее неоспоримая реальность. Неизжитый, не выжженный из души грех переходит по наследству к другим людям. Пятна греха ложатся на невинных потомков, и они расплачиваются за согрешения родителей. Рано или поздно наступает возмездие за проступки и преступления, которые, казалось бы, навсегда преданы забвению. Тайное с неумолимостью проявляется, становится явным.

И вот после Вериного «падения» бабушка всем существом осознает, как велика и ее вина в том, что произошло с внучкой. Вина не столько в том, что «не уберегла», «недоглядела». Вина более сложная. Это ее, бабушки, личный, давнишний грех, не открытый никому, а значит, и не снятый вовремя, теперь заполз в душу Веры. И вот старуха ходит, не видя людей, не замечая троп, и шепчет: «Мой грех!»

Малиновка больше не райский сад. Пришла великая беда. Как бы в пророческом сне, бабушка смотрит и не узнает своего царства:

«Озираясь на деревню, она видела — не цветущий, благоустроенный порядок домов, а лишенный надзора и попечения ряд полусгнивших изб — притон пьяниц, нищих, бродяг и воров. Поля лежат пустые, поросшие полынью, лопухом и крапивой.

Она с ужасом отворотилась от деревни и вошла в сад, остановилась, озираясь вокруг, не узнавая домов, двора.

Сад, цветник, огороды смешались в одну сплошную кучу, спутались и поросли былием. Туда не заходит человек, только коршун, утащив живую добычу, терзает ее там на просторе.

Новый дом покривился и врос в землю; людские развалились; на развалинах ползает и жалобно мяучит одичалая кошка, да беглый колодник прячется под осевшей кровлей.

Старуха вздрогнула и оглянулась на старый дом. Он перестоял все — когда все живое с ужасом ушло из этих мест —

он стоит мрачный, облупившийся, с своими темно-бурыми кирпичными боками.

Стекол нет в окнах, сгнили рамы, и в обвалившихся покоях ходит ветер, срывая последние следы жизни…»

Так на скорбно звучащей ноте обрывается в романе мотив цветущего и нежданно осквернённого рая.

И вот здесь, когда у хозяйки Малиновки опускаются руки, когда начинает колебаться, казалось бы, навсегда отлаженная жизнь «на горе», здесь-то и заявляет о себе все лучшее, что есть в Борисе Райском. Ведь как-никак он в Малиновском мире не чужой, он — припомним — отчасти и «автор» этого мира.

Прежде всего невооруженным глазом заметно, что в кульминационных главах романа резко выступает на первый план не только наблюдательная, но и связующая, так сказать, служебно-диспетчерская роль художника. Райский постоянно присутствует при главных событиях, то и дело в качестве своеобразного связного спешит с места на место, от одной героини к другой, наблюдает и передает сведения, сочувствует и помогает и, наконец, как никогда до этого, волнуется и сопереживает.

Вот лишь краткая выборка из текста романа, касающаяся его действий после «падения» Веры:

«Райский вполголоса сказал, что ему нужно поговорить с ней…» (бабушкой. — *Ю. Л.*).

«Райский начал свой рассказ, стараясь подойти к «беде» как можно мягче и осторожней».

«…из-за угла старался видеть, что делается с бабушкой. Он не спускал глаз с ее окон и дверей».

«Райский бросился украдкой за ней, прячась за деревья».

«Райский поспешил передать ей разговор с бабушкой…»

«Райский позвал доктора…»

«…беспрестанно ходил от Веры к Татьяне Марковне, от Татьяны Марковны к Вере».

«…бросился к Татьяне Марковне, передавая ей новые муки Веры».

И так далее…

Вера после «падения» вспоминает: «А Марк уверял, в *Райский тоже* (курсив наш. — *Ю. Л.*), что за этим… «Рубиконом» начнется другая, новая, лучшая жизнь! Да, новая, но какая «лучшая»!»

Выходит, что Райский не меньший виновник Вериного «Рубикона», чем «удав» Волохов? Но почему же тогда он так искренне сострадает кузине, бабушке? Что за двойственность такая: и подстрекатель, и заступник в одном лице?

Вот здесь-то, кажется, мы в полной мере можем наконец

ощутить, насколько тяжело бремя, которое принимает на себя лицо, избравшее судьбу художника. Поскольку Райский не просто гость Малиновки, но и автор будущего романа о ее обитателях, он «знает» наперед, что ход событий неотвратим, что Малиновский эдем будет попран и яблоко надкушено. Но он не может ограничить обитателей Малиновки в свободе поступков. Ограничить их — значит остановить жизнь, мумифицировать ее, пусть в красивых, но бездушных слепках. Он болен бедами, болями и «грехами» своих будущих героев. Но он знает также, что соблазны не могут не прийти в свой черед. В конце концов ему остается лишь уповать на то, что болезни и беды их не одолеют, что человеческое сердце не разломится от боли, выдержит натиск зла…

И все это Райский? Все это его мысли и чаяния? Да, можем мы ответить, это все художник Райский, его бремя и его мысли, поскольку за ним, за невнятными контурами замышленного им романа стоят другой роман и другой художник — роман «Обрыв» писателя Ивана Гончарова.

«У меня, — писал Гончаров своему корреспонденту во время работы над последними главами «Обрыва», — *мечты, желания и молитвы* Райского кончаются, как торжественным аккордом в музыке, апофеозом женщин, потом родины России, наконец Божества и Любви… Я боюсь, боюсь этого небывалого у меня притока фантазии, боюсь, что маленькое перо мое не выдержит, не поднимется на высоту моих идеалов — и художественно-религиозных настроений…»

Если в двух предыдущих романах Гончарова (а также и во «Фрегате «Паллада») идиллическому, природно-патриархальному укладу противостояла активно-деловая действительность капиталистического мира, то в «Обрыве» такое противостояние отсутствует, хотя полярность двух бытийно-идеологических начал — «старого и «нового» — сохранена. Марка Волохова ведь никак не назовешь представителем «делового» мира. Буржуа ему, можно догадываться, тоже антипатичны. А вот на «новизну):, по крайней мере мировоззренческую он, безусловно, претендует.

Однако не только он. Далеко не сразу к Малиновским событиям подключается еще один персонаж, который также является носителем новых принципов. Причем в отличие от Волохова новизна его убеждений имеет, по замыслу автора, положительный, а не отрицательный заряд. Речь идет о Тушине.

Первое же появление этого лица в романе будто переносит нас в атмосферу сказки.

«Иван Иванович Тушин был молодец собой. Высокий,

плечистый, хорошо сложенный мужчина, лет тридцати осьми, с темными густыми волосами, с крупными чертами лица, с большими серыми глазами, простым и скромным, даже немного застенчивым взглядом и с густой темной бородой».

Тушин, похоже, и сам хорошо чувствует эту атмосферу сказки, из которой он, лесной житель, иногда выбирается на люди. И потому Вере имеет он полное основание говорить так:

«Когда у вас загремит гроза, Вера Васильевна, — спасайтесь за Волгу, в лес: там живет медведь, который вам послужит… как в сказках сказывают.

— Хорошо, буду помнить! — смеясь отвечала Вера, — и когда меня, как в сказке, будет уносить какой-нибудь колдун — я сейчас за вами!»

Снова, как и в «Обломове», в мифологическом подспудье «Обрыва» по соседству с древнекнижным, легендарным материалом обнаруживается и фольклорно-сказочный.

Лесной медведь Тушин еще сослужит свою службу. Шутя заявленный Верою сюжет о «колдуне» развернулся, как мы видели, в нешуточную драматическую историю любви к нигилисту Волохову (он же — «удав», «серый волк»).

Но в этом мифологическом подсвете, по замыслу автора (как и в случае с Волоховым), резче, выпуклей должны прозвучать остросовременные черты личности Тушина. Сказочно-добродушный лесной барин, любитель охоты, лошадей, а иногда и веселой удалой гульбы, Тушин еще и… заводчик. Были такие глухоманные уголки в России второй половины XIX века: среди необжитых будто бы лесных дебрей вдруг возникнет отдаленный дымок (усадьба Тушина так и названа *Дымки),* распахнутся лесные стены и откроется деревня не деревня, городок не городок, с пыхтящей паровой машиной, с веселой песней лесопилки. Стоит себе аккуратная и даже картинная фабричка или новенький, только с иголочки, заводик. А работают непонятно кто: какие-то рабочие и крестьяне одновременно…

У Тушина «паровой пильный завод» при нескольких тысячах десятин лесу. Этот свой лес он не только рубит и сплавляет по реке, но еще и растит, восстанавливает по последнему слову науки. В деревне все домики на подбор, ни одного под соломенной крышей. Посетив имение Тушина, Райский обнаруживает здесь мимоходом «заведения вроде банка, больницы, школы».

«Артель смотрела какой-то дружиной. Мужики походили сами на хозяев, как будто занимались своим хозяйством».

Такие уголки глядятся сколком иной, чуть ли не фантастической жизни. Райский и воспринимает эти тушинские

Дымки как попытку нового существования. Как мечту славного русского человека, уже пустившую корешки в родную почву, но больше все-таки похожую на утопию. «В этой простой русской, практической натуре, исполняющей призвание хозяина земли и леса, первого, самого дюжего работника между своими работниками, и вместе распорядителя и руководителя их судеб и благосостояния, он видел какого-то заволжского Роберта Овена».

Конечно, тушинская утопия типично русская, она равняется в первую очередь на идеал патриархально-общинного хозяйства, где хозяин не столько предприниматель западного образца, сколько «отец родной» для своей «дружины».

Автору, создавшему образ сказочного доброго молодца и одновременно толкового заводчика Ивана Тушина, нельзя отказать в наблюдательности: пореформенная Россия знала примеры частной хозяйственной инициативы, родственные тушинскому «лесному делу». Но это была все же инициатива одиночек, стремившихся противостоять нашествию международного капитализма. Так же как и опыт утопических реформаторов Запада, она была смята и отброшена в область умозрения и мечты.

ПОРТРЕТ

Такое событие может быть занесено в историю русской журналистики как единственное в своем роде: печатный орган, на страницах которого только что опубликовано произведение, принесшее ему славу и большой финансовый прибыток, помещает (с паузой всего в несколько месяцев) критическую статью, направленную против этого же произведения и его автора. Нарушение элементарных правил литературной этики — кажется, иначе и нельзя классифицировать подобное происшествие.

Тем не менее факт остается фактом: в ноябрьском номере «Вестника Европы» за 1869 год появилась статья «Литературные споры нашего времени» за подписью Е. Утина, а в ней — неодобрительный отзыв об «Обрыве».

Евгения Утина Гончаров знал лично. Родственник Стасюлевича, родной брат Любови Исаковны, молодой человек мечтал о лаврах всероссийски популярного критика, а тут как раз подворачивалась такая крупная мишень! *Что* он собирается писать о романе, Ивану Александровичу было известно заранее — сам же Утин и проговорился. В общем-то ясно было и то, *как* он может написать. В мае Гончаров сообщал Софье Никитенко, что Утин изучает его «всего, начиная с первых сочинений, и кажется — готовит к осени большой разбор, в котором конечно тайно будет присутствовать arrière-pensée[12]: «ты-де против материялизма, ты идеалист, ты держишься старых отсталых идеалов того, другого, третьего — так мы же тебя побьем и с художественной стороны, докажем, что твой роман неверно задуман и создан и т. д. Он уже высказал мне эту мысль. Но я надеюсь, что публика будет немножко за меня и что явится и другая критика где-нибудь, да наконец и сам ловкий редактор увидит, что ему не совсем ловко помещать у себя же критику, с тонко и ловко запрятанным ядом, против сочинения, которое принесло ему до 25 т. рублей».

О том, что возможность появления подобной статьи (а то и целого ряда отрицательных отзывов в прессе) беспокоила писателя, косвенно свидетельствует письмо Алексея Константиновича Толстого Стасюлевичу, относящееся к той же весне 1869 года. «Он (Гончаров. — *Ю. Л.*) предполагает против себя какой-то заговор в публике, — с легкой иронией пишет Толстой, — систематически учрежденное над ним шпионство и таинственное мщение неизвестных, но очень влиятельных лиц». Толстой в это время еще глубоко убежден в том, что его приятель Гончаров просто-напросто блажит и что для мнительности его нет

совершенно никаких объективных оснований.

События ближайших месяцев показали, что основания все-таки имелись.

Первые печатные отклики на «Обрыв» стали появляться уже по мере выхода в свет очередных номеров журнала с главами романа. Авторы (пока газетные и, как правило, анонимные или под псевдонимами) пересказывали содержание и в порядке примерки отмечали отдельные просчеты романиста, более или менее частные.

«Большая» пресса заговорила несколько позже. В июньском номере «Отечественных записок» обращала на себя внимание статья под заглавием «Уличная философия». Салтыков-Щедрин (именно он был автором этой статьи, также вышедшей анонимно) со свойственным ему полемическим темпераментом доказывал невиновность Волохова в тех грехах, которые приписывает последнему романист. Гончаров, по его мнению, бросил камень в новых людей только за то, что они *ищут,* и в целом совершил своим романом «неловкий и несвоевременный подвиг».

В июле и августе с неодобрительными отзывами выступили поочередно журналы «Русский вестник» и «Дело». Критик последнего Николай Шелгунов, как бы соревнуясь с «Отечественными записками», назвал свой разбор еще хлеще — «Талантливая бесталанность». Из этой статьи одного из самых передовых публицистов современности Гончаров мог узнать о себе, что у него, к сожалению, нет «светлого, прогрессивного ума»; что «описание природы» в художественной прозе «важно лишь в прогрессивно-историческом смысле, то есть насколько человек в борьбе с природой торжествует или падает в бессилии»; что «Тургенев давно уже возделал эту почву» (на которой ныне стоит автор «Обрыва»); что роман этот не что иное, как «скандалезная хроника какого-то медвежьего угла»; что «в «Обрыве» г. Гончаров похоронил себя: мир его праху!»; что фактом опубликования подобного сочинения бросается перчатка «всему цивилизованному человечеству, всему коллективному передовому уму всех пяти частей света»; что романист, прежде чем самолично похоронить себя, опустился в «гущу и подонки обскурантизма»; и наконец, вопрошал критик, «где же предел литературной продажности?».

В следующем номере «Дела» вдогон шелгуновской появилась еще одна отрицательная статья об «Обрыве». Месяцем позже по поводу романа вторично высказались и «Отечественные записки». Автор статьи «Старая правда» А. Скабичевский писал здесь, придерживаясь фразеологии Шелгунова. В частности, он обнаружил у Гончарова «полное непонимание им самых

элементарных законов творчества», отметил «и художественное, и умственное, и нравственное безобразие романа».

Наконец подступил и ноябрь месяц. Как-то поведет себя при сложившейся конъюнктуре «Вестник Европы»? Статья Утина выглядела предельно обтекаемой, мягкой, автор даже ни разу не назвал критикуемого писателя по имени (лишь в двух-трех местах упомянул его героев), не допустил ни единого площадного выражения. Речь шла больше о литераторах «старшего возраста», «старой школы», вообще о «людях сороковых годов». И так и сяк примерялся критик, прежде чем решился наконец вслух произнести, кого именно он имеет в виду: «изображая молодое поколение в образе Базарова или в еще более грубой фигуре Марка Волохова, писатели старшего возраста показали, что они имеют мало общего с стремлением новых людей». И все почти. Отсталость литераторов «старой школы» Утин объяснял общей отсталостью России, которая должна-де учиться у «цивилизованных народов», жить так, как живут «во всех цивилизованных обществах», и вообще, наставлял юноша, этой стране нужно повторять формулы прогресса «за другими, старшими себя в развитии». (Кто эти «другие», он так, правда, почему-то и не указал.)

«В Вашем последнем №, — писал Алексей Толстой Стасюлевичу вскоре по получении ноябрьского «Вестника», — есть статья Вашего шурина, г-на Утина, о спорах в нашей литературе. При всем моем уважении к его уму, я не могу, с моею откровенностью, не заметить, что он оказывает странную услугу новому поколению, признавая фигуру Марка его представителем в романе… Отчего люди *нового поколения* начинают кричать: пожар! как скоро выводится на сцену какой-нибудь мерзавец? Ведь это… называется на воре шапка горит!»

Видимо, Толстой в эти месяцы вообще внимательно следит за всеми выступлениями в прессе по поводу «Обрыва». 17 декабря он пишет тому же Стасюлевичу: «Пришла и ноябрьская «Заря», которую развернув, я увидел недоброжелательство к Гончарову — not d'order[13], который, кажется, роздан журналами друг другу».

«Ловкий редактор» не мог не догадываться, что теперь его отношения с Гончаровым вряд ли сохранятся прежними. Вскоре после опубликования утинского опуса, отвечая на приглашение зайти в гости и принести что-нибудь еще для печатания, Иван Александрович высказал Стасюлевичу напрямую: «как-то стало совестно и неловко идти к Вам, как было бы неловко опять печататься в Вестнике Европы после этого несчастного фельетона…»

Вообще состояние Гончарова в эти месяцы было явно

подавленным. Он ожидал, что реакция на роман окажется отчасти враждебной. Не знал лишь, что враждебность приобретет такие крупные масштабы. Даже о художественных недостатках его запоздалого детища (недостатки эти были видны и ему самому: «я слишком долго… носил его под ложечкой, оттого он и вышел большой и неуклюжий. Я его переносил», — жаловался в письма А. Фету) — даже об этих недостатках критики писали с каким-то откровенным злорадством.

Достоинства его художественной манеры также трактовались в уничижительном духе. Говорили, например, о нем как о мастере наполнять свои романы «мелкими сценами во фламандском вкусе» и т. д.

Дался им этот «фламандский вкус»!

Чтобы внести порядок в сумятицу своих переживаний, писатель решил сам печатно высказаться об «Обрыве». Подворачивался и повод — отдельное издание романа, которое можно снабдить предисловием. Исписал множество страниц. Решил уже было, что напечатать статью нужно в том же самом «Вестнике Европы». Встретился для этого со Стасюлевичем, прочитал ему «предисловие». Тот отсоветовал печатать. Иван Александрович запрятал статью подальше в стол. Может, поздно теперь доказывать свою правоту?

Когда-то в критической статье о только что появившемся «Обломове» Александр Дружинин уподобил изобразительную манеру Гончарова стилю фламандских художников — мастеров жанровых сцен. Критик имел в виду умение писателя набросать живую, ироническую, беззлобную зарисовку быта, любовно и кропотливо выписать мелочи жизни.

С легкой руки критика и другие авторы стали причислять Гончарова к «фламандцам». Но в дружининском сравнении уловлена лишь одна сторона словесного искусства писателя: живописность, пластическая выразительность и рельефность его письма. Что же до «жанра», до сценок бытового характера, то они в романах Гончарова никогда не играли преимущественной роли. Как «живописцу» ему равно удаются и жанровая зарисовка, и натюрморт (вспомним хотя бы описание пиршества в Обломовке и стола с остатками еды в петербургской квартире Ильи Ильича), и пейзаж — сельский и городской, сухопутный и маринистический, идиллический и романтически-бурный.

Но если продолжать аналогию с живописью, то в первую очередь о Гончарове, конечно, следовало бы говорить как о «портретисте».

Гончаров почти никогда не выписывает человеческое лицо

или фигуру во всех подробностях. Чаще всего ему хватает одной, доминантной детали. Лысеющий Адуев-младший, полные локти Пшеницыной, бакенбарды Захара, бархатные, как ночь, глаза Веры, скульптурная холодность и неподвижность красавицы Софьи Беловодовой — в каждом из этих образов одна-единственная, но очень емкая деталь выполняет функцию целого.

Гончаровские «портреты» не фотографии. Но и не карикатуры. Поэтому попадали впросак те иллюстраторы его романов, которые Обломова, к примеру, изображали гротескно дебелым, а Веру, соревнуясь с фотографией, прописывали до мельчайших узоров на шали. Вообще с Гончаровым иллюстраторам как-то не везло. Похоже, его проза и не нуждается в иллюстрировании. Она способна сама, за счет собственных средств, внушить читателю отчетливые пластические образы.

«Портрет» у Гончарова только начинается с описания внешности человека. За пластической характеристикой разворачивается многосложный словесный образ, глубины которого иногда непроглядны, неисчерпаемы. Это уже внутренне-сущностный портрет, попытка заглянуть в душу человека. Душа принципиально глубже темперамента, психологических проявлений человека. Она по преимуществу безмолвна, неуловима в очертаниях. Она музыкальна. И вот эту музыку умел внятно различать и выражать с помощью словесной палитры создатель Обломова и Веры, Пшеницыной и Бережковой.

На то, что Гончаров был «портретистом» по преимуществу, косвенно указывают его вкусы и пристрастия как зрителя и ценителя живописи. Видимо, не случайно среди великих художников Европы его внимание прежде всего привлекали знаменитые мастера духовного портрета, старые и новые. Чаще других — Рафаэль, Леонардо да Винчи, Тициан, Рембрандт.

Скорее всего интерес к живописи активно пробудился у Гончарова еще в молодые годы — со времен посещения мастерской Николая Аполлоновича Майкова.

Поездки за границу, когда писатель имел возможность осматривать крупнейшие собрания европейской живописи, раз от разу расширяли круг его художественных познаний. Приезжая в Париж, он обязательно посещал Лувр, а останавливаясь в Дрездене, считал непременным долгом побывать в знаменитой местной галерее.

Как и многие люди его поколения, совершенно особое место в ряду почитаемых художников и полотен он отводил жемчужине дрезденского собрания — «Сикстинской мадонне». И не только из-за выдающихся собственных достоинств этого полотна.

Почитать творения великого итальянца, «Рафаэля вдохновенного», как некогда сказал о нем Пушкин, — значило противостоять мнениям quasi-варваров, разрушителей прекрасного, которые и Рафаэля и Пушкина ставят не выше сапога, но сами, кроме карикатур и задиристых памфлетов, пасквильных стишков и крикливых статеек, ничего создать не умеют. Да, это было принципиально для него — поклоняться Рафаэлю, поклоняться всему возвышенному и возвышающему в искусстве. Ну что карикатура? Она может только раздражить, озлобить либо вызвать у зрителя приступ грубого, чревного смеха. Конечно, и от хохота тоже иногда выступают слезы. Но те ли это слезы, которые и у взрослого человека наворачиваются на глазах при созерцании запечатленной гением материнской любви?

Он не был еще настолько стар, чтобы брюзжать о худосочности нынешнего искусства сравнительно с искусством былых эпох. Но все же новых Рафаэлей как-то не объявлялось, да вроде бы и не предвиделось ни на Западе, ни дома.

Один лишь раз был повод ему поверить в возвращение классических времен — это когда смотрел привезенное в Петербург из Рима громадное полотно Александра Иванова.

Сколько толков вызвало «Явление Христа народу» среди жителей столицы! Как магически притягивала к себе картина все новые и новые толпы! Должно быть, та «приходили некогда люди поклониться только что явленной чудотворной иконе?..

Но все-таки это была живопись, и, как и всякая живопись, она рождала споры. Одни утверждали, что в напряженной и изысканной моделировке фигур, в их скованно-красивых позах дает о себе знать запоздалый академический пошиб. Раздавались и другие голоса: не слишком ли много быта, натуралистических и этнографических подробностей? Не чересчур ли назойлива в своей экзотичности эта пестрая толпа купающихся, обсыхающих, вытирающихся и облачающихся людей — толстых и худощавых, розовокожих и с синевато-бледной, покрытой мурашками кожей?..

Гончаров по достоинству оценил грандиозность замысла: художник изображает решительную встречу двух миров, двух цивилизаций, ветхой и новой, отжившей и нарождающейся. Христос является на фоне голубых гор, как утро нового дня человечества…

Однако от картины Иванова и у него осталось впечатление чего-то недовыраженного. И когда писатель попытался это чувство определить в словах и даже записать, то выяснилось, что дело тут скорее всего в самих особенностях исторической

живописи. На полотне исторического жанра в отличие от символического искусства (от той же иконы, например) может быть запечатлено лишь одно-единственное событие. А в «Явлении» таких событий — два. Люди на полотне Иванова, казалось бы, прежде всего должны быть поражены тем, что только что с ними произошло, — крещением, после которого они как бы родились для новой жизни. Но поскольку художник обращает их почти тут же к следующему великому и поразительному событию — явлению Мессии, то и получается, что о предыдущем событии они по воле живописца уже и не помнят. И вот вместо крестившихся — искупавшиеся в жаркий день люди… Одно состояние, не успев выразиться, готово уступить место другому.

Но при всем том Иван Александрович понимал, что перед ним выдающееся достижение искусства. В 1858 году, когда «Явление» было выставлено в Академии художеств, многим оно казалось картиной века, которая не только затмила собой десятки великих полотен, по и на будущее, похоже, не оставляла никому из собратьев Иванова надежд достичь большего совершенства.

Почти пятнадцать лет спустя в том же здании Академии художеств Гончаров разглядывал экспозицию первой Передвижной выставки. В одном из залов он остановился у полотна средних размеров, не очень хорошо освещенного. Он уже слышал об этой картине и теперь разыскал ее, чтобы самому решить: правы ли ее хулители, справедливы ли те, кто ее хвалит?

Автором картины был Иван Крамской, которого писатель знал лично. (Как-то их познакомили на квартире у Никитенко.)

Уже тогда Гончаров отметил, что, несмотря на молодость и репутацию бунтовщика и нигилиста (это он, говорят, перебаламутил всю академическую молодежь и с ватагой единомышленников составил что-то наподобие фаланстера живописцев, где и ходит в главарях), Крамской производит впечатление человека умного, широко начитанного, работящего и скромного. Великих старцев художественного Олимпа он не отрицает, а выступает лишь против их нынешних раболепных подражателей из академической школы, пытающихся вливать новое вино в старые мехи.

Вскоре Крамской предложил Ивану Александровичу попозировать, и тот согласился. Портрет заказали для себя Никитенки; Софья Александровна была инициатором.

Позировать пришлось, точно, недолго. О Крамском не зря говорили как об искусном портретисте: писал он быстро, добивался впечатляющего сходства.

На портрете, выполненном в технике соуса, Иван Александрович увидел себя то ли немного усталым, то ли слегка

обиженным, словом, вполне меланхолическим мужчиной среднего возраста. Нос, кажется, чересчур заострен, остальное же все как будто на месте: слегка одутловатые щеки, притененная усами маленькая нижняя губа, чуть лоснящиеся на висках волосы, большой чистый лоб. Софья Александровна могла быть довольна своим приобретением.

А все-таки, когда приглядишься, в любом портрете обнаруживается что-то двусмысленное. В том числе и в этом: кому-нибудь покажется, что изображен человек добрый и некичливый; кто-то найдет, что перед ним хитрец, баловень судьбы, эпикуреец. Один скажет, что это тихий и мечтательный помещик, давно уже не покидающий своего захолустья. А другой станет убеждать, что запечатлена титулованная особа, слегка утомленная рассеянной светской жизнью.

Хорошо еще, если ваш портрет висит у кого-нибудь на квартире, где его смогут видеть лишь немногие и скорее всего расположенные к вам люди. А что, если он попадет на выставку, где ежедневно проходят сотни посетителей, причем большинство — скуки ради! Вот тут уж держись! Станут полушепотом, а то и намеренно громко обсуждать всякие детали вашего лица: этот-де глаз меньше другого, а ухо посажено слишком близко к скуле… А потом и до личности доберутся.

Вот почему, когда в мае 1869 года на квартиру Ивана Александровича приехал московский купец и собиратель картин русских живописцев Павел Михайлович Третьяков и рассказал о своих планах открытия галереи, для которой он хотел бы заказать портреты наиболее известных современных отечественных писателей, а значит, и его, Ивана Александровича, автора незабвенного «Обломова» и только что вышедшего капитального «Обрыва», — вот почему, выслушав все это, хозяин дома весьма заколебался.

Правда, наотрез отказывать симпатичному гостю он не захотел. Идея создания русской галереи ему очень понравилась. Понравилось и то, что пришла она на ум не какому-нибудь великосветскому меценату, не знающему, как побыстрее просадить свои миллионы, а купцу русскому, кровно болеющему о всем родном. Такие вот, как этот Третьяков, обзываемые теперь на каждом шагу в прессе лабазниками, самоварниками да кабацкими гуляками, копят, копят, тянут с мира по пятаку, а потом, когда надоест им тянуть да копить, возьмут да и тряхнут всенародно тугим мешочком: то целую дивизию ополченцев обмундируют, то храм в каком-нибудь торговом селе поставят, с колокольней, на два метра выше самого Ивана Великого. А то, как его сегодняшний гость, затеют с царским Эрмитажем тягаться.

И ведь потягается, и соберет в конце концов свою галерею, и даже его, Гончарова, того и гляди насчет портрета убедит.

Нет, Иван Александрович не стал отказываться вслух. У него был отличный способ отсрочить это хлопотное дело. Ведь послезавтра он выезжает за границу на все лето. Вот вернется, и тогда они спишутся или еще раз встретятся и договорятся обо всем окончательно.

Лето кончилось, Гончаров благополучно возвратился в Петербург, а через три недели его навестил Иван Николаевич Крамской, сообщивший, что именно ему, как старому знакомому Ивана Александровича, московский заказчик доверил писать портрет для галереи. Гончаров, по видимости, был не против, но, когда из дальнейшего разговора выяснил, что художник и сам через десять дней собирается отбыть за границу, а потому хочет как можно скорее приняться за работу, он ухватился за это обстоятельство: зачем же сейчас такая спешка? не лучше ли обождать, когда Иван Николаевич возвратится? А он, со своей стороны, постарается к этому времени «сделаться еще лучше».

В гот же день Крамской написал Третьякову в Москву о результатах переговоров и назвал свою цену — 500 рублей серебром.

На третий день пришел ему ответ от Третьякова: тот согласен на цену, лишь бы художник постарался изо всех сил, то есть принялся за работу немедленно и отнесся к своей «модели» с любовью и почитанием, коих она, безусловно, заслуживает.

Крамской тут же пишет ему, что обещает «употребить все свое старание», но со сроками несколько задержится: в Петербурге он будет лишь к декабрю.

Так началась история создания знаменитого «третьяковского» портрета Гончарова. Того самого портрета, который, прояви Иван Александрович еще чуть-чуть упорства и нежелания, так никогда и не был бы написан. Заказчик и художник наседали, упрашивали, отступали на время, чтобы зайти с неожиданной стороны. А «модель» увертывалась, придумывала всевозможные отводы, отговорки.

В этой отчасти комической, но отчасти и грустной истории мы увидим, как с годами, говоря по-житейски, «портился характер» писателя. А точнее, как все более укреплялся он в желании жить замкнуто, сокровенно, тишком, не только ничего не делая для возрастания собственной популярности, но и другим препятствуя заботиться о его «прославлении».

«Дело о портрете» попортило кровь всем троим — и заказчику, и художнику, и писателю. Видимо, все могло бы обойтись проще, если бы на давнишнюю уже нелюдимость

Гончарова не наложились обстоятельства этого горького для него года. (Уже через неделю после разговора с Третьяковым раздались первые критические залпы по «Обрыву».) На этом фоне вполне становятся понятны капризность и обидчивость недоверчивого Ивана Александровича: уж куда ему быть в галерее «лучших», если критики в один голос доказывают, что он как писатель ничтожен…

Когда на четвертый день после возвращения из заграничной поездки Крамской навестил Гончарова «с намерением немедленно приступить к портрету», Иван Александрович понял, что дело принимает серьезный оборот. Визит был для него явно неожиданным, и наспех не мог он придумать какую-нибудь основательную причину для новой отсрочки. Но уж сегодня? — сегодня-то никак нельзя было начать; во-первых, потому что он не вполне здоров… к тому же погода скверная, и освещение в комнате плохое.

«Но, может быть, завтра погода будет получше?» — предположил художник.

Иван Александрович к такому прогнозу отнесся скептически, петербургские зимы куда как редко балуют солнцем и морозцем. Теперь уж, почитай, до самой весны не дождаться приличной погоды. Так не отложить ли и им все это до весны?

Крамской покорно соглашается. Он только просит, чтобы сам Иван Александрович сообщил письменно Третьякову, что дело затягивается не по вине художника.

А получив из Москвы очередное письмо с просьбой поторапливаться, опять едет на Моховую улицу: надо показать Гончарову послание заказчика. Гончаров же, оказывается, еще до сих пор ничего не написал в Москву.

Через несколько дней настойчивый портретист снова наведывается к писателю, Иван Александрович опять отнекивается. Он еще не вполне поправился, и свету по-прежнему недостаточно.

Крамской в очередной раз жалуется в Москву: он но знает, как еще подступиться к упрямцу. Тогда сам Третьяков письменно напоминает писателю о бывшей между ними договоренности. Художник вновь навещает Ивана Александровича, и тот, теперь уже, кажется, окончательно прижатый к стенке, соглашается. Уф!.. Они уславливаются о дне и часе первого сеанса.

А в середине марта Третьяков получает от Крамского письмо с новыми жалобами. Накануне сеанса Гончаров известил его, что сидеть никак не в состоянии, одним словом, «отступается окончательно от написания портрета».

Однако Павлу Михайловичу было не занимать

настойчивости. Через несколько месяцев, дав передышку раздраженному Гончарову, он начал новый приступ: по приезде в Петербург посетил дом на Моховой, но хозяина не застал. На письмо, оставленное ему Третьяковым, Иван Александрович ответил извинениями и пространным обоснованием своего категорического отказа. Он никак не может понять, для чего все-таки нужен его портрет, — «в шутку ли, для серьезной ли цели»?

Похоже, что этот ответ если не обидел, то основательно расхолодил Третьякова. Переговоры прекратились. Тем более что и художник был надолго отвлечен другими заказами, работой над собственными замыслами.

Проходит два года. Энергичный московский собиратель, уже приобретший к этому времени несколько портретов русских писателей, снова решился потревожить петербургскую знаменитость. Но Крамской, посланный на Моховую, пишет ему в великом расстройстве, что более хлопотами о злополучном портрете заниматься не может. Не успел он, зайдя к Гончарову, произнесть и двух слов на старую тему, как тот переменился в лице и выпалил дрожащим голосом целую тираду:

— Ведь мы уже решили никогда не поднимать этого вопроса, Иван Николаевич… И я признаюсь, что, несмотря на наше знакомство и на то, что я рад вас видеть, я не могу быть уверен, чтобы всякое ваше посещение не было бы попыткой завести речь о ненавистном мне портрете!

Итак, почти четыре года ушло на безуспешные переговоры. Никаких надежд у Крамского и Третьякова больше не было. Не считать же надеждой то комическое обстоятельство, что писатель заместо собственного портрета позволил Крамскому нарисовать свою любимую собачку Мимишку!..

Что касается Ивана Александровича, то он, надо полагать, уже чувствовал себя окончательно свободным от обязательств позирования. Еще один искус славы был позади.

И вот через несколько месяцев после резкого объяснения с Крамским он стоял в слабо освещенном углу выставочного помещения и разглядывал картину Ивана Николаевича, которая называлась «Христос в пустыней. По первому же взгляду на нее нетрудно было ему понять, почему работа эта вызвала такие разноречивые толки в публике. Спаситель был изображен без традиционных атрибутов своей славы, то есть без нимба, с каким привычно видеть его на иконах, без того величия в позе, какое, к примеру, придал ему Иванов в своем «Явлении». Да и не только это. Одежды без академически правильных благородных складок. Волосы на голове и бороде как-то дико разлохмачены, а не

расчесаны аккуратно на прямой пробор. Взгляд, скорбно-исступленный, устремлен куда-то в землю, а не сквозь зрителя, как на маслом писанных иконах петербургских пышных храмов, где Христос глядит перед собой с каким-то стеклянно-холодноватым безразличием. Всех этих деталей было с лихвой достаточно, чтобы признать картину еретической: на ней-де показан не богочеловек, а простой человек, которого художник выдает за Христа.

Но чем больше Гончаров вглядывался в картину, тем более убеждался, что выносить о ней подобное суждение — значит становиться на путь ветхозаветного фарисейства. Пусть даже действительно художник захотел показать в своем Христе первонаперво человеческую сторону. Пусть даже сам он не верит в богочеловека (это дело его собственной, а не чьей-нибудь совести). Но что бы там ни было у него на душе и в уме, а в картине его гораздо больше правды, чем во всем современном академическом иконописании.

Художник взялся изобразить одну из самых трудных годин в земной жизни Спасителя: сорокадневный пост в пустыне, во время которого постящийся подвергается всевозможным искушениям, переживает муки голода и жажды, тоску одиночества, приготовляется к своему неслыханному жертвенному нуги. Вся фигура его как бы сжалась от громадной работы духа. Ступни сильно оперты о землю, и ладони стиснуты. Во взгляде что-то неодолимое, словно он уже добыл себе силу на подвиг. Его облик невольно заставляет вспомнить стихотворные строки Тютчева о «рабском виде», в котором Христос идет по земле, «удрученный ношей крестной».

«Здесь нет праздничного, геройского, победительного величия, — заключил про себя Гончаров, — будущая судьба мира и всего живущего кроются в этом убогом маленьком существе, в нищем виде, под рубищем — в смиренной простоте, неразлучной с истинным величием и силой».

Картина его поразила. Как-то разом в сознании его всколыхнулись и соединились друг с другом художественные впечатления многих лет. Ему хотелось еще и еще думать о живописцах, берущихся за самые сложные, жизнеобъемлющие сюжеты. Хотелось записать эти свои раздумья, разбуженные работой Крамского. Да и с ним самим поговорить.

Неизвестно, как именно они объяснились при встрече, но 23 февраля 1874 года Крамской радостно сообщил в Москву: «Портрет И. А. Гончарова имеет большое вероятие быть написанным мною».

А через полторы недели Третьяков читал: «Работаем каждый

день. Сидит он хорошо и совсем стал ручным».

14 марта Крамской еще пишет заказчику: портрет «двигается, и, кажется, удачно, хотя боюсь говорить вперед. Думаю, что на Страстной привезу».

И наконец, 20 марта: «Портрет Ивана Александровича Гончарова в воскресенье будет совсем закончен».

Вербное воскресенье было 24-го числа. Итого, сеансы продолжались не менее трех недель. Не так уж мало, если учитывать профессиональную быстроту, с какою обычно писал Крамской. Может быть, «модель» быстро уставала? Или портретист намеренно себя притормаживал, понимая особую ответственность заказа? Или разговоры их обоих отвлекали?

Ивана Александровича, естественно, интересовал «Христос в пустыне». Что все-таки побудило художника взяться за такую ответственнейшую тему?

Понятия Крамского о Христе, как Гончаров мог без труда уразуметь, оказались довольно-таки путаны. Видимо, художник исповедовал идеи, взятые из модной книжки Ренана, то есть признавал в Христе выдающегося моралиста, когда-то действительно жившего в Палестине. Более того, он выдвигал отчаянный парадокс: Христос, мол, величайший из… атеистов всех времен, ибо — тут Крамской изъяснился довольно туманно — «изъял божественное начало из вселенной и внедрил в душу человеческую». Гм!.. Прямо не Христос получался, а Люцифер… Но тот же Крамской утверждал: нельзя Христа изображать в такой натуралистической манере, как это делают некоторые современные художники, желающие тем самым заявить во всеуслышание: се человек!., мы показываем исключительно человека. Аптокольский, к примеру, в своей скульптуре представил Спасителя совершенным иудеем: нос с мясистым кончиком, чувственный рот…

Иван Александрович заметил, что и в прежние времена художники в религиозных сюжетах иногда уклонялись в сторону натурализма: тот же Тициан… Крамской о Тициане отозвался резко: не Христа написал, а итальянского дипломата, тонкого, хитрого, сухого эгоиста.

Оба были согласны, что даже гениальный живописец, когда берется за религиозную тему, часто не в силах бывает одолеть условий современного искусства. Даже любимый Иваном Александровичем Рафаэль в своей «Сикстинской мадонне» потерпел частичную неудачу, когда, пытаясь изобразить младенца Христа, посадил на туловище ребенка крупную голову, наделенную чертами зрелости и мудрости. Мысль художника верна, но средствами живописи выразить ее не удалось. А

Богоматерь? Конечно, этот образ у Рафаэля необычайно выразителен, но и тут перед зрителем не божество, а лишь идеал прекрасной женщины-матери.

Видимо, слишком тяжек для любого художника груз земли, всего плотского, вещного. Даже гению редко удается стряхнуть этот груз с плеч.

Так говорили они на близкие тому и другому темы — художник, стремившийся «революционизировать» религиозную проблематику, и писатель, в мировоззрении которого с каждым десятилетием все отчетливей проступали черты религиозной ортодоксальности, догматы объективно-идеалистической эстетики. Вопросы, которые они обсуждали, не казались им ни узкими, ни далекими от действительности.

А интересно все-таки, что выйдет из нынешнего сидения? Удастся ли Ивану Николаевичу хоть чуть-чуть облагородить свою «модель», по-стариковски малоподвижную, погруженную в дремотное оцепенение? Какую правду скажет о нем портретист?

Что до «модели», то она давно уже привыкла думать о себе в самоиронических тонах. Вот поистине находка для карикатуристов! Брюхат, брюзгловат, подбородок двоится, веки тяжелые, будто в ячменях, так и норовят слипнуться.

Иван Николаевич, чуть наклонившись к полотну, поглядывает на Гончарова исподлобья. Остро, неожиданно и как бы украдкой поглядывает. В этом взгляде что-то от недоверия и выжидания, от постоянного, неослабевающего интереса. Какой характерный, чисто художнический, сквозной, сквозящий, чуть холодком обдающий взгляд!

Позировать Крамскому легко. Даже в те минуты, когда они ничего не говорят друг другу, остается ощущение длящейся миролюбивой беседы… Пожалуй, жизнь художника еще более зависима от внешних обстоятельств, чем жизнь писателя. Заказы, заказы, заказы… Редко когда удается выкроить время для своего, желанного. На той же выставке, где Крамской показал «Христа», была еще одна его работа — портрет министра Валуева. Образ Спасителя и рядом — личина умного, хитрого, блестяще владеющего приемами придворной игры и интриг» политика. И ведь обе картины пишет вождь «свободных» живописцев! Значит, и он с годами — поневоле или сознательно? — вовлекается в игру, начинает служить мамоне. Вот и сейчас неясно: интересен он, Гончаров, Крамскому как человек и писатель или дело лишь в почетном заказе?.. Но, по крайней мере, перед одним — перед законами своего искусства — художник, это видно, честен. Вон как он хмурится, как недовольно соскребывает металлической лопаткой уже присохшее к полотну масло, переписывает что-то

наново.

Естественно, Ивану Александровичу хотелось бы посмотреть, получается там что-нибудь или не очень. Но он не спешит любопытничать. Ведь это так же нехорошо, как заглядывать в черновики писателя. То, что совершается там, на холсте, уже не принадлежит ему, Гончарову, оп бессилен там что-либо подправить, улучшить. Он может, конечно, изменить осанку, выражение лица, сосредоточенно нахмурить брови, придать своему взгляду некоторую вдохновенность. Но зачем? Кого ему обманывать? Художника? Себя? Будущих зрителей? Он и сейчас, во время сеансов, останется таким, каким бывает всегда, подолгу сидя в своем кабинете, в своем любимом и привычном плетеном кресле, несколько вытянув ноги вперед и отклонившись туловищем назад, к удобной твердой спинке. Сколько часов он так просидел здесь и сколько еще, может быть, просидит сам, наедине со своими мыслями и воспоминаниями, а то с каким-нибудь гостем, гостями?.. Он отдыхает. Руки мягко опущены на подлокотники, кисти расслаблены, и пальцы не напряжены. В левой руке он держит надкуренную сигару. Толстый бархатистый цилиндрик пепла вырос уже сантиметра на два, но он медлит отвалить его в пепельницу, сделанную из скорлупы кокосового ореха и стоящую, как всегда, рядом, на краю стола. Дым стремительно течет вверх острой ленточкой, чуть-чуть змеится и потом истаивает в воздухе, напитывая своим благородным ароматом книги, шторы. Он никогда не злоупотреблял водкой и вином, давно уже ограничивает себя в еде, но вот сигары — его слабость. Еще во времена плавания на «Палладе» он охотился за лучшими сортами сигар в магазинах Лондона и лавках азиатских портов. Всякий раз, выезжая за границу, непременно покупал сигары впрок, на зиму, у парижских или берлинских табачников. Сигара помогает думать, неколебимая струйка ее дыма успокаивает. Он выкурил, пожалуй, целую плантацию табака, пока написал три романа. Но о писательстве сейчас думать не хочется. Он отдыхает… Конечно, можно сказать, что это совсем немного — три романа за целую жизнь. Средний европейский писатель способен предложить публике три романа в год. А что уж говорить о таких феноменах работоспособности, как Дюма!.. Помнится, в 58-м году, когда великолепный этот француз гостил в Петербурге, их представили друг другу. Узнав, что русский писатель — путешественник, Дюма оживился и объявил, что предполагает написать до двухсот волюмов путешествий, в том числе 15 томов уделит России, 17 — Греции, 20 — Малой Азии и так далее… Когда художник добывает деньги только книгами или только картинами, оп вынужден спешить изо всех сил. Если

поглядеть со стороны, он, Гончаров, и мол возможность работать не спеша. Но и он принужден был многим поступаться, чтобы обеспечить себе достаточную литературную самостоятельность. Из-за службы и у него свободного времени выкраивалось совсем немного. И нужно было уметь в него укладываться. И он, пожалуй, никому не уступал тогда в работоспособности. То, что иные делают за неделю, он писал за день. Русская кровь долго, медленно закипает. Но когда закипит… Так что теперь он имеет право отдохнуть и еще раз, без спешки, посмотреть на свои романы и на жизнь, ими задетую: не исказил ли он где-нибудь ее облик?

Многие, слишком даже многие кричат публично: исказил! Но он не станет вслух оспоривать их. Он слишком хорошо помнит пушкинский завет о *равнодушии*, с которым истинный художник должен принимать хвалу и клевету. И вот сейчас он, кажется, именно так, по-пушкински, равнодушен. Не безразличен, не прегорд, не высокомерен, но мудро молчалив, будто заглянул куда-то далеко вперед — за тяжко сомкнутую, темную завесу грядущего. Заглянул и вздохнул: не их, а его правда…

Иван Николаевич исправно является каждый день, в один и тот же утренний час, пока больше всего свету в кабинете хозяина. Окна выходят на запад — на тесный дворик с каретным сараем, поленницами дров и обнаженным кустом сирени. На дровах белые подушки и перины снега, чуть розовеющего в ясную погоду. В комнате уже натоплено. К устоявшемуся тонкому запаху табака, старых книг и нагретых каминных кирпичей добавляется свежий дух пришедшего с мороза гостя, резкий запах красок, выдавленных на палитру.

Справляются о здоровье друг друга, обмениваются новостями. Все-таки в свое время в «Обломове» у него недурно вышла эта деталь: Илья Ильич каждого входящего к нему гостя предупреждает: не подходите близко, вы с холода! Это первого-то мая!.. А сейчас вот, несмотря на мороз, время у Ивана Александровича горячее: много хлопот доставил ему в последние месяцы сборник «Складчина», который по инициативе группы писателей решено подготовить в пользу голодающих крестьян поволжских губерний. В конце прошлого года на собрании петербургских литераторов Гончарова включили в редакционно-издательский комитет «Складчины». Конечно, это большая честь для него, волгаря, он сам набросал уже было очерк для сборника под названием «Поездка по Волге», но чем дальше писал его, тем яснее видел, что тема требует более глубокой разработки и он к сроку с этим очерком не поспеет.

Ему хотелось вывести здесь образ, в котором продолжилась

бы и осветилась с новых сторон тема Райского. Герой повествования — талантливый живописец и симпатичный, увлекающийся молодой человек по фамилии Хотьков. Вместе с автором он совершает путешествие на пароходе вниз по Волге. Хотьков в своем роде квинтэссенция Райского, всех тех достоинств и слабостей, привычек и склонностей, которые были приданы в свое время герою «Обрыва». Он беспрерывно влюбляется в кого-то и тут же забывает предыдущие увлечения, он постоянно в поиске натуры, типажа — будь то столичная красавица или деревенская нечесаная девка, русский купец или татарин, мальчик или ветхая старуха. Он незлобив, бескорыстен, всегда радостен, бодр, всегда готов приняться за новую работу или насвежо переписать давно заброшенное полотно. Оп упоен жизнью, все дается ему легко, и так же легко оп сам отдает — картины, привязанности, деньги. Обнаружив, что древняя бабушка, которую он высмотрел среди пассажиров парохода и принялся тут же рисовать, едет домой в деревню всего с несколькими медяками, он тут же бросает пять рублей в свою фуражку и обходит палубу, прося, кто сколько может, пожертвовать старухе… Он готов рисовать всех и все — и мифологического Бахуса, и русского крестьянина, и эскиз плафона, и итальянский пейзаж; сейчас он едет к одному волжскому помещику, чтобы писать запрестольный образ для храма, а недели через две собирается в Испанию — надо по чьему-то заказу сделать копии с трех музейных шедевров. Он действует на окружающих примерно так же, как бокал шампанского в жаркую погоду. Его искрометность заразительна, может быть, в нем даже что-то моцартовское проявится, когда жизнь начнет его понемногу ранить и озадачивать… Словом, над этим образом хотелось бы еще серьезно и не спеша подумать: зачем все-таки художник приходит в мир? и что такое его судьба — восхитительный полет райского мотылька? или тревожный голос невидимой птицы, предчувствующей беду?..

Но основательно обдумать эту тему некогда, и вот он забросил очерк на середине, принялся за другой сюжет.

«Складчина» требует от него еще и организационной работы: надо пригласить к участию в сборнике всех желающих литераторов, прочитывать все присылаемое, отбирать лучшие вещи, — дать о них письменные отзывы комитету с указанием возможных цензурных затруднений. Он пишет письма Аполлону Майкову, Лескову, Полонскому, Достоевскому, положительно отзывается о присланных произведениях Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Курочкина, Боборыкина, Страхова и других, встречается по делам сборника с Некрасовым, Никитенко и

Краевским.

В самый разгар событий в «Московском вестнике» Каткова был напечатан неодобрительный выпад по поводу будущей «Складчины». Зачем-де понадобилось петербургским литераторам афишировать продовольственные затруднения в стране. Катков изо всех сил выслуживается перед правительством. Не нужно обращать внимания иа выходку «Вестника», но некоторую осмотрительность все же следует проявить. Последнее обстоятельство вынуждает Гончарова строже смотреть на содержание присылаемых материалов. Даже Достоевскому он вынужден сообщить, что в присланном им очерке «Маленькие картинки» есть места, которые лучше бы изъять. После обмена мнениями Федор Михайлович соглашается на сокращение. Он доверяет опыту старого цензурного хитреца и мудреца Ивана Александровича.

Почти все материалы уже собраны. Ожидается только отрывок из новой драмы Островского «Трудовой хлеб». Наконец и он получен. «Складчина» и по подбору имен, и по составу сочинений будет выглядеть внушительно.

Похоже, что успешно продвигается и писание портрета. Иван Александрович уже несколько раз заглядывал на холст с «той» стороны, благо мольберт с картиной до следующего сеанса всегда остается здесь, в углу комнаты. Ну что же, художник ему нисколько не польстил: фигура выведена представительная, барственная, как бы упокоившаяся после сытной трапезы и наяву грезящая. Если же говорить без шуток, то Иван Николаевич действительно не только добился совершенного сходства, но и выразил свое личное, человеческое отношение к «модели». И каждый может убедиться, что это отношение — симпатия, душевная расположенность. Может быть, тут и заключен главный результат их почти месячного сидения? Не в том, что портрет все-таки написан, а в том. что они много продвинулись в понимании друг друга, в сочувствии житейским и творческим затруднениям друг друга? Крамской, похоже, и изобразил его собеседующим, внимательным к чужому мнению, но знающим цену и своему слову.

Беседы о живописи, которые они вели, помогли Гончарову додумать те мысли, которые вызвал у него «Христос в пустыне». И вот в один из дней он записал эти мысли в виде эстетических наблюдений над духовной живописью разных эпох, доведя анализ до новейших времен и мастеров. И назвал статью «Христос в пустыне. Картина г. Крамского».

Все, кто заходил в эти дни на квартиру к Ивану Александровичу, в один голос говорили, что портрет —

настоящий шедевр. Был доволен и он, хотя вслух слегка ворчал: скорей бы уж Крамской вез работу Третьякову, а то по ночам, когда не спится, неприятно видеть в углу еще одного живого Гончарова — страх находит.

Позже Иван Николаевич сообщил ему, что и в Москве портрет оценен высоко. Передал также, что дела Третьякова движутся хорошо, коллекция растет с каждым месяцем. Вдохновившись этим известием, Гончаров написал и отдал Краевскому в его «Голос» статью о новых приобретениях московского собирателя: «Почем знать, может быть, нынешние владельцы русских галерей и замечательных отдельных картин, — размышлял он в статье, — движимые симпатией к своей Москве и ревнуя украшению ее, завещают ей свои сокровища, и тогда в Москве могла бы возникнуть своя историческая русская галерея, образоваться целая народная школа живописи и ваяния…» Эти слова писателя оказались пророческими.

Пройдут годы, Крамской напишет десятки других портретов, не менее известных, не менее изобретательных по исполнению, но полотно, написанное на Моховой, 3, будет постоянно называть среди четырех-пяти лучших своих вещей.

И сам Гончаров, обращаясь однажды к Софье Никитенко с просьбой прислать ему на время овальный портрет, написанный с него Иваном Николаевичем в 1865 году, скажет: «Лучше портретов И. Н. Крамского нет».

И еще о Крамском скажет: «Он добыл у меня что-то из души, на что он был великий мастер, и дал это что-то, какую-то искру правды и жизни портрету; я радовался, что он поймал внутреннего человека».

КРУГ СУЖАЕТСЯ

О, какие тяжкие помрачения находят на Петербург в междувременье зимы и весны!

Вдруг с ночи туман провиснет над склизлыми каменными руслами улиц. Немощно шевелится утро под мелкий шорох дождя, глохнет в грязных сугробах дворов. На что ни взглянет прохожий, все ранит глаза — степы и карнизы в темных потеках, лошади «ванек», стоящие понуро со слипшимися гривами и хвостами, бронзовые монументы в безобразных купоросных оплывах. Старые липы чернеют траурно, лед на Мойке, на Пряжке, на большой реке замусорен, кое-где в трещинах, в промоинах, исшитых дождем, пестреют щепки, очистки, обрывки бумаги, торчит горло незатонувшей бутылки… Где купол Исаакия, где гордо сверкающие шпили, где великолепие марширующих колонн дворцовых ансамблей? Все поглощено хмарью, будто город приплывает сюда ненадолго из сновидения, чтобы почти тут же исчезнуть, обезъяветь.

День застыл безвольно, неизвестно, час который и сколько еще терпеть, задыхаться в сыром мороке.

А назавтра, разбуженный каким-нибудь отчетливым, но непонятным звуком, горожанин видит, что крыша соседнего дома суха, ветер весело подхватывает из труб завитки дыма и кое-где в сером небе уже намечаются нежные лазурные размывы. К полудню весь город затоплен солнцем, капель, разбрызгиваясь на карнизах, повисает в воздухе дымчатой пыльцой, и токи света стоят в ней наискось густыми снопами. Из-под рыхлых сугробов выцеживаются темные струйки, стекают вниз по щелям гранитной кладки; от горбатых мостиков на льду голубые тени; копошатся воробьи в отмерзшем навозе, каждая из которых вчера выглядела вдовицей; а над людьми, над деревьями, над домами в ледяной синеве пышет тусклым жаром купол-бокогрей и дрожат восклицательные знаки шпилей. Полдневные лучи уперлись в широкие плечи Всадника и даже подкопытную змею ласкают. Или действительно прав был Петр, и воля его — благо?

Скоро, скоро уже сдвинутся льдины, загомонят над Невою чайки, зашевелятся баржи в каналах. А перед светлой седмицей выставят зимние рамы и смоют бурую пыль со стекол. Ветхая земля умрет, и воскреснет земля юная, и юный город будет стоять на ней с запахом тополиной смолы, свежей воды, нагретого камня.

В апреле 1873 года узнал Иван Александрович Гончаров о

смерти поэта Бенедиктова, старинного своего приятеля по майковскому кружку. Бенедиктов умер, надолго пережив фейерверочно яркую известность, сквозь блеск которой самобытно светились, пожалуй, лишь три-четыре по-настоящему сильных стихотворения.

Летом того же года из Царского Села дошла весть о смерти еще одного поэта, Федора Тютчева. С последним Гончарова роднила не одна лишь память о литературных начинаниях юности, но и недавние времена служебного товарищества. 18 июля Иван Александрович написал Софье Никитенко: «На днях умер один из самых хороших людей русских — это Ф. И. Тютчев; трудно сказать, что было в нем лучше, чище, светлее; голова или сердце и вообще вся душа». Может быть, как никто из современников Гончарова, Тютчев умел выразить напряженность всего человеческого естества в предвестье горестного исхода.

Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

Так незадолго до своей кончины писал он об умершем брате.

В августе поджидала Ивана Александровича еще одна потеря: не стало Николая Аполлоновича Майкова. Вечера задушевные, беседы о целях искусства, шумные загородные прогулки — да перечислишь разве, сколько за многие десятилетия их дружбы было радостных, сближающих событий! И вот теперь надо садиться за стол и писать некрологическую заметку в «Голос», а что в ней напишешь-то? Самое дорогое, самое трогательное не уместить, не высказать… Как слушали «Лихую болесть», как Валерушку юного хоронили, с каким ликованием встречали кругосветного путешественника, как шампанским палили в ночи новогодий…

Подумать только: никого почти и не осталось из майковских завсегдатаев! Нету в живых Дудышкина, нету Василия Боткина, Дружинина… И из окружения Белинского как многих теперь недосчитаться! Одиннадцать лет уже как умер Панаев, а ведь он был ровесником Гончарова. И другой его одногодок, Александр Герцен, умолк и опущен в холодную землю лондонского кладбища. Смерть иногда ходит и по прямой, но чаще движется она кругами, начиная издали, как бы почти незаметно, с полным к нам невниманием и отсутствием интереса. Но круги между тем все уже и уже…

Декабрем 1873 года, нежданно, без предупреждений, вышла

она на самый близкий к автору «Обломова» круг… «Брат, столько лет сопутствовавший мне…» Да, вот и брат Николай утомился жить, ежедневно ходить по тихим симбирским улицам из дому в гимназию и обратно. Кто же теперь «на роковой очереди»?

По мере того как с годами отчетливей виделся Гончарову этот неотвратимо сужающийся круг жизни, он и сам, своей волей, все строже и настойчивей самоограничивался и самоутеснялся, отказываясь то от мелких и никчемных, на нынешний его взгляд, привычек, то от вещей, которые, как выясняется, никогда по-настоящему не были ему необходимы, то от избыточных привязанностей, знакомств.

Это не была атрофия вкуса к существованию или надменная поза мизантропа. Общая усталость — следствие душевных перенапряжений последних десятилетий, — безусловно, сказывалась. Но и она не была в его поведении определяющей величиной. Стиль жизни стареющего писателя диктовался в первую очередь вечными возрастными законами. Теперь, в неярком, но как бы насквозь просвечивающем закатном свете, многое делалось по-особому ясным, рельефным — и в нем самом, и в окружающих. Прошлое разворачивалось перед ним как бы в обратной перспективе, не он уходил от прошлого, но оно надвигалось на него, ширилось, выставляло для обзора предметы, события и лица, заявляло о себе как о хозяйстве, в котором нужно произвести перестановку соответственно истинной цене всякой вещи, что-то придвинуть поближе к себе, под руку, а что-то и убрать совсем, чтоб не торчало зря, не мозолило глаза.

Такие заботы и составляли теперь основу его поведения. И писательского, и частного, бытового.

Что касается быта, то привычка к немноголюдству явно становилась доминирующей. Крамскому еще «повезло», и история с портретом, несмотря на некоторые сопутствующие комические детали, — история все же высокая. Л скольким современникам своим писатель в эти годы так и «не открылся»!

Показательна в этом смысле относящаяся к середине 70-х годов его переписка с неким Н. Н. Тепловым, полковником и горным инженером, который, судя по всему, стремился завести более короткие отношения с Гончаровым, а тот деликатно, но упорно от таковых отстранялся. Видимо, неизменной частью каждого тепловского письма (сохранились только ответы писателя) было приглашение — к обеду, к партии в преферанс. У Ивана Александровича постепенно набирается целый ассортимент причин, достаточных для неявки: то это ссылки на нездоровье (зубная боль, катар, грипп, бессонница), то внешние обстоятельства (непогода, стройка, затеянная во дворе дома,

боязнь встретить в гостях множество незнакомых лиц, дальность расстояния — Тепловы живут «в другом городе», на Галерной).

Так, в письме, помеченном 15 февраля 1874 года, Гончаров прибегает к уже хорошо известному нам приему автошаржирования: «Ко мне привязался какой-то неприличный отрывистый и громкий, подобный собачьему лаю, кашель, так что при дамах даже нехорошо выходит. Вчера, встретив похороны, я облаял их, и прохожие дивились». (Тон оценки с «облаиванием» похорон воспринимается — в траурном контексте этих месяцев — как средство душевной самозащиты.)

А в дни, когда сам Теплов заходит на Моховую, 3 с визитом, ему почему-то фатально не везет: «я очень сожалел, почтеннейший Николай Николаевич, что третьего дня пятью минутами только не застал Вас у себя…» Или: «я пожалел, что вчера такие дорогие гости не застали меня…» «Опять Вы не застали меня…»

Как это понять, право: то он все болен, то никак его не застать?.. Мы можем догадываться, что отсутствие хозяина иногда было мнимым.

В одном из письменных ответов проскользнула самая, пожалуй, основательная из причин, которые заставляли писателя избегать сближения с Тепловым: у того, оказывается, нередко бывает Стасюлевич, а дружба романиста с издателем давно уже дала сильный перекос.

Что до Стасюлевича, то он в эти месяцы, похоже, особенно упорно стремится к возобновлению былых отношений. 2 октября 1874 года они все-таки свиделись за обеденным столом, но не у Теплова, а в более официальной обстановке — в ресторане «Hôtel de Franse». После беседы, судя по всему, достаточно непродуктивной, редактор «Вестника Европы» пишет супруге: «В первый раз мы встретились и вели себя как джентльмены. Пили даже шампанское, но все же не были приятелями».

«Какой несообразный мужчина, и притом коварный! — жалуется Гончаров Теплову, имея в виду Стасюлевича. — Таковых, говорит апостол Павел, страшись!»

Стасюлевич в конце концов все же добьется своего: чтобы автор «Обрыва» вновь у него стал печататься. Возобновится и переписка, по внешности самая миролюбивая, и домашние застолья. Но писатель слишком хорошо знает, зачем нужен он «ловкому редактору», и никогда уже не сократит в общении с ним дистанцию чуть-чуть брезгливого превосходства.

Никому не набиваться в приятели, сходиться с людьми без спешки. — такого правила держался он и прежде, теперь же блюдет его особенно. Но, раз утвердившись, дружба или приязнь

становятся неподвластны мимолетным настроениям.

Новые единомышленники в литературном мире появляются у него и сейчас, но это уже представители очередного писательского поколения, своего рода подлесок среди матерых, одиноко стоящих стволов. Ближе других ему, пожалуй, двое: Яков Полонский из поэтов, Николай Лесков из прозаиков. Впрочем, Полонский пишет и прозу. И тот и другой ненамного моложе Гончарова, но он для них — лицо почти уже историческое, «высоких зрелищ зритель», представитель школы Пушкина и Гоголя.

Может быть, с наибольшей пластической выразительностью этот пиетет младшей писательской братии запечатлен в сценке из книги Андрея Лескова об отце.

«Отношение Лескова к Гончарову, — вспоминает он, — было всегда безупречно почтительным. При памятных мне случайных встречах с ним на Литейной, около дома Мурузи, мой отец держался в затягивавшихся беседах подчеркнуто внимательно к каждому произносимому им слову, к каждому его жесту и движению. Если я, стоя сбоку в холодных сапогах, без запретных для кадет калош, начинал переминаться с ноги на ногу, отец искоса бросал на меня взгляд, требовавший терпения и выдержки».

Так и видишь всю группку: двух писателей, беседующих неспешно, непринужденно и как бы вполне «на равных», и мальчика, который чутко и ревниво улавливает, что отец его в этом диалоге все же «меньший».

Изредка Леонов и Полонский бывают у Гончарова и дома. Кроме иих, иногда забредает к Ивану Александровичу на огонек Аполлон Майков, сам уже вступающий в возраст поэтического мэтра. Его в одном ряду с Фетом и Полонским Гончаров относит к лучшим лирикам эпохи. Правда, в их творчестве нельзя обнаружить тех прорывов в гениальность, тех искр божьих, которыми сверкает лирика Тютчева. И все-таки Тютчев, по его разумению, более относится к *неудачникам.* Ибо по разным причинам написал до обидного мало, а в литературном деле количество тоже играет не последнюю роль.

Алексею Константиновичу Толстому, тому более повезло: Гончаров искренне уверен, что, не будь при графе его мудрой спутницы Софьи Андреевны, ни за что бы не создал он ни «Иоанна», ни «Федора». «Ведь разбрасывался же прежде этот граф на мелочи, а вот теперь что произвел и что произведет еще!»

Бывая у Толстых, Иван Александрович всегда наслаждается благородством и нравственной красотой супругов. Граф атлетической внешностью, манерами, пылом своим похож на его,

гончаровского, Тушина, вернее сказать, Тушин похож на графа, поскольку отчасти и списан был с него. С Софьей Андреевной можно говорить обо всем на свете: о тонкостях и тайных ходах европейской политики, о судьбах русской нации и родного языка, о всяком значительном явлении литературы.

Как-то осенью, получив от нее весточку из Красного Рога, Гончаров сел за письмо и, начав с шутливых комплиментов, каламбуров, незаметно для себя перешел к вещам серьезным: к последней ноте князя Горчакова, к реакции на нее англичан, французов и немцев… Письмо тем и хорошо, что можно чувствовать себя раскованно, не следить за единообразием тона и последовательностью изложения; это как бы взволнованная встреча после долгого перерыва, когда хочется сказать сразу о многом, и оттого получается сбивчиво, но собеседник не попрекнет… А кстати, читали ли в Красном Роге новое сочинение Тургенева «Степной король Лир»? «Как живо рассказано — прелесть!» Впрочем, о литературе они всласть наговорятся потом, в Италии, — ведь Толстые нынче осенью собрались в Италию и его с собой заманивают, и он (в мечтах, по крайней мере) уже прогуливается вместе с ними среди римских руин… Но тут оп снова увлекся пересказыванием политических новостей и нечаянно вернулся к политике литературной. Ну куда от нее денешься!.. В последние времена его сильно беспокоят тенденции, угрожающие языку русскому. Ведь язык — это *«знамя,* около которого тесно толпятся все народные силы». А между тем в высшем классе, да и в средних тоже какая спесь, какое пренебрежение к отеческой речи! Ее считают чуть ли не препоной, мешающей общению с целым светом.

«У Нас некоторые заглядывают очень далеко вперед — я знаю: говорят, что это неважно (беречь родной язык. — *Ю. Л.*), что даже *национальность* есть задержка, что впереди где-то стоит идеал слияния народностей, религий, языков, следовательно немецкий ли элемент, русский ли возьмет верх, лишь бы было общее благо…»

«Со временем, то есть через 10, 20 тысяч лет! Может быть! Спаситель оказал, что будет *едина вера и едино стадо*, но и Он ничего не сказал о языке и о народности.

Я не с точки зрения *шовинизма* или *квасного патриотизма* боюсь за язык и, конечно, буду рад через десять тысяч лет говорить одним языком со всеми — и если буду писать, то иметь читателями весь земной шар!

Но все же я думаю, что народы должны притти к этому общему идеалу человеческого конечного здания — через *национальность,* то есть каждый народ должен положить в его

закладку свои умственные и нравственные силы, свой капитал. А мы кладем его как-то вяло и лениво, да еще упрямимся не говорить по-русски!»

Конечно, это письмо пишется не ей одной, прочитает его и Алексей Константинович. Вот уж кто истинный рыцарь русского слова, ясной, умной, мужественной речи, и нынешней, и стародавней, освященной веками, взошедшей от древних корней славянской общности.

Но лишь им двоим и пишется это письмо — никому больше. Он не относится к тем литераторам, которые эпистолярные свои послания обращают не столько к конкретному адресату, сколько к нынешней и будущей читательской публике вообще. В противном случае он и не смог бы высказываться та «непосредственно. К попыткам печатного оглашения переписки частных лиц (независимо от рода их деятельности) он относится отрицательно.

Письмо для него перво-наперво — вариант интимного общения. Но не только. Письмо закрепляет в самом первом приближении те мысли и образы, которые потом, если надобность возникнет, можно будет вплести в ткань самостоятельной художественной вещи. С такой точки зрения, письмо примерно то же, что эскиз или подмалевок у живописцев.

Так, письменные отчеты друзьям из кругосветного плавания помогли ему когда-то при работе над «Фрегатом». Из пространного письма 74-го года (к Александру Пыпину) возьмет он основную идею будущих воспоминаний об университете. А письмо того же года (к Константину Кавелину) станет отправной точкой для «Заметок о личности Белинского».

Со временем пригодились Гончарову и соображения о языке и национальности, высказанные в письме к Софье Андреевне Толстой. Дело в том, что примерно с осени 1876 года романистом вновь активно начинает интересоваться его бывшее высокое начальство по Министерству внутренних дел — Петр Валуев, ныне министр государственных имуществ. О важном этом сановнике давно уже поговаривали, что он слегка балуется литературой (в молодые лета даже стихи пописывал). И вот оказалось, что разговоры подобные вовсе не сплетня, что Валуев действительно всерьез вознамерился стяжать, кроме лавров политических, еще и беллетристические. И что именно Гончарова избрал он на роль первого критика своего только что законченного романа под названием «Лорин».

Роль непростая, как убедился Иван Александрович, добросовестно ознакомившись с рукописью. Роман был из

великосветской жизни. В нем фигурировали блестящие красавцы офицеры из благородных фамилий, столь же блестящие дамы-аристократки; в восторженных тонах изображался парад привилегированных воинских частей; описывались грациозные швейцарские и итальянские пейзажи и изысканные объяснения в любви главного героя и героини на фоне этих пейзажей.

Гончарову пришлось проявить немало изобретательности, чтобы в письменном мнении о прочитанном не оскорбить лучших чувств самоуверенного романиста и в то же время дать ему ясно понять, что «Ларин» — сочинение со множеством изъянов: высокомерная сосредоточенность на одних лишь лицах избранного общества, бедность изобразительных средств, а отсюда банальность ряда сцен, обилие заимствований. Будущие критики «Лорина», предостерегает Гончаров, пожалуй, укажут на автора «Войны и мира» и «Анны Карениной»; он-де, «зная отлично высший круг, не уродует русскую жизнь, отрезывая умышленно все прочие слои…». Иногда Гончарову с трудом удавалось пригасить в своем разборе иронические нотки. Но кое-что все равно прорывалось. «Глядя на парад из толпы, — писал рецензент, — из-за крупов жандармских лошадей (как я бывало), под тучами пыли, при топоте коней и гуле нестройных кликов — нельзя представить себе ничего того, что вдруг развертывает перед глазами картина автора; нельзя угадать, какое гармоническое, дышащее своеобразной жизнью целое образуют эти бесконечные линии живых существ…»

Взгляни Валуев потрезвей на такие строки, мог бы и обидеться. Но он требовал от Гончарова новых критических впечатлений, из которых воспринимал, кажется, лишь комплиментарные места.

Все это исподволь начинало тяготить Ивана Александровича. К тому же Валуев просил его присутствовать на публичных чтениях (разумеется, также в обществе избранных лиц), и чопорная, далекая от искренности обстановка этих чтений особенно утомляла писателя. А отказать Валуеву у него, признаться, не хватало духу.

Однако нет худа без добра. Досада и раздражение, скопившиеся в душе Гончарова, вдруг разрешились нежданным озарением его творческой фантазии. А почему не откликнуться ему на «Лорина» как художнику?!

Сюжета и искать не нужно было! Только изобрази в подробностях обстановку одного из чтений, дай выговориться присутствующим без обиняков. Правда, для этого надо сделать состав слушателей менее рафинированным, чем в натуре. Пусть на вечере присутствуют не только именитые особы, но и публика

попроще: журналист, профессор, юный студент, генерал, затем какой-нибудь строптивый старик, еще живущий по заветам Булгарина и Греча, да, наконец, пусть случайно затешется в эту компанию и нигилист из пишущих…

Все действие состоит из двух частей: собственно чтения и обсуждения. Прочитав роман и выслушав лестные отзывы, автор раскланивается и уезжает почивать. Хозяин дома, известный в Петербурге хлебосол, приглашает всех отужинать. Вот тут-то, за щедро сервированным столом, и разгорится сыр-бор!

Тон, конечно же, задает нигилист. О, этот малый настоящий ухарь! Даже фамилия у него — Кряков. Еще во время чтения он прятал ухмылку в нечесаную бороду, беспокойно ерзал на своем сиденье и все норовил задеть ногой за каминные щипцы, чтоб они лишний раз лязгнули о чугунную решетку. А уж теперь-то, за ужином, осушив подряд несколько стаканов дарового вина, подкрепившись как следует стерлядью, он и совсем вошел в раж. Перво-наперво пристал к Красноперову — поклоннику Булгарина и Греча, обозвал старика Фамусовым, чуть не до белого калении довел его своими репликами по поводу допотопных времен «старого и нового слога». О прослушанном романе бросил две-три уничижительные фразы, уличив автора в художественной неправде: все одна знать торчит и любуется собою, можно подумать, что иных сословий и нет в стране… Попутно царапнул и Пушкина. «Нашли у кого правду! прочтите-ка, например, хоть *«В вратах эдема ангел нежный»* — как это правдоподобно!» Зато похвалил Гейне и тенденциозный роман какого-то современного француза (хотя сам и не читал романа этого)… Впрочем, «и во Франции тоже немало слюняев!». За столом кто хихикает, кто откровенно смеется, кто осуждает говоруна. А он, осадив наконец Красноперова, перекинулся на профессора, лягнул и этого как следует — за обтекаемую и выспреннюю эстетическую фразеологию. Зато уж и у самого Кряжова речь — заслушаешься! — в лучшем нигилистическом ассортименте: «какую вы дичь порете!», «подите вы со своими «сладкими звуками и молитвами!», «что вы мне тычете в глаза моими словами?» и т. д. и т. п.

Вообще многошумная, то и дело грозящая разразиться скандалом дискуссия неоднократно возвращается к вопросу о языке. Эта тема, как и другие, подана Гончаровым, так сказать, на разных уровнях серьезности. К примеру, в устах генерала она звучит слегка фельетонно: «Возьмешь книгу или газету — и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь! Объективный, субъективный, эксплоатация, инспирация, конкуренция, интеллигенция — гак и погоняют одно другое!

Вместо швейцара пишут тебе портье, вместо хозяйка или покровительница — патронесса! Еще выдумали слово «игнорировать»!

Если, по мнению генерала, в порче языка виноваты литераторы да журналисты, то Кряков переносит всю ответственность на высшие классы, которые из кожи лезут вон, чтобы не походить на народ. «Разрушают даже последнюю связь с ним — язык; стараются быть ему непонятным, говорят по-французски, по-английски, всячески, лишь бы не по-русски».

Еще один участник спора, благообразный старик по фамилии Чешнев, с грустью замечает: «В этом смысле мы все, пожалуй, давно не народ. И вы тоже, — обращается он к Крякову, — одеты вы не по-русски и употребляете много нерусского и кроме языка. Да и русский язык, которым вы говорите, не тот, которым говорит народ; он вас не поймет, а вы на его языке говорить не умеете».

Кстати, этот персонаж гончаровской повести — единственный по-настоящему сильный оппонент Крякова; последний даже начинает испытывать нечто вроде уважения к Чешневу.

Запомним внешность маститого старца: *«Чешнев* сидел на стуле, скрестив руки на груди, положив ногу на ногу.

У него были редкие и мягкие седины, благодушное, почти женское выражение лица и умные, проницательные глаза, которые иногда прищуривались, иногда покрывались задумчивостью. Закинув немного назад голову, с большим, открытым лбом, он слушал внимательно чтение, пак будто вокруг никого и ничего не было».

Именно этому персонажу автор доверяет произнести самые значительные за весь бурный вечер монологи (в первом из них мы без труда обнаружим отголосок гончаровского письма к С. А. Толстой).

«Народность или, скажем лучше, национальность, — говорит Чешнев, — не в одном языке выражается… Она в духе единения мысли, чувств, в совокупности всех сил русской жизни! Пусть космополиты мечтают о будущем отдаленном слиянии всех племен и национальностей в одну человеческую семью, пусть этому суждено когда-нибудь и исполниться, но до тех пор, и даже для этой самой цели — если б такова была, в самом деле, конечная цель людского бытия — необходимо каждому народу переработать все соки своей жизни, извлечь из нее все силы, весь смысл, все качества и дары, какими он наделен, и принести эти национальные дары в общечеловеческий капитал! Чем сильнее народ, тем богаче будет этот вклад и тем глубже и заметнее будет та черта, которую он прибавит к всемирному образу человеческого бытия».

В сумятицу словесной перепалки Чешнев стремится внести мысль, которая смогла бы противостать идейной разобщенности, царящей здесь, за столом, и отражающей разобщенность всей нации. Мысль, которая бы возвысила любого из присутствующих в своих глазах и глазах соседей. «Когда все тихо, покойно, — продолжает он, — все, как муравьи, живут, работают, как будто в разброд; думают, чувствуют про себя и для себя; говорят, пожалуй, и на разных языках; но лишь только явится туча на горизонте, загремит война, постигнет Россию зараза, голод — смотрите, как соединяются все нравственные и вещественные силы, как все сливается в одно чувство, в одну мысль, в одну волю — и как вдруг все, будто под наитием св. Духа, мгновенно поймут друг друга и заговорят одним языком и одною силою! Барин, мужик, купец — все идут на одну общую работу, на одно дело, на один труд, несут миллионы и копейки… и умирают, если нужно — и как умирают! Перед вами уже не графы, князья, военные или статские, не мещане или мужики — а одна великая, будто из несокрушимой меди вылитая статуя — Россия!»

Нужно помнить, что строки эти писались в 1877 году, когда Россия действительно поднималась для великого патриотического дела — освобождения братских славянских народов Балканского полуострова от многовекового ига поработителей.

Написанный живо, вдохновенно, будто на едином дыхании, с юмором, перемежающимся патетикой, «Литературный вечер» (так Гончаров назвал свою повесть) вышел далеко за рамки первоначально намеченной автором цели. Вместо реплики на посредственный роман сановитого дилетанта — мастерский художественный анализ литературно-общественных настроений 70-х годов.

Гончаров вывел в повести и самого себя — в образе апатичного беллетриста Скудельникова. (В фамилии обыгран библейский «сосуд скудельный», то есть гончарный. — *Ю. Л.*) В продолжение всего спора Скудельников сонно помалкивает и лишь под конец, когда хозяин спохватился и предложил ему высказаться о романе, заявляет:

«— Я не вам, я самому автору скажу.

— Что скажете?

— Все, что здесь происходило и что говорили о его романе…

— Нельзя: мало ли что тут говорили. Он обидится».

Но Скудельников — Гончаров сказал, и сказал действительно все. Правда, в письме к Валуеву от 27 декабря 1877 года автор «Литературного вечера» еще считает, что эта его вещь вовсе не для печати; в противном случае были бы убраны намеки на

произведение, на создателя «Лорина», «на покойного Ф. И. Т.».

Кто такой этот «Ф. И. Т.», общий знакомец Гончарова и Валуева? Вряд ли можно усомниться в том, что речь идет не о ком ином, как о Федоре Ивановиче Тютчеве: среди друзей и знакомых писателя, среди его сослуживцев по Министерству внутренних дел больше нет человека с такими же инициалами.

Неизвестно, в какой степени Гончаров убирал личные намеки из текста «Литературного вечера». Очевидно лишь, что Тютчеву при этом «повезло»: черты его облика при чтении повести не только угадываются, они собраны в запоминающийся, выпуклый образ. Внешность, темперамент, интонации, возвышенная манера речи поэта, наконец, характерные грани его мировоззрения — все это придано старцу Чешневу (даже фамилия персонажа представляет собой скрытую рифму к фамилии прототипа).

Можно, следовательно, предполагать, что и Тютчев и Гончаров присутствовали вместе на одном из первых прослушиваний «Лорина» (или его фрагментов), состоявшемся за несколько лет до того, как Иван Александрович задумал свою повесть, и незадолго до смерти поэта.

Так «Литературному вечеру» суждено было стать единственным в своем роде произведением, в котором автор-современник, один из выдающихся прозаиков России, любовно запечатлел облик замечательного русского лирика-мыслителя…

Написанная с поистине юношеским искрометным задором, повесть отличается свежестью и совершенством формы, экономным расходованием образных средств, разнообразием и мастерской лепкой выведенных типов. Голос каждого персонажа самостоятелен, индивидуален. В горячке спора голоса схлестываются, теснят друг друга. Несмотря на внешнюю хаотичность, неуправляемость этого многоголосия, постепенно проступают наружу главные силовые линии полемики. Но ни одному из голосов не суждено возобладать. Спор остается открытым.

Этой своей особенностью гончаровская повесть перекликается с атмосферой романов Достоевского, в которых, как известно, ситуация «сбора всех» и «спора всех,» нашла свое предельное, образцовое для всей русской литературы XIX века выражение. В «Литературном вечере» эта ситуация возникает независимо от поэтики романов Достоевского, но нагрузку несет ту же: спор максимально выявляет своеобразие и «правду» каждого из участвующих в нем лиц, проблемы ставятся не с тем, чтобы их моментально решить, а чтобы хотя отчасти осознать их серьезность и неотменяемость. И потому ставятся они с заглядом вперед на века, даже тысячелетия.

Предельное нагнетание идейных страстей разрешается в повести Гончарова резким, прихотливым сюжетным сбоем (позаимствованным из театрального, комедийного репертуара). Гости узнают, что нигилист Кряков не нигилист вовсе, а известный актер, которого юный студент, племянник хозяина дома, попросил выступить в амплуа «отрицателя».

Тем самым автор дает понять, что, по его разумению, времена «базаровых» и «волоховых» составляют уже прошедший день русской истории. Но если так, то кто же пришел на смену бунтарям 60-х годов? На этот вопрос в «Литературном вечере» нет отчетливого ответа. Ясно лишь, что *кто-то будет*, какая-то сила грядет. Недаром то и дело звучит в повести тема социального неблагополучия, тема «гражданских бурь», которые — рано или поздно — могут разразиться над страной.

«Я на днях встретил Гончарова, — писал в апреле 1876 года Федор Достоевский своей корреспондентке Х. Д. Алчевской, — и на мой искренний вопрос, понимает ли он все в текущей действительности или кое-что уже перестал понимать, он мне прямо ответил, что многое перестал понимать. «Мне дороги мои идеалы и то, что я так излюбил в жизни, — прибавил он, — я и хочу с этим провести те немного лет, которые мне остались, а штудировать этих (он указал мне на проходившую толпу на Невском проспекте) мне обременительно, потому что на них пойдет мое дорогое время…»

Действительность и вправду все более озадачивала стареющего писателя, все заметнее переставала быть в его восприятии «текущей», делалась какой-то бегущей, едва ли не мчащейся. Это бросалось в глаза буквально на каждом шагу. Город все стремительнее рос вверх, на этаж, на два, на три надстраивались целые кварталы старых, «александрийских.» и «николаевских», жилых домов. Вновь строящиеся здания подымались выше церковных колоколен. Один такой доходный дом затеяли громоздить на тихой Моховой, почти напротив гончаровского жилья. Был он несуразен — высотищей и архитектурной вычурностью мавританских каких-то украшений, и с утра накрывал тенью пол-улицы. На Невском появились громадные витрины в подражание парижским.

Но особенно буйно менялись окраины Петербурга. Где тихие улочки, наподобие деревенских., с гусями *и* козами? Где речушки, пруды и перелески? Поднялись на тех местах высокие заборы, а за ними — корпуса красного кирпича, а над ними — темно-бурые трубы. С южной стороны и в северо-восточной, из-за Невы, наносило на город копоть, с каждым годом все заметнее. Она въедалась в желтые и розовые фасады, придавала угргомовато-

чахоточный оттенок пышной лепнине карнизов.

По реке сновали пароходы, взывая сипло. В газетных типографиях по ночам гудели машины. Что ни год, открываются новые газеты, газетки, газетенки, журналишки — успевайте только вертеться, господа цензоры.

А кое-где в мире, оказывается, уже иные заботы беспокоят ловких издателей: надо, мол, щадить читателя, пусть поменьше шелестит страницами пухлых, романов. Однажды Гончарову прислали томик «Обломова», изданный в Париже на французском языке. И на вид и на вес книжка показалась странно тощенькой. А полистай ее, писатель просто в ярость пришел. Оказывается, напечатана только первая часть романа (она-де, по мнению переводчика, лучше других), а остальное содержание бегло пересказано. Какие, однако, шустрые господа! Так они, глядишь, со дня на день всю мировую литературу заменят своими вольными пересказами!

Разнобой критических мнений о его романах, особенно о последнем, опасность быть неверно понятым и истолкованным, тревога за будущую, посмертную судьбу своих книг (если при живом авторе начинают беззастенчиво кроить их на свой аршин, то чего же дальше ждать?!) — все это побуждало Гончарова найти какую-то приемлемую литературную форму для оценки собственной многолетней писательской работы. Наконец в 6-м номере журнала «Русская речь» романист публикует большую статью, озаглавленную «Лучше поздно, чем никогда». Статья эта, поясняет он в предуведомлении, писалась в три приема, на протяжении почти десяти лет.

«Я вижу не три романа, а один», — говорит Гончаров об «Обыкновенной истории», «Обломове» и «Обрыве». Созданные в разные десятилетия и отражающие разные моменты становления русского общественного самосознания XIX века, романы, на его взгляд, пронизаны одной общей идеей. Художественному исследованию подлежат взаимоотношения старых, отживающих, и нарождающихся, новых, пластов самосознания. Отсюда и преемственность отдельных героев о героинь. Деловые черты Адуева-старшего «перенимает» Штольц; эмансипированное поведение Ольги Ильинской имеет вполне внятное подобие уже в некоторых поступках Наденьки из «Обыкновенной истории»; обломовское начало своеобразно отзывается в Райском, так же как в Адуеве-младшем есть некоторые грани образа Ильи Ильича.

Гончаровская идея о художественном и мировоззренческом единстве романного триптиха оказалась чрезвычайно плодотворной для будущих исследователей.

Однако аналитическая мысль Гончарова (случай весьма

распространенный в литературной практике!) в статье «Лучше поздно, чем никогда» далеко не везде справилась с богатством его же собственных, художественных идей: некоторые параллели между романами искусственны или спорны; выводам иногда не хватает социальной четкости; нет попытки рассмотреть контекстно проблематику «Фрегата «Паллада» и «Обломова».

Вместе с тем в статье содержатся целые залежи эстетических наблюдений — о природе реализма, о мировых типах художественной литературы, о творческой фантазии, вымысле. Гончаров резко высказывается против тенденций французской натуралистической школы, представителей которой именует «неореалистами».

Вторая половина 70-х годов вообще оказалась плодотворной для него — в смысле количества и основательности выступлений по литературным вопросам. Напомним, что статья «Лучше поздно, чем никогда» непосредственно соседствует не только с «Литературным вечером», но и с «Необыкновенной историей» (1878). В это же время пишутся и «Заметки о личности Белинского» (опубликованы в 1881 году), в которых, кроме чисто мемуарного материала, разбросано немало эстетических наблюдений.

Высказываниями о литературном труде, о десятках произведений русских, и зарубежных писателей пестрят и частные письма Гончарова этой поры. Иногда это подробнейший анализ (как в письме к писателю Боборыкину о театре). Чаще — летучие реплики. Романы современного немецкого прозаика Шпильгагена он иронически оценивает как «трактаты о «злобе дня». «Бювар и Пекюше» Флобера и «В семье» Гюисманса, по его мнению, — «доказательство бессилия одной техники». «За что вы меня наказали этой книгой!» — шутливо бранит свою корреспондентку, приславшую ему последний роман госпожи Андре Лео. Еще одного французского модного беллетриста (Арсена Гуссе) характеризует гак: «Бульварный ум, бульварные страсти, бульварное творчество!»

И на этом фоне: «Я недавно перечитал кое-что у Диккенса: какая громадная фигура!»

Но и круг чтения — сравнительно с временами молодости или годами цензурной службы — сейчас заметно сужается.

В 1881 году Иван Александрович и вообще добровольно отказался от своей домашней библиотеки (несколько сотен книг и журналов), оставив для себя лишь самые духовно необходимые тома.

Отказ сформулирован в письме к председателю комитета

Симбирской общественной библиотеки имени Карамзина Александру Языкову (племяннику поэта Николая Языкова).

«В качестве гражданина г. Симбирска, — изъясняется Иван Александрович в стиле официальных документов, — я считал своим долгом все книги, какие у меня есть, предоставить в пользу означенной библиотеки, и с этой целью сделал распоряжение, чтобы, по смерти моей, они были препровождены туда.

Но рассудив, что до тех пор книги могут как-нибудь утратиться или разрозниться, я признал возможным предложить их ныне же, при жизни моей…»

«Книг немного у меня, — продолжает Гончаров, — ибо я, по размерам своей квартиры, никогда не пытался обзаводиться библиотекой: от многих лет осталось сотни полторы или две».

Но в письме, посланном тому же А. Языкову месяцем позже, содержится уточнение относительно количества «приносимых» книг: «350 томов, да периодических, издании за многие годы наберется около того же количества».

Не придавая никакого «громкого» значения своему поступку, Иван Александрович еще в первом письме сделал характерную приписку: «Я просил бы покорнейше не заявлять об этом (как обыкновенно делается) в печать, чтобы не важное «приношение» не разрослось в газетных слухах до громкого слова «пожертвование», которого в сущности нет».

Он собственноручно составил реестр высылаемым книгам и в очередном послании к Языкову уведомил его: «Точно так же и на будущее время, если будут какие-либо книги поступать в мою собственность, я буду высылать их с почтою же в Карамзинскую библиотеку».

Из скромности Гончаров нигде не упомянул, что отдает в Симбирск ценное собрание автографов русских писателей и поэтов XIX века: здесь книги с дарственными надписями ему от Островского, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Писемского, Тютчева, Фета, Полонского, А. Толстого, В. Боткина, В. Соллогуба, А. Никитенко, А. Майкова, Панаева, Бенедиктова, философа В. Соловьева и многих других[14].

Десятки надписей, почерков, неповторимых, как жизнь тех, кому они принадлежат. Или принадлежали. Да, слишком о многих своих современниках Ивану Александровичу приходится теперь думать и говорить в прошедшем времени.

В 1877 году не стало одного из самых давнишних ею друзей — Александра Васильевича Никитенко. В том же году умер и Некрасов, за несколько месяцев до кончины подаривший Гончарову свои «Последние песни». Незадолго до этого Иван Александрович упросил больного поэта, чтобы тот позволил

Крамскому написать его портрет.

И женщины, которая ранящей своей красотой когда-то внесла такую разрушительную бурю в его сердце, — и ее, Елизаветы Толстой, в том же самом году не стало.

И с Алексеем Константиновичем Толстым — вот уж в ком, казалось, здоровья припасено на целый век! — никогда больше не побеседовать в гостеприимной квартире с окнами на Неву.

Может быть, еще поэтому так решительно, разом расставался Гончаров с книгами своей библиотеки: очень уже тяжело было иметь постоянно перед глазами эти вещественные напоминания о тех, кто ушел до него.

…А в январе 1881 года из Москвы пришло сообщение о смерти Алексея Феофилактовича Писемского. Его, пожалуй, чаще, чем кого-либо другого из писателей, опекал Гончаров, будучи цензором. «Помните, бывало, — написал он однажды Писемскому, — в случае Ваших сомнений (например, насчет «Плотничьей артели», «Взбаламученного моря») о том, пропустят ли, я шел к министру, А. С. Норову, Е. П. Ковалевскому и потом к П. А. Валуеву и упрашивал их, прослушать Вас самих… При этом происходило всегда то, что должно было происходить, т. е. они усматривали сами, что для «отечества опасности никакой не было», «доверия ни к кому не колебалось», а только литература приобретала даровитое произведение, репертуар обогащался новой оригинальной пьесой, и все были довольны…»

Было. Бывало. Были. Был… Куда деться теперь Ивану Александровичу от унылых этих глаголов? А ему-то самому сколько еще *быть*?

И вот не успел свыкнуться с вестью о Писемском — всего-то неделя прошла, — как еще одно древо русского леса, высокое, близкое тучам и молниям, качнулось суровой кроной и поплыло, поплыло, будто цепляясь всем существом одновременно за две родины — земную и небесную…

Достоевский.

МОХОВАЯ, 3

Но нет, самому Гончарову еще никак нельзя было умирать!

Получилось так, что в 1878 году у него, коренного холостяка, ни с того ни с сего завелось: семья — не семья, приют — не приют, а что-то смахивающее одновременно и на семью и на приют.

В то самое лето безнадежно заболел, а затем и скончался в гончаровской квартире на Моховой слуга писателя немец Карл Трейгут, от которого остались жена и трое детишек, мал мала меньше: Лене, младшенькой, всего три года; старшей, Сане, семь; мальчику Васе — пять.

Иван Александрович и до этого был ласков к ребятам, особенно из всех выделял Сашу, она в его любимицах родила. Но одно дело побаловать чужих детей, позабавляться с ними изредка, под настроение, посмеяться их шалостям… Так-то кто не умеет!

И другое — теперь. Ну куда, спрашивается, их деть, куда пристроить? Похоже, не одну ночь ворочался он бессонно в своей постели, не в силах отвязаться от одних и тех же, назойливо лезущих в голову мыслей. Всю жизнь были при нем слуги. Кто получше, кто похуже, разные, каждый со своими достоинствами и недостатками, а то и причудами. И это вошло уже в его плоть и кровь — иметь слугу, настолько вошло, что и диковато было подумать о том, как на старости лет останется он вдруг без слуги… Завести сейчас нового человека и притом оставить вдову с детьми тоже невозможно. Это значит удвоить расходы. Да и где поселишь еще одного взрослого жильца?.. Рассчитывать на то, что вдова Трейгута, Александра Ивановна, сможет полностью заменить покойного мужа, тоже не приходилось. Женщина она добрая, работящая, но сама часто болеет, и тогда нужно кому-то ухаживать и за нею и за детьми… А о них-то и подумать страшно! Саню пора уже грамоте учить. И всем то и дело справлять одежонку — ох как она, оказывается, на ребятах быстро горит! И аппетит у них с каждым годом будет прибавляться. А болезни детские — одни они чего стоят… И ведь от всех этих забот он никак не сможет быть теперь в стороне…

Одна старинная приятельница, которой он недавно пожаловался на свои обстоятельства и сообщил, что собирается все же оставить семью слуги при себе, сказала, что видит в таком поступке настоящее самоотвержение, деятельное проявление любви к ближнему. «Если взглянешь поглубже, то только для этого одного и стоит жить».

Вспомнил ли Иван Александрович свою безотцовщину и пример крестного, моряка Трегубова, вспомнил ли героя своего незабвенного, Илью Ильича, который под старость пригрел возле себя детей вдовы Пшеницыной, но однажды он собрался с духом: пусть живут Трейгуты при нем, на Моховой его квартире, как и прежде жили, а от слуги он — теперь уже навсегда — откажется.

И тут вновь — в который раз! — не дожидаясь зова, поспешили к нему на помощь добрые его феи, сестры Никитенко. Этим летом он то и дело советуется со старшей из них, Екатериной (Софья до осени в отъезде), о том, куда лучше определить на учение Саню. Екатерина Александровна рекомендует ему Ивановское женское училище, при котором имеется гимназия с подготовительным классом.

Его сильно смущает дороговизна обучения. Только первый годовой взнос — 300 рублей! Как тут не впасть в панику?.. Можно, конечно, себя в чем-нибудь ограничить, например, отказаться от сигар и вместо них курить «какую-нибудь сушеную репу или капусту… Жаль, что я не пью вина, а то бы я охотнее бросил его, нежели сигары».

На чем бы еще сэкономить? На кофе? Но кофе он тоже давно перестал употреблять, пьет только чай… И на одежду расходы совсем теперь невелики. И за границу шесть лет как перестал ездить. В теплые месяцы взял за правило совершать многокилометровые прогулки по набережным, предпочительно в послеобеденное время. Либо изредка съездит на пароходике в Петергоф, на Елагин. Так на чем все же сэкономить?

После некоторых колебаний наконец решается и подает в канцелярию Человеколюбивого общества заявление с просьбой поместить девочку в училище, дав обязательство «ежегодно вносить установленную плату».

В эти же дни Гончаров уступает крупному петербургскому книгопродавцу Ивану Глазунову право на издание «Фрегата «Паллада»; полученной суммы как раз будет достаточно, чтобы «обеспечить образование Сани до конца».

На очереди новые беспокойства: пройдет ли она приемные испытания? Радостная весть: принята! Но сразу же подкатывают очередные волны забот. Каждую субботу девочку надо забирать домой. Иногда из-за болезни ее матери в училище приходится ездить ему. А по воскресеньям он помогает Сане готовить уроки: письмо, счет, закон божий…

Трудна, во многом непривычна для Гончарова атмосфера этих месяцев. Характер его раздумий о случившемся, поиск глубинных обоснований взятой на себя воспитательной миссии отражены в его большом письме к Екатерине Никитенко от 4

июня 1878 года (то есть за два почти месяца до поступления девочки в училище; корреспондентка его живет в это время на родительской даче в Павловске, при ней находится и Саня)[15].

«У меня опять накопился целый пакет, — начинает Иван Александрович, — щетки, губки, вода для чистки волос Сани, — и между прочим кое-какие книги — но я не знаю, когда мне удастся взять с собою. Матери ее некогда поехать в эту минуту, а мне надо прежде поехать в Царское Село и уже оттуда к Вам — поэтому с пакетом туда, да потом в Павловск будет неудобно. Но у ней все нужное есть — поэтому она подождет. Если в пятницу или субботу я и загляну, то с пустыми руками, да и to не наверное, ибо хотя от погоды мне и легче, но немного: только не гнет в дугу — но боюсь, что это опять до первого дождя. К тому же я продолжаю пить и воды, следовательно, разъезжать мне не совсем свободно».

За строками проглядывает какая-то неуверенность (ехать — не ехать?), какое-то беспокойство, почти раздражение. Чувствуется, что Гончаров с немалым усилием осваивает новые свои обязанности; на каждом шагу они ставят его в тупик; он теряется и не может решиться сразу на тот или иной вариант.

Но стоит ему от перечисления бытовых обстоятельств перейти к *своей*, волнующей его сейчас теме, как резко меняется и тон повествования.

«Между тем, чтобы не забыть при свидании — я теперь же хочу сказать несколько слов в дополнение к тому разговору, который завязался между мною и Вами на пути к вокзалу — и не кончился. Я очень рад, что Вы затронули этот предмет, а у меня давно лежало на душе высказать мои мысли Вам — так как Вы с некоторых пор взяли на себя величайшую и благороднейшую из обязанностей человека — руководить воспитанием юношества в раннем возрасте. Едва ли найдется кто-нибудь способнее Вас ввести в жизнь ребенка, девочку. Простите, если я выскажусь несколько *против* совместного воспитания с девочками чужих, мальчиков, не братьев. Я — как музыку слушал Ваши слова о том, что единственный и лучший путь к тому — любовь к детям. Я всегда это проповедовал всем, кто хотел меня слушать, и между прочим родителям моей любимицы Сани, упрекавшим меня, что я балую ее, и также ее брата и сестренку.

Я доказывал и доказываю, что баловство со всех сторон, и притом глупое, é la madame *Простакова в Недоросле,* конечно губительно, но умное, тонкое и доброе баловство с одной какой-нибудь стороны необходимо: оно и не баловство, а любовь.

Отец у Сани был равнодушный и грубоватый отец: дети были ему в тягость, он их гонял от себя прочь, а иногда и пощелкивал.

Мать — умная, попечительная, исполненная любви к детям мать, но такой любви, которую они оценят в зрелом возрасте. Она им варит суп, шьет, моет, работая с утра до вечера — и некогда и нечем ей баловать их, даже не до ласк. Л луч явной теплой любви откуда-нибудь да должен падать на детские головки, и как солнечный луч — греть их на заре жизни, не потрясая нерв ранними бурями, давая развиться зародышам телесных, умственных и нравственных сил! Какие же добрые и нежные руки нужны — именно в самом раннем возрасте — чтоб приготовить из детей — не забитых и загнанных трусов или приниженных, оскорбленных, малодушных, фальшивых, людей, а настоящих, честных., мужественных, стойких в жизни, и притом добрых, приученных к исполнению всякого долга — мужчин и женщин? Ваши руки, сколько я вглядываюсь — именно такие. Мне кажется, Вы угадали Ваше призвание: и если из Ваших рук выйдут хоть два — три, четыре (чем больше, тем лучше конечно) ребенка, — Ваша задача жизни выполнена со славою. У Вас — как я вижу — все делает любовь: она помогает и науке, сохраняет и здоровье, развивает, растит, заменяя собою все, даже розгу, ибо любовь — всемогуща».

Здесь важно уточнить, какой именно смысл вкладывает Гончаров в понятие «любовь». Смысл этот, как увидим дальше из письма, целиком и полностью вытекает из объективно-идеалистических представлений, характерных для мировоззрения стареющего писателя. Причем гончаровский идеализм вовсе не восходит к какой-либо из систем новоевропейской философской мысли (кантианство, гегельянство и т. д.), а ориентируется на догматику и этику православно-христианского учения. Как известно, в свете этой этики «любовь» осознается не как естественно-стихийная привязанность человека к человеку (более или менее корыстная) и не как самодеятельное альтруистическое, филантропическое поведение, но как объективный, независимый от человеческой воли закон бытия («Бог есть любовь»), который распространяется на всю сотворенную природу, в том числе и людскую природу. Этот закон универсален, но — в условиях исторической повседневности — не всемогущ, поскольку здесь он вступает в соприкосновение с другим божественным законом — свободы воли. Собственно, свобода воли — в духе подобного мироотношения — и есть предельное проявление божественной любви к человеку, дарование ему полной духовной самостоятельности, в том числе, наконец, и свободы *от* любви, свободы совершать зло. Вот почему всякому человеку приходится заново, с азов начинать свой путь к стяжанию любви. Ей надобно учиться, к ней надо восходить по ступеням. Педагогика любви, по

разумению Гончарова, состоит в том, что к *духу* великого бытийного закона человек движется через постижение *буквы* этого закона. Идеальное осваивается с помощью материального, находящегося рядом, *обрядового.*

«Вас очень озабочивает, — продолжает он свой письменный монолог, — главная и основная сторона — развитие и поддержание в детях, религиозного чувства. С ужасом видишь, что нередко добрые, заботливые, даже сами в душе религиозные родители — в деле неослабного поддержания религии в детях бывают как-то слабы, равнодушны (tiedes[16] вернее выражает по-французски), думая, что после, когда дети созреют, так настанет время воспринять — будто бы прямо *дух* религии, минуя *букву,* а то-де из них, пожалуй, выйдут *клерикалы,* начнут таскаться по церквам, ставить свечи, икать и воздыхать о тяжких грехах, есть постное и это считать за религию (и т. п.)…

Я — идучи с Вами после дождя, по лужам, второпях коснулся этого слегка и был счастлив тем, что Вы разделяете мои мысли. Я, сколько помню, сказал, что в *дух* закона мимо *буквы* прямо попасть нельзя, и что не приучать детей к познанию и восприятию истин Евангелия путем правильного и непрерывного изучения свящ. истории догматов церкви, с применением к делу и к жизни — т. е. с посещением церкви — значит отводить мало-помалу детей и от *духа.* Мы созданы не из одного духа, но и материально, следовательно — и способ развития религиозного духа в начале также идет материальным путем т. е. рядом образов, воплощений, впечатлений чувственных и т. д. И потом все это в совокупности и образует в душе ту преобладающую над всеми стихию, которая и есть религия, конечная цель которой — *поклоняться Богу в духе и истине.*

Как же миновать букву!»

С точки зрения учения, которое писатель исповедует, он в процитированном отрывке не совершает, пожалуй, никакого открытия и не выходит за рамки ортодоксии. Несмотря на свою ярко выраженную религиозную окраску, размышления Гончарова о соотношении буквы и духа в деле обучения могут представить и самостоятельный интерес. Еще больший интерес у современного читателя, которому чужды проблемы, волновавшие в данном случае писателя, должно бы вызвать следующее обстоятельство. В духовном самочувствии Гончарова явно дает о себе знать оттенок какой-то ущемленности. Равнодушие к вопросам веры он считает чуть ли не знамением времени. А равнодушие освобождает почву для открытого неверия.

Не странно ли слышать эти потки религиозного пессимизма, когда речь идет о временах столетней давности?

И все же у Гончарова, видимо, были немалые основания для пессимизма такого рода.

«О неверующих, здесь нет речи, — продолжает он в том же письме. — Что мне и Вам до них за дело?» Но, кажется, дело все-таки есть, потому что в следующей жо фразе автор письма вновь касается больной темы: «Я знаю, что они давно надо мной смеются. Один из новых людей в лицо обозвал меня и *Веру* (одну из героинь *Обрыва)* неразвитыми.

Пусть! Ведь не веровать — легче всего. Неверие ни к чему не обязывает, ничего не налагает, никакого долга, никакой работы над собою. Легче всего взять шапку, выбежать на улицу и сказать — «я не верую» — и потом плыть по ветру, куда потянет, есть не заработанное, по признавать никого и ничего. Таково большинство неверующих шалопаев, лентяев, недоучек и т. д. Не удалось — они стреляются: им и жизнь ни по чем. Их не учили добрые родители *букве:* это оттого вначале, а потом помогли уже умники неверующие, скептики, натурфилософы и просто философы…»

По своему пафосу эти строки ближе всего, пожалуй, к публицистическим высказываниям Достоевского. Вспомним, что автор «Бесов» и «Братьев Карамазовых» в те же годы с не меньшей тревогой и болью писал об эпидемии самоубийств — свидетельстве духовной опустошенности, оставленности, свойственных части молодежи.

Критикуя новейших натурфилософов и философов, Гончаров приходят к парадоксально заостренному выводу: «Мне так странна и непостижима эта слепота гордых умов, что я серьезно иногда думаю, глядя на всякого усердно молящегося простого мужика или бабу, что тот и другая умнее, например, Шопенгауэра, Гартмана и других изобретателей систем для объяснения начала всех вещей. Право умнее! Они, кажется, понимают, что до тех пор, пока не открыто будет человеку совершенное познание всего — и начала и конца вещей — до тех пор он имеет одного только руководителя: чувство, религию…

Впрочем, величайшие из мыслителей, истинные гении — и верили прежде и теперь веруют. Можно указать на примеры первых умов, натуралистов, мыслителей. Это видно и из их сочинений, хотя они почти не говорят об этом. Они глубоко проникают в материю создания, исследуют ее всячески, делают великие открытия, но на Творца не посягают. Посягают только прихвостни науки, лишенные самого священного, творческого огня, да своевольные неучи, а их, к несчастью, легион».

Как видим, религиозный пессимизм Гончарова коренится гораздо глубже, чем в настроениях минуты. Реакция писателя на

симптомы массового атеизма предельно болезненна. По его глубокому убеждению, лишь крепкая, буквой и духом испытанная вера может противостоять распаду общественных устоев. Так снова разговор возвращается к теме воспитания.

«Сел я Екат. Алекс. написать Вам несколько слов л вот как расписался. Причиной этому конечно — Ваша и моя общая симпатия к детям. Не думайте, прошу Вас, чтобы сообщая Вам о том, как мне приятно, что я схожусь с Вами в мыслях о некоторых важных сторонах воспитания, я вызван был к тому эгоистическою заботою о моей маленькой любимице, которую Вы с такою добротой согласились приютить на лето около себя…

Что касается до моей маленькой Сандрильоны, то я боюсь, что в ее положении и при моих слабых, средствах ей не придется воспользоваться благами Ваших попечений до конца. Я не знаю, что готовит ей судьба, хотя в то же время сама природа как будто указывает ей выход из ее положения, дав ей ум, понятливость, такт — и потом слабую нервную кожуру. В грубой среде, в ремесленных трудах — в черной работе — она просто зачахнет.

Но это впереди — что Бог даст, а теперь, благодаря Вам она на чистом воздухе, в милом обществе и у Вас на руках. Благодарю».

Обильная переписка Гончарова с сестрами Никитенко — отныне и до самой уже кончины писателя — будет вращаться в основном вокруг педагогически-житейских забот, связанных с Саней и ее младшими братом и сестрой. Две скромные, бескорыстные, трудолюбивые русские женщины, не совершившие никаких ярких подвигов, не воспетые в громозвучных стихах, не оставившие потомкам своих фотографий и портретов, Софья и Екатерина, — какой, однако, трогательной музыкой любви озвучили эти имена закат жизни старого романиста… Поистине они любили его той любовью, которая ничего себе не требует, не гордится, не возносится, все терпит, все переносит, сорадуется правде и свету… Любили необременительно и беззаветно, всегда готовые уйти в тень или вдруг явиться по первому звуку его слабого теперь голоса. И как знать, справился ли бы он сам с темп обязанностями, которые взял на себя, если бы не сестры эти тихие?.. В зимние месяцы почти постоянно кто-нибудь из детишек болеет, и тогда остальных они берут к себе, и в праздники тоже берут, и летом, пока Иван Александрович не увезет все подопечное семейство в Дуббельн. И потом, в месяцы разлуки, постоянная переписка: советы, ободрения, неизменные поздравления с именинами и днями рождений… «Сейчас я написал письмо к Софье Александровне — дай Бог ей, Голубушке,

здоровья!» «Поздравляю Вас наипрекраснейшая, наилучшая, наиблагодушнейшая, наиблагодатнейшая имянинница — не только в России, Европе, но и в Америке, и в Австралии, и в Новой Гвинее, куда скоро опять собирается Миклуха-Маклай доказывать, что нет и не может быть Вам другой, равной Екатерины!»

В Дуббельн Гончаров наладился ездить с 1879 года. На целые девять лет этот курортный городок на берегу Рижского залива стал пристанищем для него и для маленьких его воспитанников. Выезжали, как правило, в самом начале июня и возвращались в августе. Если погода благоприятствовала, то старались задержаться подольше, чтобы в петербургский «большой ад» (по терминологии Ивана Александровича) поспеть впритык к новому учебному году.

Гончаров предпочитал селиться на одной в той же даче — на Господской улице, в доме латыша Посселя. Дача была тесноватая, холодная, но зато не очень дорогая. «У меня 6 комнат, — шутливо описывал Иван Александрович Екатерине Никитенко свою «резиденцию», — в одной постель, в другой шкап с бельем, в третьей кувшин, в 4-й табакерка *в* носовой платок, в 5-й Вася, в 6-й сапоги. Внизу, в парадных 4-х апартаментах расположен женский персонал».

Дом щелястый, изо всех углов поочередно дуют сквознячки, и по тому, откуда дует, можно догадываться о перемене ветров. Иногда пол-лета пройдет, пока наконец установится приличная погода, и тогда на «вышке» — так называет он свой второй этаж — не так уж плохо: совсем рядом, над карнизом балкончика, с утра поют ласточки, а сквозняки приятно освежают помещение в душный полдень.

Сборы на дачу и с дачи выводят его из равновесия, вид разворошенных чемоданов повергает в уныние. Всю жизнь он но любил дорожных приготовлений, иногда кажется, что он и умрет во время одной из таких вот пертурбаций, не вынесет картины дикого беспорядка.

Но все это — и бестолковщина переездов, и мелкие неустройства дачной жизни — окупается той радостью, которую он испытывает при виде ликующих на воле ребятишек. Но будь их, какая бы еще сила выталкивала его каждое лето сюда, в Дуббельн? Воздуху морского ему хватит, пожалуй, и в Петергофе, а лиственного шелеста — в Летнем саду. Да и купаться он уже привык было на Неве, у Гагарипской набережной, в компании офицеров, гимназистов и чиновников. Кстати, что до купания, то здесь, на взморье, взрослому человеку, а тем более такому

заядлому пловцу, как он, приходится целый километр вышагивать по колено в воде, чтоб выбраться на глубокое место. Зато детям как хорошо: песок и чистая, прогретая, несоленая вода.

И море и сосны — все рядом с дачей, а с другой стороны — речка Аа, вода в ней коричневата на цвет, но тоже чиста, а за противоположным берегом — поля до самого горизонта.

Отхлынет неразбериха первых дней, хлопотунья Александра Ивановна разберет вещи по сундучкам и шкапчикам, повесит занавески на балкончике, хозяйка принесет два-три горшка с цветами, и, глядишь, жизнь наладилась. А когда солнце засветит в полную силу, и совсем славно станет; в памяти роятся какие-то подобия — то ли обрывки симбирского детства с тихими радостями людей «Летописца», то ли идиллические пейзажи Ликейских островов.

К 6 июня — дню его рождения — вдова непременно испечет пирог. Вкушают его на веранде. В этот день в Дуббельн обычно поступает несколько телеграмм от петербургских друзей и знакомых. «Телеграфы, телефоны, — поварчивает Иван Александрович, — куда как разомчалась жизнь!»

Чтобы дети за лето совсем не одичали, он поставил себе за правило каждый день после завтрака заниматься с ними: Лису-Подьячиху, то есть Саню, натаскивает по языкам — французскому, английскому и, разумеется, русскому; подошла пора учить уму-разуму и Старика-Генерала (так прозывают они Васю). Дает задание, пока простенькие, и Леночке. Ученики, конечно, хитрят, им лишь бы вырваться с веранды. Даже Саня иногда удручает его своей рассеянностью. Что ж поделать: скучает в кругу малышни. «Здесь ей не с кем поиграть; есть девочка знакомая, но 14 лет, читает романы и заговаривает уже о «кавалерах» — следовательно не годится».

Да, ребятам необходимо общество сверстников. Это ему проще — с его многолетней привычкой к уединенности: можно днями не видеть никого и не страдать от этого. Впрочем, к разгару сезона в городок с каждым годом стало наезжать все больше и больше народу — даже ему, нелюдиму, в глаза бросается.

Несколько раз за эти годы отдыхали в Дуббельне и ого петербургские друзья и знакомцы: Софья Никитенко, писатели Лесков и Боборыкин, знаменитый столичный юрист Анатолий Федорович Кони. Последнего Гончаров помнит еще мальчиком, так как был близко знаком с его родителем, Федором Алексеевичем Кони, известным в свое время автором водевилей и театральным критиком. В 80-е годы между Гончаровым и Кони-младшим устанавливаются прочные дружественные отношения,

которые не прервутся уже до самой смерти романиста.

Анатолию Кони Иван Александрович пишет из Дуббельна чаще, чем другим. Пишет не только о себе и о своем. Живо интересуется служебными и личными обстоятельствами человека, который для него есть олицетворение молодой России — ее здоровых, честных, созидательных сил. Узнав о том, что Кони собирается в инспекционную поездку в связи с местными злоупотреблениями, Гончаров восклицает в письме: «Но где взять 50 Анатолиев Федоровичей, чтобы внести дезинфекцию в 50 провинции?»

Мнения о книжных новинках, иностранных и русских, о политических событиях в жизни страны перемежаются в «дуббельнских» письмах зарисовками частного характера, как правило, лапидарными, но предельно выразительными. В письме к редактору «Вестника Европы» есть, например, следующая сценка — как бы карандашный набросок, выполненный рукою мастера: «Служил архиерей, были все власти — и староста после обедни пригласил всех, в том число и меня — к завтраку-обеду. Первые слова архиерея, когда нас познакомили, были: «Читал *Обрыв:* каков Волохов-то, а?»

Это архиерей-то читает Обрыв, вместо Стоглава или Апокалипсиса — каковы современные преосвященные!»

Тут за благодушной улыбкой проглядывает иное, попутное настроение: а все-таки польщен старый писатель.

Вообще дар легкой беззлобной иронии, всю жизнь составлявшей неотъемлемое свойство литературного поведения Гончарова, с годами не исчезает, не переходит в старческое брюзжание. Наоборот, оставаясь тактичной, ненавязчивой, ирония как бы еще прибавляет в изяществе.

Вот одна из множества жалоб на непогоду — ее писатель неожиданно закрепляет в форме стихотворного экспромта, в котором пародируются общие места предсимволистской поэзии:

«Ни благорастворения воздухов, ни изобилия плодов земных, а токмо

Ветры ревущие,
Душу гнетущие,
Волны кипящие,
Сердце мутящие.
Громы гремящие,
Хляби отверстые,
Потоки льющие,
Страждущих злящие…»

С предельной скромностью, в обществе детей-воспитанников и их матери, за традиционным пирогом, водруженным на стол дуббельнской дачи, отметил Иван Александрович собственное семидесятилетие. Кажется, он мог в этот день вздохнуть с облегчением: удалось избежать юбилейного шума, который в Петербурге еще с весны возник было вокруг его имени.

Но, не успев в одном начинании, столичная общественность довела до конца другую юбилейную затею: в самый последний день 1882 года состоялось чествование писателя по случаю 50-летия его литературной деятельности (отсчитывая от времени публикации в «Телескопе»). Событие носило достаточно интимный характер. Помимо всего прочего, это объяснялось и тем, что в начале декабря Иван Александрович, впервые за многие годы, по-настоящему сильно разнемогся. Подвели глаза, их ведь он, если вспомнить, никогда не берег толком, а, наоборот, беспрестанно утомлял — и по писательской, и по служебной необходимости — дневным и ночным чтением рукописных и печатных строчек. В целые версты небось вытянулись строчки эти за полвека-то! И теперь — как расплата кровоизлияние с полной потерей зрения правого глаза. Накануне, придя по вызову, врач заставил его целые сутки просидеть в темной комнате, пустил кровь. Но ничего уже нельзя было поправить.

Годы брали свое. В тщедушном седовласом старце с тонкой сморщенной кожей на руках нелегко было бы узнать теперь того представительного, осанистого Гончарова, каким менее десяти лет назад изобразил его Крамской.

Особенно разительными покажутся перемены, происшедшие в. его внешности, когда прочитаешь словесный автопортрет, составленный писателем летом 1883 года: «Я смотрю в зеркало, в ванне, на себя и ужасаюсь: я ли этот худенький, желто-зелененький, точно из дома умалишенных выпущенный на руки родных старичок, с красным слепым глазом, с скорбной миной, отвыкший мыслить, чувствовать…»

Судя по беспощадности этого автопортрета, Гончаров, должно быть, застиг себя в минуту крайней усталости от борьбы с постоянной физической болью. В незрячем оке он все время, и в жару и в холод, чувствует «как будто вставленный горячий уголек». Как-то при осмотре окулист обнаружил нарыв на роговице и, опасаясь, чтобы процесс не перешел на здоровый глаз, произвел вытечку. На фотографии 1886 года (последней прижизненной?) писатель снят вполоборота, с затененным правым глазом, веко которого оп придерживает рукой.

Оправившись наконец после затяжной болезни, Гончаров понемногу начал возвращаться к воплощению посильных

литературных замыслов. В феврале 1887 года он закончил мемуарные заметки, посвященные студенческим годам в Московском университете. К лету этого же года дописал еще один большой по объему очерк — «Слуги старого века», с подзаголовком «(Из домашнего архива)».

Прежде чем говорить подробнее об этой своеобычнейшей вещи, хочется напомнить одно высказывание Достоевского, удивительно точно раскрывающее характер народности гончаровского творчества. «Вспомните Обломова, вспомните «Дворянское гнездо» Тургенева, — читаем в «Дневнике писателя за 1876 год». — Тут, конечно, не народ, но все, что в этих тинах Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного, — все это оттого, что они в них соприкоснулись с народом; это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому и рабски заимствованному».

Слова эти могут быть отнесены и к «Слугам старого века» — не только потому, что в своем позднем очерке Гончаров отчасти как бы воскрешает атмосферу «Обломова», живописуя на автобиографическом материале типичные отношения «барина» и «слуги». В предисловии к очерку писатель затрагивает тот самый вопрос о народности литературы, который так волновал Достоевского и по-особому актуализировался в идеологии и литературной практике народничества.

По тому, как складывались его жизненные обстоятельства с самого детства, по роду службы, пишет Гончаров, он никогда не имел возможности для обстоятельного знакомства с бытом и нравами крестьянской России. «Я не владел крестьянами, не было у меня никакой деревни, земли; я не сеял, не собирал, даже не жил никогда по деревням». Исключение, как мы помним, — два года учебы в репьевском пансионате.

Вот почему и не брался никогда изображать сцены собственно народной жизни. «Зачем мне было напрашиваться на явную, ненужную неудачу?» К тому же более или менее длительное пребывание в крестьянской среде еще не дает писателю права считать себя истинным знатоком и выразителем народного начала. «Я знавал некоторых народников, поэтов, повествователей. Они тоже любило больше сближаться с народом издали, сидя у себя в деревенском кабинете, заходили в крестьянские избы отдохнуть, спрятаться от непогоды, словом, барски, привозя с собой все принадлежности такого утонченного комфорта, перед которым бледнел мой скромный «эпикуреизм».

Но народ можно знать и не живя постоянно в деревне.

Многочисленные группы городских простолюдинов — разве не тот же народ, по языку, по привычкам, по миросозерцанию? Конечно, приходится делать и поправки: условия существования в громадном чужом городе, в отрыве от родных и от природы, при «барах» — а среди этих попадаются самые разные — все это слишком на многих действует разрушающе. С такой точки зрения особенно поучительно приглядеться к типу городского слуги, в котором наивность, кротость и внутренняя чистота крестьянского естества так часто соседствует со всевозможными «благоприобретениями». Среди последних особенно неприятное, конечно, пьянство.

Гончаров с симпатией, по и с грустью описывает нескольких своих слуг (Валентин, Антон, Петр, Степан с Матреной), в каждом из которых прекрасные природные задатки и способности были в той или иной степени утеснены страстью к хмельному. «О, ты, вздыхал я с грустью про себя, ходя взад и вперед по зале: — «о ты, велено вино! ты иго, горшее крепостного права: кто и когда изведет тебя, матушка Русь из-под него?»[17]

Повествователь в «Слугах старого века» не только «вздыхает» и задает себе безответные вопросы. Иногда ему буквально приходится нянчиться с кем-либо из слуг — убеждать, усовещивать. В ситуациях такого рода при всей их плачевности раз от разу проглядывает комизм, состоящий в том, что «барии» и слуга как бы меняются местами, и уже неясно в конце концов, кто кому служит.

С любовью и восхищением описаны преданность, незлобие слуги Матвея, богатырская сила Антона («Вылитый Илья Муромец!»), который у себя в деревне, оказывается, ходил с дубьем на волков и более полета хищников порешил, «а после уж и счет потерял».

И еще один большой очерк написан Гончаровым в том же 1887 году — воспоминания «На родине». Кроме чисто художественных своих достоинств, все три очерка ценны как незаменимый источник для биографии писателя. Например, содержание «Слуг старого пека» позволяет уточнить, где и в какие годы Гончаров жил в Петербурге. Одна из его квартир, упоминаемых в очерке, находилась на Литейной, рядом с Мариинской больницей (по нынешней нумерации дом № 52). Это помещение романист снимал до отбытия в кругосветное плавание и возвратился уже в другую квартиру, подысканную для пего друзьями, которая располагалась совсем недалеко от прежней, — на Невском проспекте, в доме Кожевникова (ныне № 51). Комнаты были здесь окнами во двор.

Территориально близкой к двум предыдущим оказалась и

последняя квартира — в доме генерала Устинова на Моховой улице, все в той же части города, между Невским и южным берегом Невы.

Вообще с этой частью столицы связано, пожалуй, большинство петербургских маршрутов писателя — литературных, служебных, всех иных. В доме купца Лопатина, на углу Невского и набережной Фонтанки, бывал он когда-то у Белинского. В угловом здании, выходящем на Литейный проспект и Бассейную улицу, навещал Некрасова, сюда же заносил статьи для газеты «Голос», которую издавал Краевский. На Гагаринской набережной сиживал вечерами у Алексея Константиновича и Софьи Андреевны Толстых. И семейство Никитенко жило недалеко от Моховой — на углу Фурштадтской и Воскресенской. И к Кони-младшему, на Надеждинскую, можно было ходить пешком.

На Театральной улице располагалось Министерство просвещения, где служил он во времена писания «Обломова». В особняке княгини Волконской на набережной Фонтанки находилось Главное управление по делам печати. В общем-то все близко для такого заядлого, неутомимого ходока, каким оставался Иван Александрович и теперь, на восьмом своем десятке: Летний сад, куда он забредал иногда пообедать и подышать ветерком с Невы; Миллионная, где в доме архитектора Штакеншнейдера не раз присутствовал на литературных вечерах, в обществе известнейших писателей столичных, а рядом и Мраморный дворец: сюда с недавних пор стал приглашать его литератор совсем еще неопытный и робкий — Константин Константинович Романов, великий князь, поклонник Байрона, Шиллера и Гёте. Человек этот, вошедший в историю русской поэзии под инициалами «К. Р.», среди своих многочисленных августейших родичей был, что называется, белой вороной. Автор стихотворных драм на мифологические сюжеты и лирических миниатюр, он выделялся и внешностью своей: в топких чертах как бы изможденного лица проступало что-то страдальческое, доп-кихотовское.

Переписка началась, когда Ивану Александровичу было около семидесяти двух, а поэту, ищущему наставлении и советов литературного оракула, — двадцать шесть. Гончаров с добросовестностью профессионала-наставника разбирал присылаемые ему сборники и отдельные вещи, предостерегал от неумеренного подражания великим, вспоминал о своих давнишних начатках и навыках (в основном по части сжигания ранних экзерсисов), делился мнениями о поэтах современных. Из самых новейших он может отметить, пожалуй, лишь одного —

графа Голенищева-Кутузова. «Есть еще у нас (да и везде — кажется — во всех литературах) целая фаланга стихотворцев, борзых, юрких, самоуверенных, иногда прекрасно владеющих выработанным, красивым стихом и пишущих обо всем, о чем угодно, что потребуется, что им закажут. Это — разные *Вейнберги, Фруги, Надсоны, Минские, Мережковские* и прочие…»

Как бы пи был стихотворец оснащен технически, никакое мастерство не заменит *искренности*, она — нерв поэзии. «Только пережитые самим писателем горькие опыты помогают глубоко видеть, наблюдать и писать чужую жизнь в ее психических и драматических процессах. Вас от горьких, потрясающих опытов охраняют пока юные годы, а всего более высокое, огражденное, обеспеченное и исключительное положение. Может быть — они и настанут когда-нибудь, а лучше бы но наставали никогда».

«К. Р.» умер в 1915 году. Его тихой интимной лирики так и не коснулось никогда дыхание великих бурь и «горьких, потрясающих опытов».

Те редкие посетители, которые навещают Гончарова в 80-е годы на его петербургской квартире либо видят мельком в Дуббельпе, как правило, отмечают два впечатления — патриархальной замкнутости, отшельнической отгороженности писательского быта и, с другой стороны, неизменного радушия, с которым седовласый и седобородый старец, худощавый, подвижный, разговорчивый, принимает симпатичных ему гостей. Тридцать лет «сидения» на Моховой не прошли даром: стиль жизни откристаллизовался, высветлилось главное — сосредоточенность на приведении в порядок своего литературного хозяйства, на заботах о «семье». Определился и словесный образ жилья и поведения, расцвеченный неизменной гончаровской самоиронией: «моя петербургская Обломовка»; «остаюсь Вашим богомольцем и моховиком»; «я сижу как старый тетерев дома»; «мой склеп»; «опять прячусь в свою пещерку». А в письме к старинному своему приятелю по кругосветному походу, а ныне адмиралу русского флота Константину Константиновичу Посьету с улыбкою замечает: «Моя стезя темна и скромна… поэтому куда я раз упал камнем, там и лежу, обрастая мхом, начиная с Моховой своей квартиры, где живу 18 лет, до седого мха на подбородке».

Теперь, к концу 80-х, и в любимом своем всегдашнем занятии — писании писем — приходилось ему ограничиваться. Рука все хуже слушается. Почерк заметно поменялся: укрупнились, огрубели буквы, так что иногда и неясно: он ли сам писал, диктовал ли Сане или еще кому-нибудь из воспитанников — все

ребята теперь грамотеи.

В 1888 году Гончаров написал статью, которая и при жизни его, а особенно после смерти доставила немало хлопот издателям, биографам, исследователям творчества романиста. Дело в том, что в этой статье, озаглавленной «Нарушение воли», он резко выступил против практики публиковать личную переписку деятелей литературы и искусства, в частности, просил «не печатать ничего» из его собственных писем, кроме того, что опубликовано при жизни автором, а все его письма, хранящиеся у других лиц, уничтожить после их смерти.

Категоричность гончаровского требования объяснялась тем, что накануне как раз появилось несколько публикаций писем (Пушкина, Тургенева, Крамского), издатели которых проявили бесцеремонность, придав огласке множество интимных сведений, к тому же касающихся и еще живых лиц. Как тут было ему не убояться и за себя? Многие сотни писем написаны за долгую жизнь, причем ни одного из них он никогда не «цензуровал» на предмет будущего обнародования. Писал под всякое настроение, не стеснялся обнажать свои сокровенные чувства. И вдруг в один ужасный день благодаря достижениям просвещенного века окажется, что его подноготную нужно, просто позарез необходимо знать всем и каждому!

Дата неизвестна, но можно предполагать, что где-то в хронологическом соседстве с «Нарушением воли» и была произведена в доме на Моховой, 3 та решительная и безжалостная чистка собственного архива, когда в каминном пламени испепелились целые кипы бумаг, потерявших ценность для их хозяина, а для будущих его биографов, как знать, может быть, и бесценных.

Требования Гончарова, изложенные в «Нарушении воли», в общем-то никогда не соблюдались. Вскоре же после его смерти одна за другой последовали публикации — хотя и со ссылкой на суровый запрет и с объяснением, почему запрет этот при всем уважении к памяти усопшего невозможно соблюсти. Гончаровская эпистолярия — явление слишком самобытное, слишком сущностно литературное, чтобы время могло оставить ее за пределами культуры.

Весной 87-го года он пишет А. Ф. Кони: «Около меня ходит удар: то в ухо хлестнет, то приходится на улице опереться на стенку, чтоб от головокружения не упасть, — не то так ноги окоченеют.

Я не боюсь собственно удара, т. е. решительного, наповал, но я боюсь его хвоста, боюсь ударов по частям, что может

затянуться».

Да, жизнь — это борьба. Но не только и не столько она борьба — так он это понимает, — сколько нечто большее. Тому же Анатолию Федоровичу: «Боритесь и помните, что жизнь есть — терпение и что спасается и выходит победителем только «претерпевший до конца».

Сколько ему самому еще терпеть? В 1888 году опасение подтвердилось: подкараулил его второй апоплексический удар, именно такой, какого опасался, — «хвостатый».

Но он встал на ноги и после этого.

Дети, дети — вот кто не дает ему умирать. Саня скоро окончит свое педагогическое училище. Леночка незаметно добралась уже до высшего класса гимназии. Снова надо думать о даче на лето. Далеко ездить он уже не может. Дуббельн отменяется. Нарва, Павловск, Старый Петергоф — вот это ему еще по силам.

Дети, которых он столько лет поддерживал, поддерживают теперь и его — в том числе и в буквальном смысле слова: по вечерам, в сумерки, когда он плохо видит (да и слышать стал хуже), водят его под руки по дорожкам.

Каждую весну он встречает теперь с особым волнением: не последняя ли? А все-таки дождался! «В Летнем саду трава свежая хочет показаться, но не решается. На улице, особенно на Неве рта разевать не следует». Свежий ветер с залива морщит невскую воду, мешает идти насупротив, подталкивает старого в спину: домой давай!

«Сегодня пойду купить тебе полотенец», — сообщает Сане в записочке. И внизу — «Старичок».

Ей же: «Хожу с Марьей (кухарка? — *Ю. Л.*) за котлетками в лавку и очень устаю… (Значит, Александра Ивановна заболела? — *Ю. Л.*) Что делать, надо терпеть».

И опять Анатолию Кони: «Я с умилением смотрю на тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек, которые, гнездясь по стенкам в церквах или в своих каморках перед лампадкой, тихо и безропотно несут свое иго, видят в жизни и над жизнью только крест и Евангелие, одному этому верят и на одно надеются. Это глупые и блаженные, — говорят мудрецы-мыслители… Нет, это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных».

В своих опубликованных воспоминаниях о Гончарове (который, кстати, высоко отзывался о литературном даровании молодого друга) Кони приводит это письмо как свидетельство духовного смирения и того глубинного спокойствия, которое теперь все сильнее, полновластнее овладевало всем существом

писателя.

Во время одной из встреч с Софьей Никитенко Иван Александрович доверил ей на сбережение сохраненную часть своего архива, в том числе рукопись «Необыкновенной истории».

Держать в руке перо ему теперь совсем невмочь. Но сознанием овладевают все новые и новые литературные заботы. Так появляются очерк «Месяц май в Петербурге», юмористический рассказ «Уха». А за несколько недель до смерти — еще рассказ «Превратность судьбы». Стиль повествования легок, ясен, ни одной лишней детали. Более пятидесяти лет прошло, как услыхал он сюжет, легший в основу рассказа, — историю о злоключениях русского офицера, не имеющего достаточных средств к существованию, но в конце концов щедро вознагражденного судьбой. История эта до такой степени отстоялась у пего в памяти, что теперь вылилась на бумагу как бы сама собой, уже независимо от его умения, его воли, от него самою.

На восьмидесятом году жизни, осенью 1891 года, он слег от воспаления легких, и перемочь эту болезнь оказалось ему уже не по силам. «Я посетил его за день до его смерти, — сообщает А. Ф. Кони, — и при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: Нет, я умру! Сегодня ночью я видел Христа, и он меня простил…»

Кажется, это было так еще недавно.

Но как все же далеко, как головокружительно далеко! Какие ураганы, какие штормы прогрохотали над крышами имперской столицы! Сколько сгорело ненужных страниц, сколько имен исчезло в безвестье! Какие гордые монументы стали прахом!.. Какие репутации позорно провалились на глазах у новых поколений! Где «цивилизаторы» России, новая жадная ее орда — банкиры, заводчики и лендлорды, любители чужого хлеба, чужого леса, чужого золота, дарового скотьего труда, — где они?..

Все сметены валом народного гнева.

Безвозвратно ушло в прошлое все, что было обречено самой историей. Не стало старой России. Но то, что она выстрадала за долгие века жизни, то, что составляло славу и честь ее нетленную, мысль ее сердечную, не погибло, не испепелилось, сияет и ныне. Такова правда истории: истинное неподвластно времени, ибо оно — вечное.

В чудесно звучащем самородке Русского Слова среди других голосов явственно различим и голос Ивана Гончарова. Его творения издаются в нашей стране миллионными тиражами, переведены на многие языки населяющих ее народов. Они стали

достоянием не только отечественной, но и мировой культуры. Герои Гончарова вступают в диалог все с новыми и новыми поколениями читателей. Время обнаруживает в этих героях неиссякаемые запасы содержательности. Уже после смерти своего создатели произведения Гончарова выдержали испытание сценой — и выдержали его с честью: инсценировки трех романов сделались в наши дни подлинной театральной классикой. Гончаровская Одиссея — описание собственного кругосветного плавания — продолжает волновать сердца молодых романтиков, зовет их в дальние дороги. Но более всего книги Гончарова учат любить Родину — великую и малую, начинающуюся от порога родительского жилья. Извечную и молодую.

…По весне ветер пригонит с Балтики ослепительные охапки облаков, они летят над Невой и каналами, над куполами и шпилями, над узенькой Моховой, летят за окраины, над весенней землей, освежая ее стремительными тенями, — над лесами и пашнями, над взблесками озер и речек, над Валдаем, мимо громадной ребрастой Москвы, — туда, к Волге, к ее острым зеркальным вспышкам, к лугам бескрайним, к играющим в оврагах снеготалам, к обрыву и роще за обрывом, к незабвенному Венцу, к горизонтам, тонущим в мареве, будто в морях ласковых, — все летят, летят и летят, радуясь свету и воле.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И. А. ГОНЧАРОВА

Даты приводятся по старому стилю.

1812, 6 июня — В семье симбирского купца Александра Ивановича Гончарова и его супруги Авдотьи Матвеевны, урожденной Шахториной, родился сын Иван.

1819, 10 сентября — Смерть А. И. Гончарова.

1820–1822 — Иван Гончаров пребывает в частном пансионе священника Ф. С. Троицкого в заволжском селе Репьевка.

1822, 6 августа — Поступает в Московское коммерческое училище на Остоженке.

1831, 27 сентября — Согласно прошению матери уволен (без окончания курса учения) из Коммерческого училища.

1831–1834 — Учится на словесном отделении Московского университета.

1832, октябрь — В № 15 «Телескопа» печатается первый литературный опыт Гончарова — перевод фрагмента из романа Эжена Сю «Атар Гюль».

27 сентября — А. С. Пушкин посещает Московский университет, и Гончаров становится свидетелем его спора с М. Т. Каченовским о подлинности «Слова о полку Игореве».

1834, июль — Возвращается из Москвы в Симбирск. *Осень* — Служит секретарем канцелярии симбирского губернатора.

1835, май — Приезжает в Петербург. *18 мая* — Определен на службу в Департамент внешней торговли Министерства финансов в качестве переводчика. *Лето* — Получает приглашение от художника Н. А. Майкова быть домашним учителем его сыновей. В литературно-художественном салоне Майковых знакомится с широким кругом столичных писателей и журналистов.

1838, 2 апреля — В № 12 рукописного журнала «Подснежник) помещена повесть Гончарова «Лихая болесть».

1839, 4 июля — В рукописном альманахе «Лунные ночи» помещена повесть Гончарова «Счастливая ошибка».

1842 — Написал очерк «Иван Савич Поджабрин».

1844 — Прекращает работу над романом «Старики». Задумывает роман «Обыкновенная история».

1845, начало года — Читает в майковском кружке первую часть «Обыкновенной истории».

1846, март — Знакомство с В. Г. Белинским. *Сентябрь* —

Редакция «Современника» приобретает рукопись «Обыкновенной истории,».

1847, 2 или 3 марта — Вышел из печати № 3 «Современника» с первой частью «Обыкновенной истории». *8 апреля* — Вышел четвертый номер журнала со второй частью романа.

1849, 28 марта — В «Литературном сборнике с иллюстрациями» опубликован отрывок «Сои Обломова». *Лето* — Поездка в Симбирск. Работа над «Обломовым». Задуман роман «Обрыв» (Художник).

1851, 11 апреля — Скончалась мать писателя, А. М. Гончарова.

1852, 7 октября — Фрегат «Паллада», на котором Гончаров отправляется в кругосветное плавание, выходит из Кронштадта. *30 октября* — Фрегат приходит в Портсмут. *Ноябрь* — пребывание в Лондоне.

1853, 18 января — Посещение острова Мадера. *10 марта* — «Паллада» достигла мыса Доброй Надежды. *19–26 марта* — Поездка в глубь Капской колонии. *Весна, лето* — Индийский и Тихий океаны, посещение портов Анжер, Сингапур, Гонконг. *9 августа* — Русская эскадра прибыла в Нагасаки. *Ноябрь, декабрь* — Участвует в экспедиции в Китай.

1854, 24 января — Эскадра уходит из Нагасаки. *Январь — май* — Ликейские острова, Манила, остров Батан, стоянка в Пио-Квинто, остров Гамильтон, съемка берегов Кореи. *22 мая* — «Паллада» вошла в Императорскую гавань. *Август* — Гончаров сухопутным путем отправляется из Аяна в Якутск. *Сентябрь — октябрь* — Пребывание в Якутске. *31 декабря* — Приехал в Иркутск.

1855, 25 февраля — Возвращение в Петербург. *Осень, декабрь* — Интенсивная переписка с Е. В. Толстой.

1856, 19 февраля — Определен на должность цензора Петербургского цензурного комитета.

1857, июль — август — В Мариенбаде работает над «Обломовым» и вчерне завершает роман.

1858 — Выходит из печати книга Гончарова «Фрегат «Паллада».

1859 — Журнал «Отечественные записки» в первых четырех книгах этого года печатает роман Гончарова «Обломов».

1860, 25 февраля — В № 2 «Современника» опубликован отрывок «Софья Николаевна Беловодова» из будущего «Обрыва».

1861, 21 января — В № 1 «Отечественных записок» опубликован отрывок из «Обрыва» «Бабушка». *24 февраля* — Вышел № 2 этого же журнала с отрывком «Портрет».

1862, 16 мая — Приезжает в Симбирск. Последняя встреча с

няней Аннушкой. *29 сентября* — Назначен редактором газеты «Северная почта».

1863 — Пожалован в действительные статские советники. Сложил с себя редакторство «Северной почты»; назначен членом Совета министра по делам книгопечатания.

1865, лето — Во время очередного приезда в Мариенбад усиленно работает над романом «Обрыв».

1867, 29 декабря — Выходит в отставку.

1868, 7 ноября — Отдает М. М. Стасюлевичу рукопись первой части романа «Обрыв» для печатания в «Вестнике Европы».

1869, январь — март — В «Вестнике Европы» печатается «Обрыв».

1872, 1 марта — В № 3 «Вестника Европы» опубликована статья Гончарова «Мильон терзаний».

1873, 19 декабря — Гончаров избран в редакционно-издательский комитет сборника «Складчина».

1874, весна — Художник И. Н. Крамской работает над портретом Гончарова. *28 марта* — Вышел из печати сборник «Складчина». В этом году написаны статья об А. II. Островском и статья «Христос в пустыне. Картина г. Крамского».

1878, июнь — Умер слуга Гончарова Карл Трейгут, после чего писатель принимает на себя попечение о его вдове и детях. *Август* — Закончил писать «Необыкновенную историю».

1879, 1 июня — В № 6 «Русской речи» опубликован очерк Гончарова «Лучше поздно, чем никогда».

1880, 1 января — В № 1 «Русской речи» напечатана повесть «Литературный вечер». *10 декабря* — Вышла из печати книга «Четыре очерка».

1881 — Дарит Карамзинской библиотеке в Симбирске свою личную библиотеку.

1882, 31 декабря — Чествование Гончарова по случаю 50-летия литературной деятельности.

1884 — В Петербурге вышло в свет первое Собрание сочинений Гончарова в восьми томах.

1887, 1 апреля — В № 4 «Вестника Европы» опубликован очерк «Из университетских воспоминаний».

1888 — В № 1 и 2 «Вестника Европы» — воспоминания «На родине». Очерки «Слуги» печатаются в нескольких номерах журнала «Нива».

1889, 1 марта — В № 3 «Вестника Европы» — статья «Нарушение воли».

1891, 19 января — В № 1 «Русского обозрения» — очерк «По Восточной Сибири. (В Якутске и в Иркутске)». *20 августа* — Окончен очерк «Превратность судьбы». *27 августа* — Заболел

воспалением легких. *15 сентября* в 12-м часу дня И. А. Гончаров умер. *19 сентября* — Похороны на Новом Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

I. Произведения Гончарова

Полное собрание сочинений И. А. Гончарова, т. I–VIII (подготовленное автором), издание И. И. Глазунова. Спб., 1884.

Полное собрание сочинений И. А. Гончарова, т. I–IX (подготовленное автором), издание И. И. Глазунова. Сиб., 1886–1889.

Полное собрание сочинений И. А. Гончарова, т. I–XII. издание А. Ф. Маркса. Спб., 1899.

Собрание сочинений И. А. Гончарова, т. I–VIII. Библиотека «Огонек». М., «Правда», 1952.

Собрание сочинений И. А. Гончарова, т. 1—VIII. М., 1952–1955.

И. А. Гончаров и И. С. Тургенев. По неизданным материалам Пушкинского дома. С предисл. и примеч. Б. М. Энгельгардта. Пб., «Academia», 1923.

И. А. Гончаров. Необыкновенная история (Истинные события). — В кн.: Сборник Российской публичной библиотеки, т. II. Материалы и исследования. Пг., 1924.

И. А. Гончаров. Литературно-критические статьи и письма. Редакция, вступ. статья и примеч. А. П. Рыбасова. Л., 1938.

II. Литература о Гончарове

В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., М., Изд-во АН СССР, 1955, т. X (статья «Взгляд на русскую литературу 1847 года»).

Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений. М., Гослитиздат, 1952, т. 2 (статьи «Что такое обломовщина»).

Аполлон Григорьев. Литературная критика. М., «Художественная литература», 1967. (статья «Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо»).

Евг. Ляцкий. Гончаров. Жизнь, личность, творчество. Критико-биографические очерки. Спб., Кн-во «Огни», 1912.

В. Азбукин. И. А. Гончаров в русской критике. Орел, 1916.

В. Е. Евгеньев-Максимов. И. А. Гончаров. Жизнь, личность, творчество. М., Государственное издательство, 1925.

А. Г. Цейтлин. И. А. Гончаров. М., Изд-во АН СССР, 1950.

А. Рыбасов. И. А. Гончаров. М., «Молодая гвардия» (ЖЗЛ), 1957.

И. А. Гончаров в русской критике. Сборник статей под редакцией А. П. Рыбасова. М., Гослитиздат, 1958.

Описание материалов Пушкинского дома, т. V. А. И. Гончаров. Ф М. Достоевский. М.—Л., Изд. — во АН СССР, 1959.

А. Д. Алексеев (составитель). И. А. Гончаров в портретах, иллюстрациях, документах. Пособие для учителей. Л., Учпедгиз, 1960.

П. С. Бейсов. Гончаров и родной край. Куйбышев, 1960.

А. Д. Алексеев. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1960.

Н. И. Пруцков. Мастерство Гончарова-романиста. М.—Л., Изд. — во АН СССР, 1962.

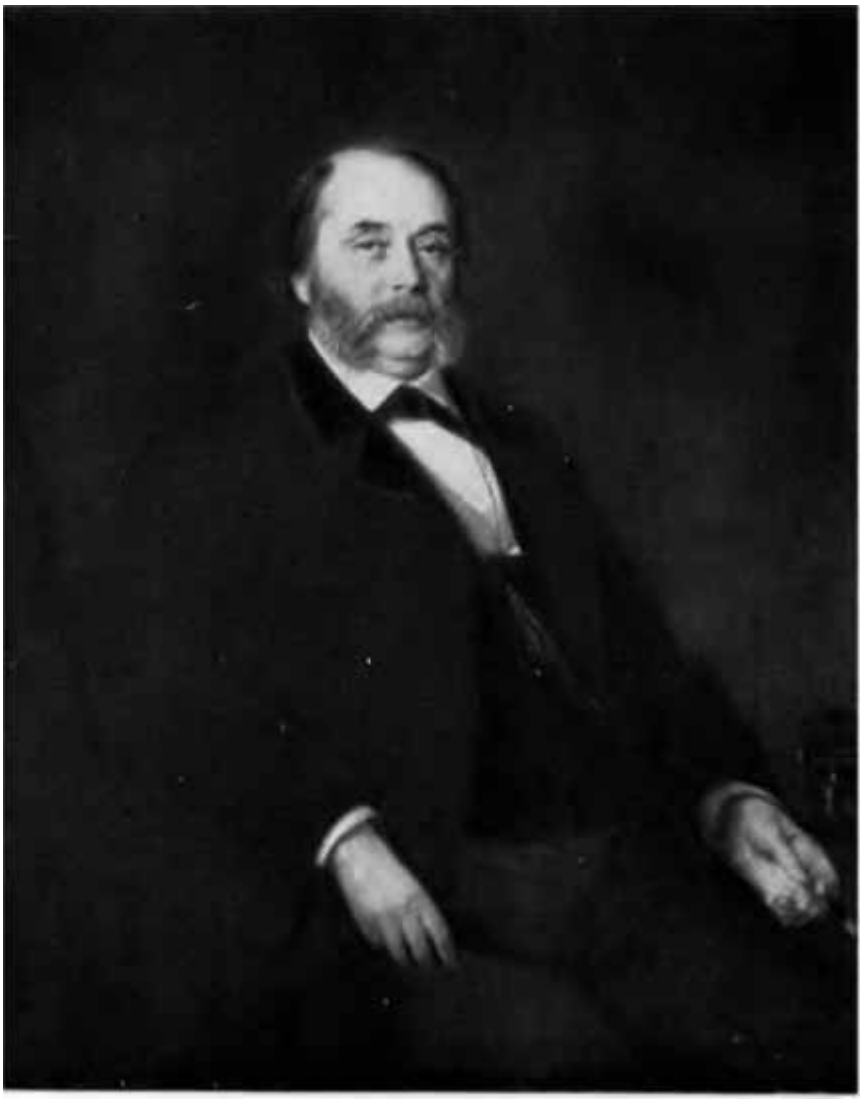
Материалы юбилейной Гончаровской конференции. Ульяновск. 1963.

О. М. Чемена. Создание двух романов. Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова. М., «Наука», 1966.

А. Д. Алексеев. Библиография И. А. Гончарова (1832–1964). Л., «Наука», 1968.

И. А. Гончаров в воспоминаниях современников. Л., «Художественная литература», 1969.

Иллюстрации





Авдотья Матвеевна Гончарова.



Вид Симбирска. XVIII в.



Дом Гончаровых в Симбирске.



Николай Николаевич Трегубов.



Московское коммерческое училище.



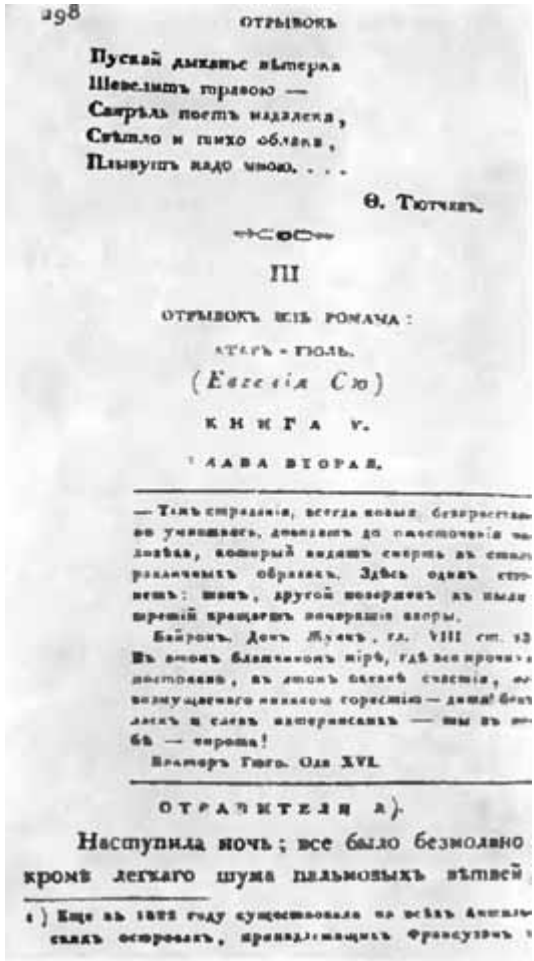
Московский университет.



Н. И. Надеждин.



С. П. Шевырев.



298

ОТРЫВОКЪ

Пускай дыханье вѣтерка
Шевелитъ травою —
Смотрѣлъ поетъ издалека,
Свѣтло и тихо облака,
Плывутъ надо мною. . . .

Ѳ. Тютчевъ.

III

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ РОМАНА:

АТАРЪ-ГЮЛЬ.

(*Евгенія Сю*)

КНИГА V.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

— Тамъ страданія, всегда новыя, безпрестанно учащаясь, доводятъ до самоотверженія человѣка, который видитъ смерть въ столь различныхъ образахъ. Здѣсь одинъ страдаетъ: цѣпь, другой посредствомъ ихъ цѣпей вращаетъ печальныя весла.

Байронъ. Донъ Жуанъ, гл. VIII ст. 13

Въ этомъ блаженномъ мірѣ, гдѣ все прочно, постоянно, въ этомъ океанѣ счастія, не возмущаемаго никакою горестію — дикій бѣлыхъ и слезъ напрасныхъ — мы въ немъ — сироты!

Вратиславъ Гюго. Ода XVI.

ОТРАЖИТЕЛЯ А).

Наступила ночь; все было безмолвно кромѣ легкаго шума пальмовыхъ вѣтвей

а) Еще въ 1822 году существовала на всѣхъ Антильскихъ островахъ, принадлежащихъ Французамъ

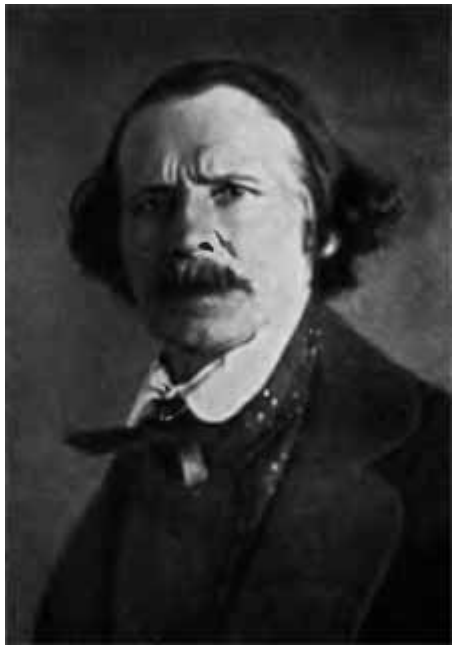
Опубликован первый литературный опыт…



Симбирск. Большая Дворянская улица.



Петербург. Здание Министерства финансов.



Н. А. Майков.



Евг. П. Майкова.



Валериан Майков.



Аполлон Майков.



Владимир Майков.



В. А. Солоницын.



Дом Майковых на Садовой.



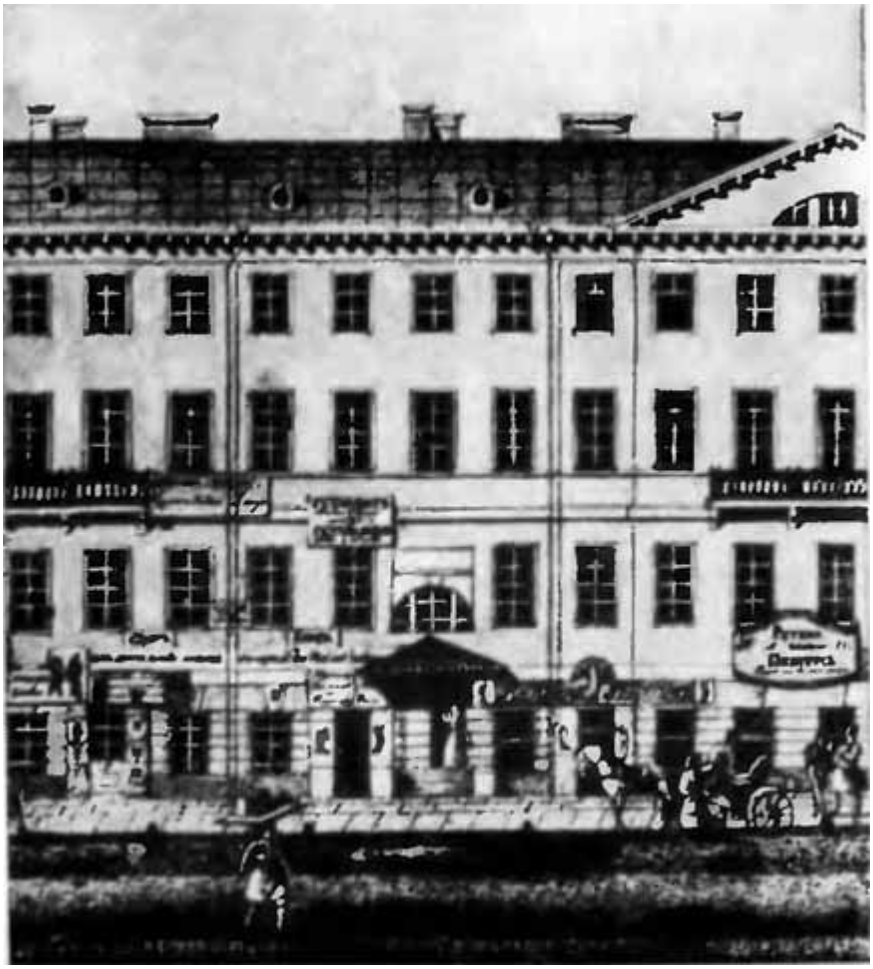
Повесть «Лихая болесть». Страница из Подснежника».



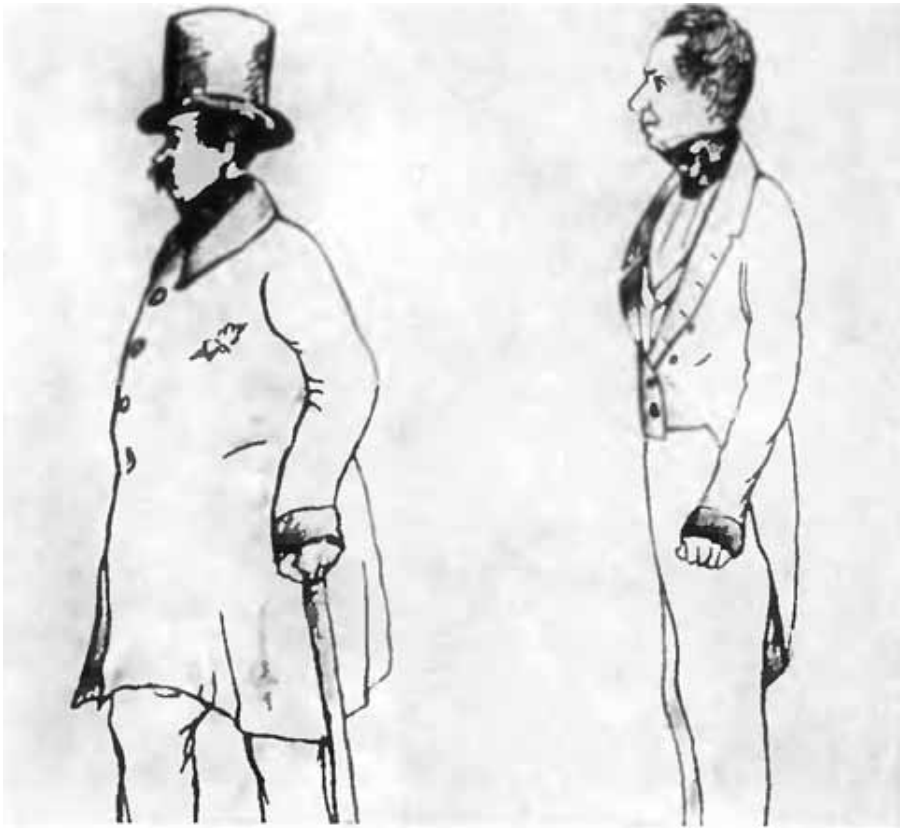
И. А. Гончаров. Портрет работы К. А. Горбунова. Конец 1840-х гг.



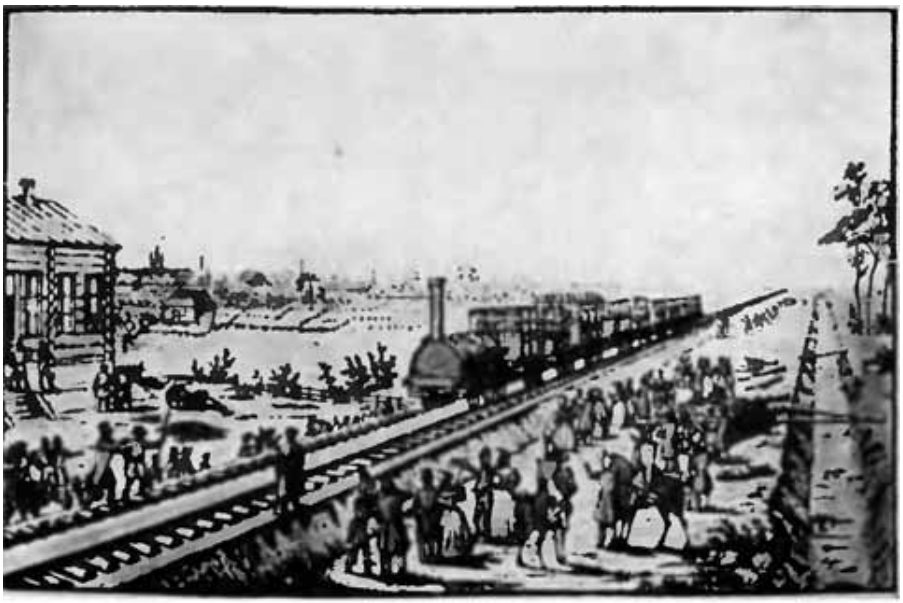
В. Г. Белинский.



На Невском проспекте.



Городские типажи. Рисунки из альбома 1830-х годов.



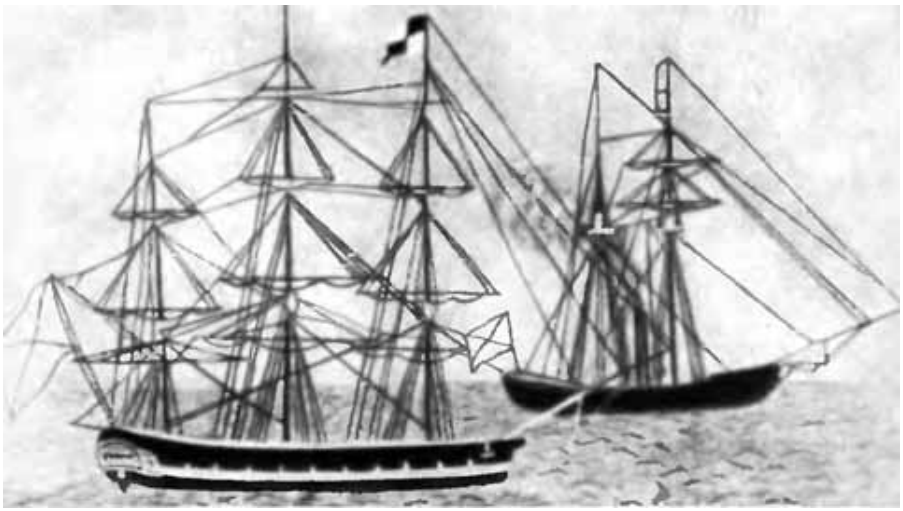
Царскосельская железная дорога.



Няня Аннушка.



Симбирск. Дом губернатора.



Русская эскадра. С японской картины.



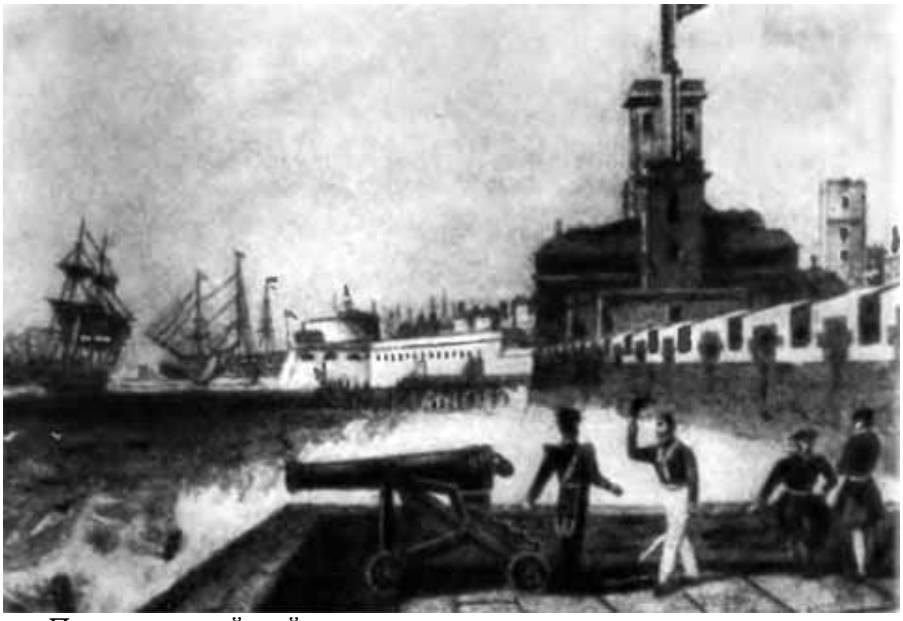
А. С. Норов.



В. Г. Бенедиктов.



Гончаров среди офицеров «Паллады».



Портсмутский рейд.



А. Гончаров. Фотография начала 50-х гг.



Лондон.



Адмирал Е. В. Путятин.



Остров Мадера.



Рисунок, привезенный Гончаровым из кругосветного плавания.



Гонконг.



Русские в Нагасаки. С японской картины.



И. А. Гончаров. С литографии конца 1840-х гг.



Рейд Нагасаки.



Японские чиновники.



Поселок Аян.



Якутск.



С. Г. Волконский.



Н. Н. Муравьев-Амурский.



Группа писателей. *Сидят:* И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский. *Стоят:* Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович.



Е. В. Толстая. Портрет работы Н. А. Майкова (?).



И. А. Гончаров. Фотография 1856 г.



Мариенбад.



Илюша и няня. Рис. М. Я. Чемберс-Билибиной.



Часть I

Первая страница чернового автографа «Обломова».



Н. А. Добролюбов.



Н. А. Некрасов.



П. А. Вяземский.



А. А. Краевский.



И. А. Гончаров. Фотография 1860–1861 гг.



И. А. Гончаров.



С. С. Дудышкин.



П. В. Анненков.



И. С. Тургенев.



И. И. Панаев.



В. П. Боткин.



А. В. Никитенко. С картины И. Н. Крамского.



И. А. Гончаров. Рисунок Я. П. Полонского.

ФРЕГАТЪ
ПАЛЛАДА

ОЧЕРКИ ПУТЕШЕСТВІЯ

Ивана Гончарова

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ

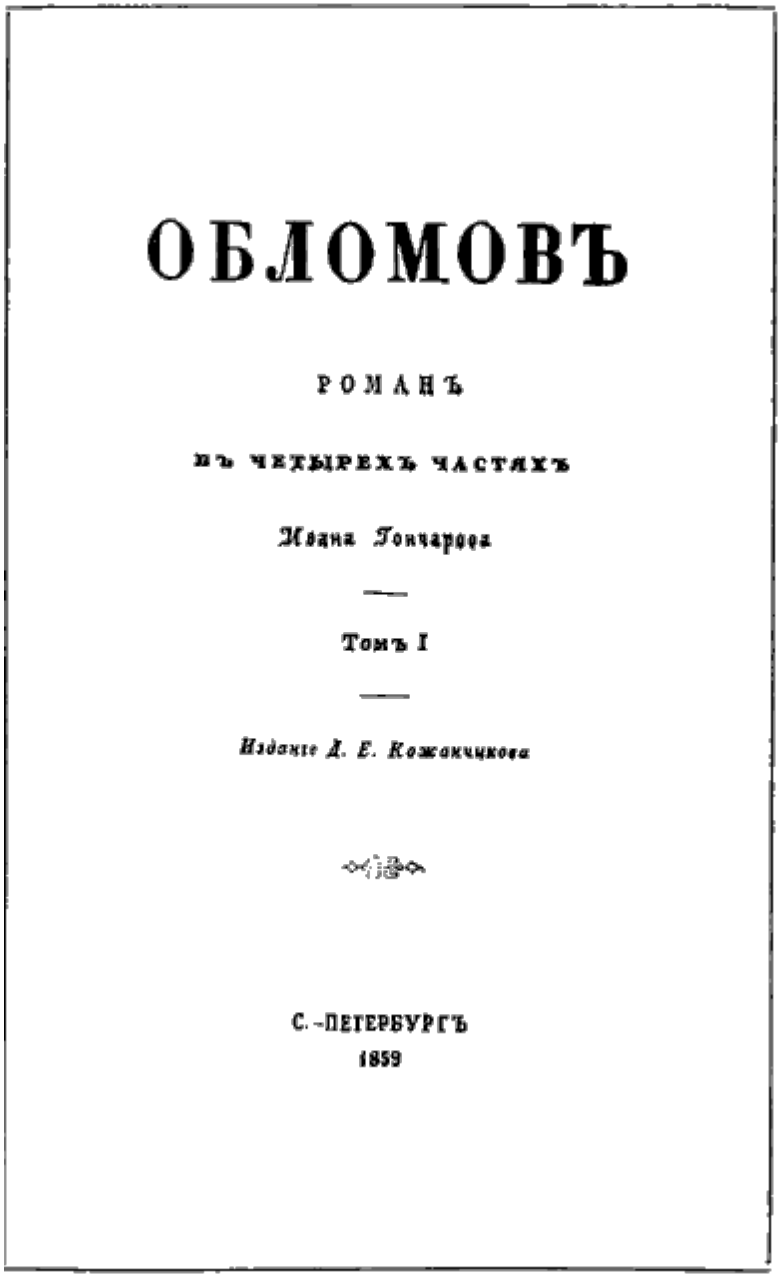
ТОМЪ ПЕРВЫЙ

ИЗДАНІЕ А. И. ГЛАЗУНОВА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1858

Титульный лист 1-го издания «Фрегата «Паллада».



ОБЛОМОВЪ

РОМАНЪ

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ

Ивана Гончарова

Томъ I

Изданіе Д. Е. Кожанчикова

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1859

Титульный лист 1-го издания «Обломова».



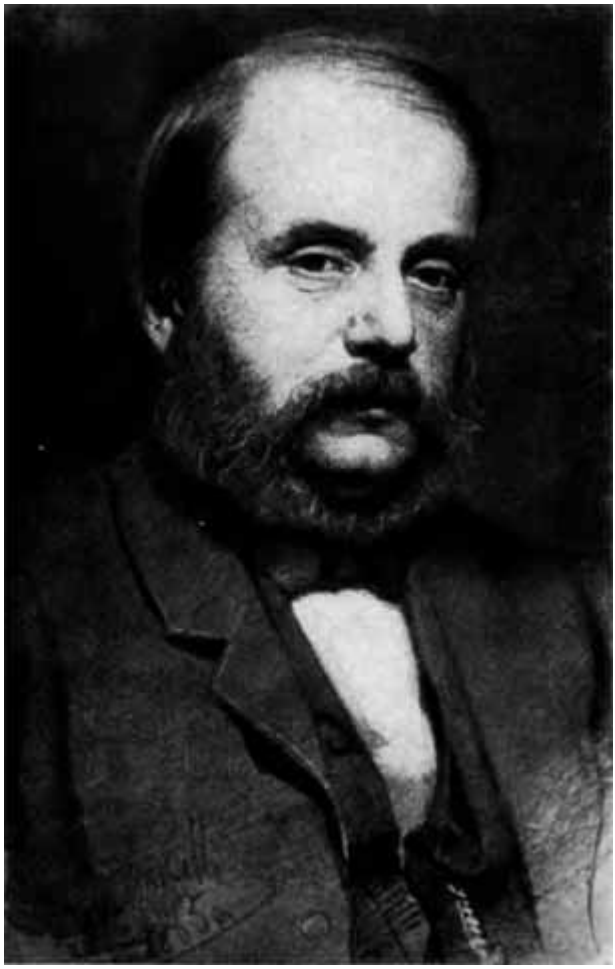
Рафаэль. Сикстинская мадонна. Фрагмент.



Париж. Лувр.



Е. П. Майкова.



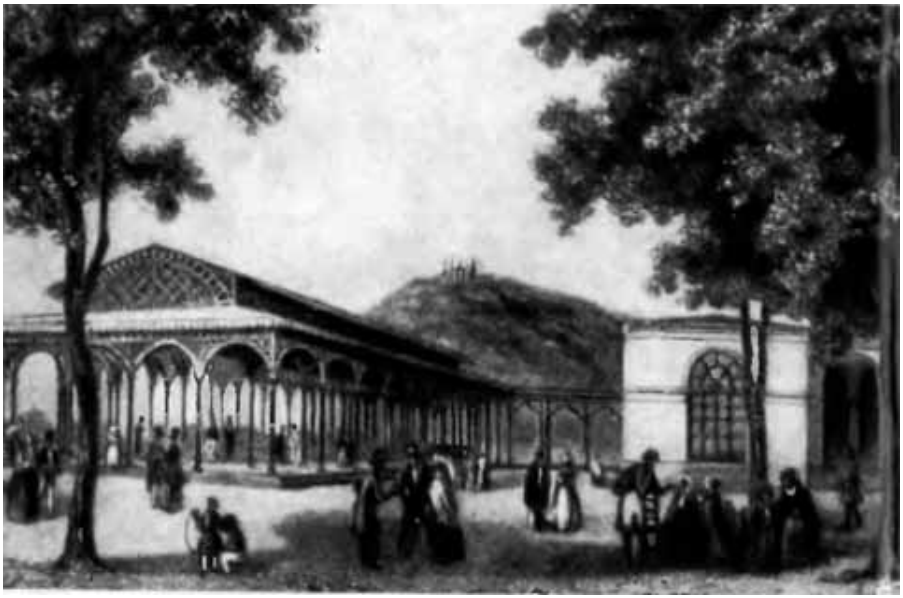
И. А. Гончаров. С портрета работы И. Н. Крамского. 1866 г.


СѢВЕРНАЯ ПОЧТА

ГАЗЕТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

№ 269. 1862.

Газета, которую редактировал Гончаров.



Киссинген.



И. А. Гончаров, Е. Н. Шостак. А. К. Толстой, Н. М. Жемчужников, С. А. Толстая. Фотография 1860-х гг.



А. К. Толстой.



Баден-Баден.



И. А. Гончаров. Фотография 1860-х гг.



И. Н. Крамской. Автопортрет.



П. М. Третьяков. С портрета работы И. Е. Репина.



И. Н. Крамской. Христос в пустыне.



Ф. И. Тютчев.



Ф. М. Достоевский.



Н. С. Лесков.



Я. П. Полонский.



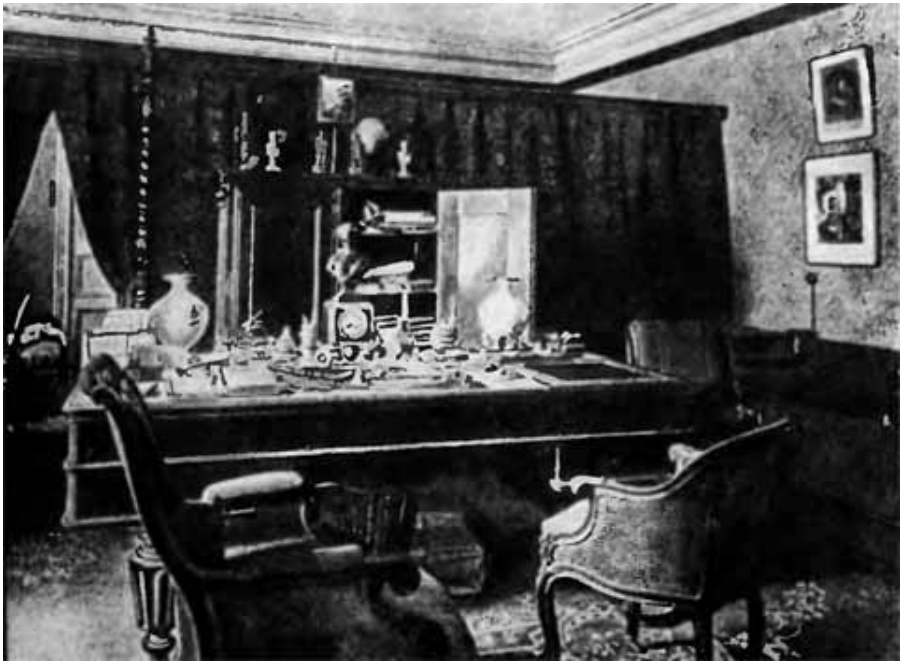
И. А. Гончаров. Фотография 1870-х гг.



Семья Трейгут.



Дом № 3 на Моховой улице.



Кабинет Гончарова в квартире на Моховой.



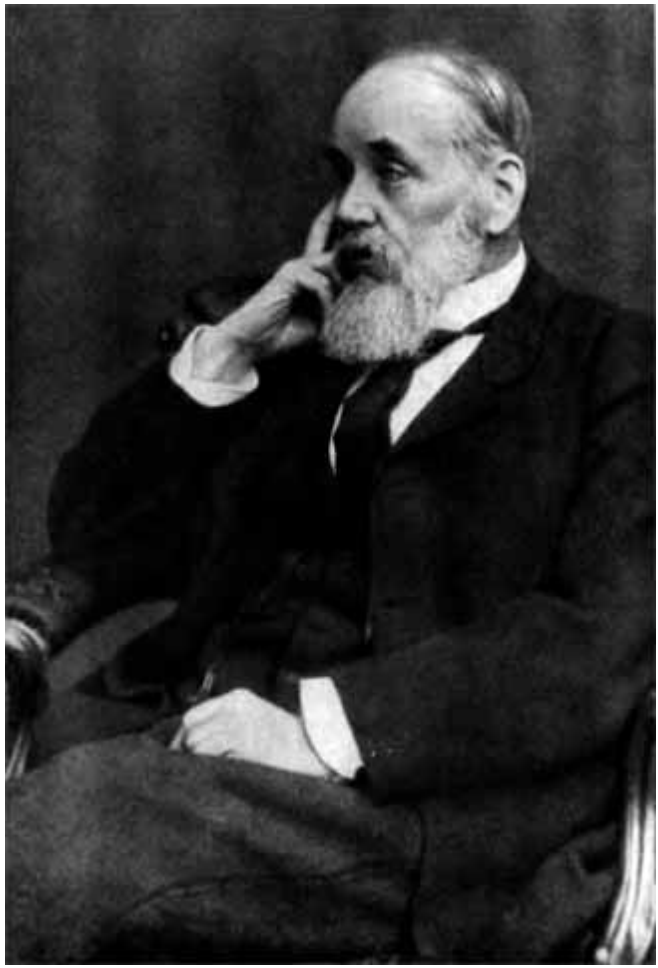
И. А. Гончаров. Фотография 1886 г.



На обороте этой гравюры: «Анатолию Федоровичу Кони — как почитателю великого поэта в знак взаимной симпатии к нему — от глубокого же почитателя. Гончаров. 1879».



А. Ф. Кони.



И. А. Гончаров. Фотография 1886 г.



Могила Гончарова.



И. А. Гончаров. Барельеф.

notes

Примечания

1

Дворянство Майковых было весьма древним. Еще в XV веке на всю Русь возвеличил эту фамилию преподобный Нил Сорский, в миру Майков.

2

Представительный человек *(франц.)*.

3

Екатерина Павловна Калита, в замужестве Майкова; о ней см. в главе «Старушка и Старик».

4

См., например, книгу американских исследователей А. и С. Лингстад о Гончарове, опубликованную в Нью-Йорке в 1971 году (*Lingstad A., Lingstad S.* Ivan. Goncharov. N. Y., Twayne, 1971).

5

Категорическое дружининское «не следует» отражало, конечно, мнения многих, но интересно, что в русской литературе XIX века события разворачивались вопреки этим мнениям: в разные годы и в разной степени цензорские обязанности, кроме Гончарова, исполняли литераторы С. Т. Аксаков, И. И. Лажечников, П. А. Вяземский, Ф. И. Тютчев, А. Н. Майков, Я. П. Полонский… Похоже, каждый из них мог бы подписаться под строками, которые Федор Иванович Тютчев адресовал однажды своему товарищу по службе:

Веленью высшему покорны,
У *мысли* стоя на часах,
Не очень были мы задорны,
Хоть и со штуцером в руках.
Мы им владели неохотно,
Грозили редко — и скорей
Не *арестантский,* а *почетный*
Держали караул при ней.

На скачках *(франц.)*.

7

До бесконечности *(латин.)*.

«Сила и материя» *(нем.)*.

9

В этом фрагменте письма несколько слов не поддаются прочтению. Расшифровка О. М. Чемена, см. ее исследование «Создание двух романов» (М., 1966).

10

О Франции времен Наполеона III К. Маркс писал: «Промышленность и торговля разрослись в необъятных размерах; биржевая спекуляция праздновала своп космополитические оргии; нищета масс резко выступала рядом с нахальным блеском беспутной роскоши, нажитой надувательством и преступлением» (*К. Маркс и Ф. Энгельс.* Соч., т. XIII, ч. II, с. 312).

11

Тон и тенденция «Русского слова» раздражали даже такого независимого от официальных мнений писателя, как М. Е. Салтыков-Щедрин. В своей характерной сатирической манере он называет этот журнал «невинным, но разухабистым органом невинной нигилистической ерунды», а критика «Русского слова» Варфоломея Зайцева — «одним из знаменитейших наших ерундистов». Писарева Салтыков-Щедрин поминает под ироническим псевдонимом Бенескриптов.

12

Задняя мысль *(франц.)*.

13

Предписание *(франц.)*.

Гончарова, кое «приношение» ныне хранится в отделе редкой книги Ульяновского Дворца книги (в одной комнате со старинными фолиантами из коллекции Н. М. Карамзина).

15

Письмо, к сожалению, до сих пор не опубликовано, хотя в эпистолярном наследии писателя, относящемся к 70—80-м годам, оно одно из самых значительных по охвату мировоззренческих проблем. Не зная этого письма, трудно представить с достаточной полнотой духовный облик «позднего» Гончарова.

16

Вялы, безразличны *(франц.)*.

Интересно сопоставить эти слова писателя с фрагментом из его же письма к С. Никитенко: «Нам в России… предстоит решить свою особенную экономическую задачу, какой на Западе нет: это — изобрести пли создать другую большую отрасль дохода государственного, которая заменила бы питьейный доход, а затем уже начать великое дело — отучать народ от пьянства. Это будет вместе и нравственная задача. Авось Бог даст нам какого-нибудь финансиста и моралиста с светлой головой и великим сердцем между министрами, который примирит выгоды государства с нравственностью. Вино морально убивает большую часть, что есть лучшего в народном духе, в силах и дарованиях. Это не ново, но требует непрестанного повторения, чтобы народ проникся идеею воздержания, как одиннадцатою заповедью». Как видим, здесь перед нами еще один пример, подтверждающий, что эпистолярное творчество служило Гончарову своего рода запасником идей для будущих художественных произведений.